



**ФЕЛИКС
СВЕТОВ
ОПЫТ
БИОГРА-
ФИИ**

**НОВЫЙ
МИР**

**ФЕЛИКС
СВЕТОВ**

**ОПЫТ
БИОГРАФИИ**

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 Paris
1985

Обложка работы А. Ракузина

ISBN 2-85065-072-2
© 1985 YMCA-Press

Моим друзьям

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Книга была написана десять лет назад, это немало для сочинения, стремящегося запечатлеть время в самом его движении. Судьба этой книги неординарна: она пользовалась успехом у читателей, я отбился от заманчивых предложений ее опубликовать, она оказала глубокое влияние на мою последующую жизнь, явилась предметом подражания в нескольких весьма шумных сочинениях, стала даже материалом для пародирования. Я с трудом выловил ее из Самиздата и ни разу не пожалел, что спрятал на все эти годы: слишком близким был неустоявшийся опыт. А потом забыл о ней. В конце концов время, быть может, самая серьезная проверка права книги на жизнь.

Я перечитал ее теперь, спустя десять лет, и с удивлением увидел, что она жива, вопреки стремительности нашей жизни и моему собственному, достаточно серьезному для меня изменению. Мне показалось даже, что потеряв злободневность, она обрела глубину, время сделало более явным главное — процесс открытия себя в себе. У меня есть уже опыт утрат: роман "Отверзи ми двери" ("Кровь") — о приходе человека нашего времени к Богу, ко Христу, о трудном, а порой невысказанно тяжелом пути, на котором человеку дано перечеркнуть всю предыдущую жизнь и преодолеть неготовность к жизни новой — был прочитан внешне, злободневная еврейская тема закрыла от читателя то, ради чего роман написан.

"Опыт биографии" — моя первая свободная книга, и итог жизни, но в ней и начало последующего: все, что я написал потом (романы: "Офелия", "Отверзи ми двери" ("Кровь"), "Мытарь и фарисей", "Дети Иова") так или иначе продолжает тему, представляющуюся мне сегодня единственно важной у нас.

Как бы то ни было — я выпускаю книгу из рук, она уже мне не принадлежит.

1981, март.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы слишком быстро живем: то, что казалось вчера устоявшимся, завершившимся, словно бы давало материал для глубокого анализа — сегодня уже прожито, устарело, ушло, интерес ко вчерашнему звучит чуть ли не отступничеством. В этом характер времени, его нельзя не учитывать, но в этом и опасность, которую тоже нельзя сбрасывать со счета. Мы оставляем "на потом", для мемуаров, события и факты — опыт чрезвычайно важный, в котором некая разгадка и понимание не только момента, но времени и самих себя. К тому же у нас нет надежд на мемуары, да и нет права дожидаться, пока их пора приспееет.

Еще весной и летом, несмотря на всю серьезность произошедшего, казалось бы, не оставившего никаких иллюзий, открывшего глаза на многое и тем, кому это многое все еще оставалось неясным, в нас жило неожиданно появившееся, явно преувеличенное, впрочем, ощущение если не победы, то силы, азарта, даже нового для нас чувства достоинства — казалось, мы не просто устояли в единоборстве (хотелось говорить именно так торжественно, чуть ли не напыщенно), но тем, что устояли — победили. Это и заставило тогда всерьез задуматься над книгой о себе и друзьях, более того, дало возможность ощутить реальное право написать ее.

Я полагаю, что книгу о себе можно начинать лишь в том случае, если поймешь собственную жизнь не частной, не автобиографией, но судьбой поколения (я отдаю себе отчет в нечеткости и скомпрометированности понятия "поколение" — за неимением лучшего), если увидишь

в том, что выпало на твою долю, даже не собственную причастность, но прежде всего общность причин — не в обстоятельствах, не во внешних совпадениях, но в их природе. Если услышишь за частным, случайным, но таким дорогим тебе личным, топот тысяч ног по тем же дорогам, уловишь в многоголосице словно бы свой голос. Когда тебя захлестнет волна любви к тем, с кем тебе довелось встретиться. Когда во всем разнообразии не связанных между собой встреч, разговоров, случаев и событий — неожиданно поймешь, как теперь любят говорить, тенденцию, линию, естественный процесс, шаг истории.

Так и случилось со мной. Весна этого года была несомненно вершиной процесса совершенно определенного, привлекающего своей последовательностью и целеустремленностью. Она была, кроме того, завершением процесса и открывала новый. Все это было для нас так непривычно, что и сегодня, вспоминая, невольно думаешь о той поре все так же — романтически-торжественно.

Здесь, в кратком предуведомлении, не место пытаться давать какой-то анализ времени — об этом и будет написана книга. Я хочу только обозначить сам процесс, начавшийся в 1953—1956 годах, выплеснувший литературу поверх цензурных рогаток, положивший начало Самиздату, открывшему русскую прозу и поэзию, и письмам, как одной из форм протеста, родившейся вполне естественно, оказавшейся активной и громкой. Хотя, разумеется, речь могла идти лишь о тоненькой цепочке людей, попытавшихся взяться за руки.

У всех на памяти то, что за этим последовало: весь заржавленный — не успели вычистить и смазать! — арсенал предварительного подавления со скрипом и лязгом обрушился на людей, совершавших поступки, выглядевшие в наше время вполне элементарно — так много за последние пятнадцать лет, словно бы всерьез, с высоких трибун говорилось о демократии, праве на правду, что к старому нет и не может быть возврата... Можно было

если и не поверить сказанному, то по крайней мере на это опереться, стремясь все еще к усовершенствованию невозстановимого...

Кто-то не выдержал, кто-то засомневался, кто-то подумал о том, что будет означать шаг последующий... Но мы-то никак не изменились: появилась такая неожиданная для нас, но, что особенно существенно, органическая, понятая нами или прочувствованная — невозможность жить иначе.

Все это, как всякая живая мысль, нестройно, порой путанно, только ощущалось, но уже существовало. Отсюда, как уже говорилось, азарт и торжественность размышлений про это. То, о чем я и хочу написать.

Тема самопознания, ощущения своей жизни как жизни общей, биографии как судьбы — казалась мне даже исчерпанной. За далью, открывшейся с вершины, в некоем мареве, абстрактно, но несомненно угадывалась реализация — обещано было немало. Тогда и показалось необычайно важным (а не просто соблазнительным) пойти назад, прикоснуться к началу — описать весь процесс, забить на вершине столб не просто в память о том, что мы там были, но как свидетельство неизбежного пути дальше — уже по ту сторону, к горизонту.

Было обманчивое ощущение передышки, времени для спокойного анализа и подсчетов, всегда подспудно живущая в человеке, такая понятная надежда на разумность происходящего, на некую высшую силу, в конечном счете воздающую по справедливости: за добро — добром.

Минувшие затем месяц-два спутали все карты, уничтожили иллюзии, растоптали в прах романтическое ощущение победы и достоинства. Обольстительный и вполне абстрактный мираж, открывавшийся с достигнутой вершины, принял совершенно отчетливые и реальные очертания.

Но затем прошли дни, даже недели, месяц. Мы остались живы, и за чувством стыда, заставляющим полыхать

щек — уже от самих воспоминаний об инфантильности нашего недавнего самодовольства и гордости за нечто разумеющееся само собой, пришло понимание неотвратимости жизни, логики собственной судьбы. Ошибочной была только детская, но такая понятная психологически, надежда на передышку. Все остальное ни в коем случае не зачеркивало предыдущее.

Можно всего лишь поставить более точную дату — 21 августа — день завершения процесса. Нам казалось, это произошло весной и связано только с нашими переживаниями и нашей судьбой. На самом деле весь процесс имел значение куда более широкое, а последствия его переоценить мудро.

Недавно я прочитал в одной прекрасной книге, только что написанной, сделавшей меня счастливым от того, что элементарная и вечная азбука человеческого существования — нравственного поведения человека, воспринимавшаяся всегда романтической абстракцией, — стала там столь же элементарной, но реальностью, я прочитал в этой книге не приходившее мне в голову продолжение древней истины о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя, сказано в этой книге, и потому, что и ты сам — не только река — будешь иным в каждое следующее мгновение. Наверно, такое прозрение очевидного происходит тем не менее в тот самый момент, когда становится необходимым для самопознания.

Мы слишком быстро живем, наверстывая в месяцы то, что не успели пробежать в годы и десятилетия.

1968, сентябрь.

КНИГА ПЕРВАЯ

ЗАМЕРЗШИЕ

В КАРЕТНОМ РЯДУ

Быть может, отчетливость моих воспоминаний о детстве более позднего происхождения и результат постоянного, в течение многих лет, возвращения к ним. Я повторял про себя эти свои воспоминания об отдельных сценах и событиях в разные годы и по различным поводам, возвращался к ним снова и снова. Это стало в какой-то момент прямой потребностью и, по-видимому, давало то самое ощущение прочности, которого всегда так мне не хватало. Просто была область, страна, где меня всегда любили, ждали, где было в изобилии то, чего меня потом навсегда лишили. Было счастливое детство, дом, о котором думалось со смешанным чувством гордости и печали, мера, даже некие, как позже выяснилось, далеко не безусловные, но долгие годы казавшиеся несомненными, нравственные критерии, ими и мерилось все, с чем потом приходилось сталкиваться.

Эти собственные воспоминания и ощущения оказались необычайно прочными. И когда мне случается сейчас слышать рассказы о новых для меня подробностях и обстоятельствах — они ничего к моему знанию детства не прибавляют, тут же уходят из памяти, забываются — они чужие. Этот мир давно создан, живет в моей душе, ощутишь как начало, исток, и не то чтобы невозможно хоть как-то его изменить или трансформировать, нельзя и дополнить — там нет каких бы то ни было пустот. Мир этот закончен в своей физической и идеальной конструкции.

Помню, один из рассказов, написанных мною в юности, когда я марал бумагу, не отдавая себе отчета в том, зачем

я это делаю, — как пишут стихи литературные мальчики и девочки, — был о голове Марата, оставшейся мне в наследство от отца. Гипсовая, в полтора-два раза больше человеческой, голова, гордо развернутая влево, с резкими морщинами у рта и горбатого носа, всегда была неким символом нашего дома, вдумываться в зловещий смысл которого я не пытался. Марат стоял в забитом книгами отцовском кабинете, против такой же гипсовой головы Бланки — еще более страшной.

Потом, когда дом был разрушен и жил только в моих воспоминаниях и ощущениях, мама вышла из лагеря, кончилась война, мы только что вернулись в Москву, жили у моих теток — маминых сестер, в один из дней моего рождения мама подарила мне книгу отца о Марате, которую взяла у своей приятельницы Киры Александровны, вдовы Вячеслава Полонского, много лет дружившего с отцом. Это была первая реальная встреча с домом после долгих лет разлуки.

Мама всегда очень торжественно и трогательно отмечала дни моего рождения. Просыпаясь, я обязательно находил возле кровати подарки — от удивительных и барских в детстве до самых скромных, но неизменных потом. И непременно записку. На сей раз мама написала: исполнилась мечта, казалось, в свое время, неосуществимая, мы вместе в Москве, она даже дарит мне отцовскую книжку. Может быть, писала мама, исполнится и еще более удивительная, самая невозможная наша мечта, и мы будем все вместе. Был 1946 год, но мама всегда верила в самые фантастические вещи, невероятность нашей судьбы, и долго-долго, иногда мне кажется — до сих пор верит в возможность того, что отец жив и мы еще встретимся.

Тогда утром, в день моего рождения, она сказала, что голова Марата цела, находится у вдовы историка Владимира Сергеевича Сергеева — Наталии Николаевны, что Бланки, который тоже хранился у них, недавно уронили, он разбился, а за Маратом я могу зайти.

Помню, была уже зима — так чаще всего и случалось в последних числах ноября — я шагал по тихим переулкам в районе Чистых прудов, возвращался от Сергеевых, вспоминал Владимира Сергеевича — высокий, седой, очень красивый, он обычно стоял, заложив руки за спину, у печки в нашей столовой и негромко разговаривал с отцом или с мамой.

Я шел осторожно, стараясь не поскользнуться, обняв за шею гипсового Марата, на которого прохожие оглядывались с изумлением. Помню и свое ощущение причастности к чему-то не слишком лояльному: отношение Сталина к героям называвшейся в свое время Великой, а тогда более скромно — буржуазной революции было смутным, двусмысленным, их судьбы вызывали вполне определенные ассоциации, тут же, впрочем, подавляемые, вслух о них не говорилось; к тому же — герой историка, арестованного десять лет назад и несомненно расстрелянного, герой его изъятых из магазинов и уничтоженных в частных коллекциях книг. Я знал, что существовала рукопись второй книги о Марате, уже готовая к печати, взятая в свое время вместе с мамой...

Марат был водружен на шкаф в нашей с мамой скромной комнате в квартире у теток, покрывался пылью, копотью, обрастал в моем сознании легендами. Мне он казался всегда обижаемым, обойденным вниманием, незаслуженно отодвинутым в тень безукоризненной фигурой Робеспьера, который был неприятен именно этой безупречностью первого ученика. И чем больше я узнавал о добродетелях Робеспьера, тем он становился менее симпатичным. Очевидно именно поэтому я предпочитал Дантона, чья необузданность не могла не импонировать мальчику, которому бесконечно твердили о скромности и аскетизме революционных вождей: их раззолоченный сусальный облик, откровенная театральность показной стороны нарочитой "скромности" вызывала только недоумение и неосознанное чувство протеста. Впрочем, симпатия к Дантону имела и семейную

традицию — он тоже был героем одной из отцовских книг.

Но возвращаюсь к юношескому рассказу. В нем не было стройного сюжета, только импрессионистически изложенное воспоминание о голове Друга народа, стоявшей на шкафу с отцовскими книгами, и поразившая мое воображение манипуляция, проделанная над ним. Автор приходит однажды домой — отца уже нет, нет и детства и всего, что в нем было — и видит, как пришедшая убирать квартиру женщина, поставив "Марата" в таз, ожесточенно трет его щеткой, обдирая вместе с грязью резкость и гордую угловатую величественность его лица: "До чего был страшен-то, Господи!" И автор с ужасом и отчаянием видит в тазу с грязной водой голову с благостным обликом, с горбатым носом одного из Людовиков, которую легко представить себе на изящной полочке, затерявшейся среди хрусталя или фарфора, на салфеточках "ришелье", между цветочными горшками.

В чем была мысль этого рассказа, я и сам сейчас не знаю, могу только догадываться. Но несомненна его связь — и не только внешняя — со всей атмосферой моего детства, вынесенным оттуда сводом нравственных норм и представлений о жизни, никак не соответствующих, а порой и противоположных истинному содержанию этих дорогих моему детству символов.

Мое детство прошло в Третьем Доме Советов, что в Каретном ряду, в правом крыле старого особняка, на первом этаже. Моя сестра рассказывала, как пришла однажды получать справку о том, что прожила чуть ли не семнадцать лет в этом доме. Контора, а теперь бюро пропусков, помещались как раз в нашей бывшей квартире: в детской прорубили дверь прямо на улицу, комнату перегородили, за барьерчиком сидел чиновник, никаких справок он давать не хотел, потому что никаких следов

нашего проживания у него не осталось. "Но я жила именно здесь, — сказала сестра, — вы сидите в нашей детской, здесь вот стояла моя кровать..."

Я часто прохожу мимо нашего дома — пересекаю маленькую площадь от аптеки к железной решетке ворот; теперь площадь пуста, проносятся машины, а когда-то стояли легковые извозчики, тучами кружились воробьи, совсем исчезнувшие из Москвы вместе с лошадьми. Я прохожу мимо нашего дома, под нашими окнами, но открыть дверь в бюро пропусков и войти в детскую не решаюсь. Не могу.

Мы жили в квартире из четырех маленьких, забитых книгами комнат. Отец никогда не приходил домой без новой книжки, и они постепенно выживали из дому все прочие предметы: полки с книгами, шкафы и этажерки подстерегали меня с самого рождения. Это и было самым интересным в нашем доме: библиотека не только большая, но по-настоящему хорошая. Я помню с детства рассказы о редких и удивительных книгах, которые отец привозил из Парижа, где ему удавалось несколько раз (или казалось, что удалось!) обмануть букиниста и купить за бесценок потрясающие книги, скажем, первое издание Эбертовского "Père Duchêsue". Я помню, разговор об этой книге преследовал меня очень долго, а в голодные военные годы мы с сестрой строили фантастические планы продажи этой книжки. Но когда дошло до дела и "Père Duchêsue" стал продаваться, выяснилось, что в Ленинской библиотеке уже один (или не один) такой экземпляр имеется, и нам дали значительно меньше настоящей цены, хотя и немало. А букинист в Париже обманулся потому, что в начало, вместо титула, были вплетены никого не интересующие, значительно более позднего времени газеты, дальше он книгу не листал, а у отца, заглянувшего в книгу, задрожали руки, но он сдержался и не подал виду.

Помню, отец обещал купить мне целый шкаф книг, как только я самостоятельно прочту первую настоящую

книжку, но я долго не читал, любил, когда читали вслух, уже знал Диккенса и Жюль Верна, а читать самому не хватало терпения. А когда первая книга — "Граф Монте-Кристо" — была, наконец, прочитана, отца уже не стало.

Комнаты в нашей квартире были расположены — мне запомнилось это слово — "анфиладой", войдя из коридора в кухню, можно было открыть дверь в столовую, потом прямо в детскую, маленькую мамину выгородку, в отцовский кабинет и опять — с другой стороны — оказаться в коридоре. Это было невероятно удобно для беготни, всяких игр, и когда приходили со двора мои приятели, мы носились по всей квартире, сваливали книги и разбивали носы о множество углов и всевозможных предметов.

Помню старей монастырский сад за нашим домом, с двумя прудами, толстыми деревьями, где, говорят, летом можно было даже собирать грибы и ягоды, но летом мы в Москве никогда не жили. Осенью в саду устраивались собачьи выставки, и тогда через наш двор один за другим проходили необычайно красивые псы, но в сад меня одного не пускали, и мы бегали по двору, который время от времени бывал забит машинами — в дни каких-то съездов в главном корпусе останавливались иностранные коммунисты. Веселые, наверно, совсем молодые люди, они шутили с ребятами, раздавали конфеты, а однажды я принес домой кусок хлеба с колбасой, от которого не решился отказаться, не знал, что с ним делать, потому что всегда был сыт, и привел своих домашних в смущение, скомпрометировав советских ребят, не нуждавшихся, разумеется, ни в каких подачках, даже от братьев-коммунистов. В те дни в Третьем Доме Советов жили шуцбундовцы, и что бы они обо мне тогда ни подумали, это уже никак не могло осложнить ни их, ни наше и без того сложное будущее.

Помню удивительное ощущение возвращения домой после лета, проведенного где-то вне Москвы.

Мы приезжали обычно вечером, извозчик, как мне казалось, особенно долго ехал с вокзала по темному и

совсем чужому городу, я хотел спать, дремал, сонный входил в дом, и тут меня подстерегали Встречи с позабытыми вещами и книгами, я никак не мог уснуть, следил, как по стенам и по потолку ползут светлые пятна от проезжавших за окном автомобилей.

Но настоящие Открытия и Встречи начинались утром, когда я просыпался от солнечного луча, ударявшего прямо в глаза, и еще долго лежал, глядя, как пляшут золотые пылинки, привыкая к Дому, из которого, еще немного и уже казалось — я никуда никогда не уезжал.

Прекрасно бывало дома и зимой: во всех печах трещали, постреливали дрова, изразцы нагревались до того, что до них не дотронешься, и хотелось выскочить на улицу, наглотаться холоду, замерзнуть и бежать обратно в тепло и радость дома...

Но, конечно, главным в доме был отец. Он, собственно, и являлся домом, а мы все располагались на своих местах и каждый из нас в меру сил исполнял свои функции, в очередь с книгами и печами. Маму я понял много позже, потому, возможно, я ошибаюсь в распределении ролей, но уже ничто не в силах изменить структуру мира моего детства. Для меня оно останется именно таким.

Это был несомненно очень талантливый человек, с судьбой, характерной для времени уже внешними — анкетными фактами. Из мещанско-пролетарской семьи, после хедера, блестяще законченного коммерческого училища, не законченного юридического факультета в Психоневрологическом институте в Петрограде; после Октября, штурма Зимнего, Поалей Циона, членом политбюро которого был этот двадцатилетний, худой и очкастый оратор; после гражданской войны, путаницы с белорусским партизанским движением, работой в белорусском ВЦИКе (он был членом ВЦИК Литвы и Белоруссии), службы в Казани в политуправлении армии — сразу, безо всякого видимого перехода, в самом начале двадцатых годов научная работа, история, уже в 1924

году — первые книги, знаменитая "Хрестоматия" по истории революционных движений в Западной Европе (вместе с Анатолием Слуцким), выдержавшая восемь изданий, по которой училась вся наша новая интеллигенция в двадцатые и тридцатые годы; профессорство в "Свердловке", Институте красной профессуры, заграничные командировки, сотни ученых статей с довольно широким диапазоном, монография о Марате, книга о Дантоне, два тома "Истории Западной Европы"; громкие доклады (скажем, на шумевший в 1927 году в Москве о 9 Термидора — "Возможен ли у нас термидор?" По существующей легенде, на нем присутствовал Троцкий, во всяком случае были Покровский и Рязанов); организация исторического факультета в Московском университете, первым деканом которого отец и был; бесконечные ученые общества, редколлегии журналов, без него не обходившиеся, и т.д. и т.п. Ветер времени дул ему во все паруса, удача, которая так часто сопутствует таланту и энергии, ему не изменяла. Хотя, надо думать, не все выходило так просто — он был выходцем из другой партии (тоже пролетарской, но какой-то сомнительной и, главное, другой! он вступил в РКП в 1921 году, перешел к большевикам вместе с левой частью Поалей Циона, расколов его), всегда был человеком слишком ярким, резким, неуживчивым...

Ему не исполнилось сорока лет, когда его в 1936 году арестовали, и он, думаю, погиб быстро, хотя по официальной версии годом смерти считается 1941, но эти даты брались с потолка. Я ничего не знаю о его смерти, как, впрочем, неизвестно ничего о ком бы то ни было из тех, кто был осужден на "десять лет без права переписки". Говорят, это значило — расстрел. Может быть, так оно и было, иначе что-то о ком-то каким-нибудь образом стало бы известно, просочилось бы в конце концов. Но когда-нибудь мы узнаем и об этом.

Отца упоминали дважды в больших процессах: Тер-Ваганян и Радек. По семейной легенде, зимой — в

январе 1937-го, во время процесса Пятакова и Радека, Фейхтвангер был у Сталина и спросил, где Фридлянд, которого он знал по встречам на исторических конгрессах в Европе. Кроме того, в это время у нас издавался "Еврей Зюсс", отец написал большое, чуть не в три печатных листа, предисловие, бывшее уже в гранках, и Фейхтвангер, прочитавший его, естественно, интересовался автором. На следующий день ему ответил Радек в своем последнем слове. "Знал ли я до ареста, что это кончится именно арестом? — риторически спросил Радек без всякой видимой связи с предыдущим. И сам себе ответил: — Как я мог не знать об этом, если был арестован заведующий организационной частью моего бюро Тивель, если был арестован Фридлянд, с которым за последние годы я очень часто встречался. Не буду называть других фамилий, — продолжал Радек, в точности выполняя полученную инструкцию. — Я могу назвать еще несколько фамилий людей, которые часто встречались со мной".

О разговоре Фейхтвангера со Сталиным маме рассказали уже в лагере, рассказали, как она считала, вполне достоверно, а внимательное прочтение последнего слова Радека делает эту легенду достаточно вероятной. Хотя, если бы Фейхтвангер более тщательно следил за московскими процессами (что, кстати, и следовало писателю, приехавшему с Запада специально, чтобы в этом феномене разобраться, ничего здесь не увидевшему и опубликовавшему насквозь фальшивую книжку, в которой не знаешь, чему удивляться — намеренной близорукости или неумению сопоставить элементарные факты), он знал бы, где Фридлянд. На процессе Зиновьева и Каменева, за полгода до Радека (в конце августа), Тер-Ваганян довольно подробно говорил о своей "связи" с отцом.

Я прочитал об этом сам. Я учился тогда во втором классе и только что узнал обо всем случившемся у нас дома. В моей жизни к тому времени словно бы ничего не изменилось, во всяком случае, я ничего не замечал, летом жил на даче в Отдыхе, за год до того мы купили

две комнаты с верандой на втором этаже, возле самой железной дороги. У меня были приятели, мы читали Фенимора Купера, рыли пещеры, стреляли из луков в белок, прыгавших по соснам, — а что отца с нами не было, я не замечал, легко удовлетворившись объяснением, что он застрял в какой-то командировке.

Я узнал обо всем случайно. Наверно, в сентябре-октябре. Мы с сестрой сидели у мамы в комнате, на широкой тахте. Я любил здесь смотреть книги: над маминой тахтой висела большая полка с брокгаузовскими изданиями Шекспира, Шиллера, Мольера и Байрона — роскошные, тяжелые тома с иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой. Был посторонний или родственник, мама рассказывала что-то мне не интересное, я не вслушивался, переворачивая громко шелестящие страницы. А услышал даже не сказанное, а молчание, воцарившееся за маминой обмолвкой, и еще — будничную привычность словосочетания, которая больше всего — я это отчетливо помню — и потрясла меня. "Это было еще до ареста Гриши", — сказала мама: так говорится о чем-то, давно ставшем обиходом и жизнью.

И тут я увидел, что они смотрят на меня со страхом — и сразу все услышал и все понял. Нас оставили с сестрой вдвоем, я рыдал, не мог успокоиться, она пыталась объяснить мне: просто отец был знаком со многими, оказавшимися теперь врагами народа, а потому его, собственно, и не могли не взять.

Я тут же рассказал обо всем услышанном лучшему своему товарищу, он жил в нашем дворе, рядом. В моем изложении это, очевидное для меня, хотя и вынужденное обстоятельствами, недоразумение придавало нашему семейству ореол исключительности, устраняя, казалось бы, очевидные потери: он не враг — просто ему по службе пришлось познакомиться с врагами. Я даже чуть важничал в своей горечи. Почва, заколебавшаяся было под ногами, опять стала прочной. В конце концов недоразумения

всегда проясняются, сестра в этом не сомневалась, а прочее меня тогда не тревожило.

Утром второй класс встретил меня глухим молчанием, которому я, впрочем, не придавал значения. Но когда на первой же перемене это молчание взорвалось дикими криками и улюлюканьем, когда приплясывающая толпа мальчишек и девчонок загнала меня в угол, и до меня дошло, что они кричат, я понял цену вчерашней откровенности с лучшим другом.

”Враг народа, враг народа, враг народа!!!” — звенел в моих ушах истошный крик. Потом все смолкло: разрезав толпу, подошла учительница. Я помню, не наша — высокая и худая, строго спросила меня, правда ли это, и когда я, с трудом сдерживая слезы, подтвердил, уже не пытаюсь прикрыться утешительной версией сестры, она дотошно стала выпрашивать, кем был отец и как мы жили. Это ”был” и ее дотошность меня доконали. ”Не надо плакать, — сказала учительница, — слезами не поможешь, надо хорошо учиться и заслужить доверие”.

В похожей ситуации я оказался еще раз в жизни почти десять лет спустя. Я учился тогда на подготовительном отделении в Горном институте, кончал десятый класс. Был последний год войны, у меня была первая любовь и меньше всего хотелось заниматься школьными премудростями. По всей вероятности, не только мне, потому что однажды, в яркий весенний день, всю нашу группу вызвали за неуспеваемость к директору института — крупному, шумному, в моем тогдашнем представлении — блестящему человеку.

Мы стояли у трех стен в его огромном кабинете, а он за своим гигантским столом нас распекал, сначала всех вместе, потом опрашивал каждого.

”Фридлянд!.. Кто ваш отец?”

”Мой отец был историком. Он арестован в 36 году...” — начал я робкой заученной скороговоркой.

”Как? Тот самый Фридлянд?! — блистательный директор вылетел из-за своего царственного стола, пробежался

по роскошному ковру и круто остановился возле меня. — Тот самый Фридлянд? Враг народа? Известный троцкист! Я помню, мы исключали его из партии...

”Отец никогда не был троцкистом, — сказал я тихо, даже не из чувства протеста, а просто стараясь уточнить. — И из партии его не исключали, его арестовали с партбилетом в кармане”.

”Ах так? — сказал директор и посмотрел на меня с любопытством. — Может, у тебя и двоек нет по алгебре?”

Я плотно замолчал. Так почему-то всегда получалось в моей жизни, что всякая попытка даже не бороться за справедливость, но что-то уточнить, намекнуть на правду, всегда кончалась моим поражением — у меня обязательно что-нибудь было не так: не хватало важной справки или я проливал не вовремя чернила, или эти двойки по алгебре. В тот раз директор пожалел меня. Он так же стремительно вернулся за свой гигантский стол и оттуда прогремел его голос, предупреждавший, что в этих чрезвычайных обстоятельствах мне надо учиться особенно тщательно.

...Я сам прочитал в газете, что отец был одним из руководителей террористических групп в Москве. В тот день после своего публичного разоблачения, вернувшись из школы, я, видимо, впервые взялся за газеты.

Это, кстати сказать, необычайно поучительно. Я настоятельно советую выбрать час-другой, отправиться в какой-нибудь не самый зашудалый читальный зал и попросить, скажем, подшивку ”Правды” за 1936 или 1937 годы, благо сейчас это доступно без каких бы то ни было ограничений. Трудно передать оглушительное впечатление, которое теперь эти газеты производят. Все забывается, и кажется — такого не было: портреты, портреты, портреты — во весь рост, улыбающийся, с детьми, полярниками, стахановцами, Горьким, Чкаловым и Серго; бесконечные статьи — ”Слава!..”, ”Спасибо!..”, ”Любимому и дорогому!..”, ”Родному отцу!..”, ”Мудрому учителю!..”; каннибальские черные ”шапки”: ”Сотрем с лица земли!”,

"Расстрелять негодяев!", "Раздавим гадину!", "К стенке подлецов!", "Уничтожим презренных выроdkов!", "Никакой пощады и жалости!", "Взбесившихся псов расстрелять — всех до одного!" (это последняя строка в речи Вышинского на процессе Зиновьева — она была многократно повторена на транспарантах, которые несли юные физкультурницы и студенты); и благостные лица героев-летчиков и шахматистов... Смесь провинциализма, крикливой безвкусицы, инфантильности, какого-то чудовищного азиатского лицемерия, лжи и гнусности — каждый день на шести газетных полосах... Поистине поразительна человеческая способность все забыть, проявляя только академический интерес к фактам истории!

Но мне читать эти газеты тогда было просто скучно, следить за процессом в подробностях я не мог, мною руководила совершенно определенная идея. Я взял пачку газет конца августа — они лежали у сестры на столе, и принялся водить пальцем по строкам, не читая, до тех пор, пока палец сам не остановился на слове "Фридлянд". Тогда я стал читать все вокруг. А потом двинулся дальше.

Так я узнал, скажем, что Тер-Ваганян, проходивший по процессу Зиновьева и Каменева, обсуждал вместе с троцкистами Зейделем и Фридляндом организационные вопросы создания террористической организации в Москве. Тер-Ваганян говорил: "В 1932 году при встрече с Фридляндом я ему сказал, что сейчас необходимо перейти к насильственной борьбе с партией. На его вопрос, что означает насильственная форма борьбы? — я ему ответил: ты же не ребенок, насильственная форма борьбы — это террористическая форма борьбы, это же ясно". Дальше говорилось: "Рядом вопросов тов. Вышинский уточняет взаимоотношения по террористической работе между Тер-Ваганяном и Фридляндом. Из ответов Тер-Ваганяна выясняется, что Тер-Ваганян давал Фридлянду указания об организации террористических актов".

О каких конкретно "актах" шла речь, что "уточнялось" в "террористической работе" — не было сказано, но и это являлось стилем процессов: подсудимые просто признавались в злодействе — конкретность судей не интересовала прежде всего потому, что самого "преступления" не было. Ввиду отсутствия фактов, доказательства были заменены обвинениями. Этого оказалось достаточно не только для суда (его просто не существовало), но даже, как уже говорилось, для проницательного писателя Фейхтвангера. Впрочем, наверно, я не прав. Претензии, которые порой, в трагических для народа обстоятельствах, мы предъявляем "чужому дяде", очевидно нелепы. У Фейхтвангера, скажем, наверно, были свои причины и свои обстоятельства, оправдывающие перед собой его "близорукость", для него уважительные. Какое ему дело до нас, и нам ли судить его, проглотившим процессы тридцатых годов, рукоплещущим или промолчавшим все эти годы каннибальской вакханалии!..

Пресловутый "терроризм", так дразнивший воображение Сталина и его ближайшего окружения, существовал тем не менее только на процессах — в речах прокурора и самоговорах подсудимых — на самом деле не было и одного факта! Десятки, сотни, тысячи людей с огромным опытом революционной борьбы, подполья, люди неглупые, талантливые, активные, с воображением — не только не решились, но реально и не думали (во всяком случае, это никак не оформилось) о каком бы то ни было сопротивлении, дали взять себя одного за другим, как цыплята. Почему Ломинадзе и Орджоникидзе выстрелили в себя, не использовав имевшийся в их распоряжении последний шанс, почему не остался за границей Бухарин, ездивший туда в тридцать пятом или даже тридцать шестом году, когда все было очевидно, почему ничего не смогли сделать Тухачевский и Якир — люди активные и храбрые профессионально — почему? Оставим в стороне соображения политические и партийные — но человечески? психологически? Во всяком случае, их не останавливали

соображения нравственного характера — скажем, отвращение к насилию вообще. Как известно, казнь по политическим мотивам никогда не вызывала у людей этого толка ужаса перед самим фактом злодеяния. Скорее, речь должна идти о полнейшем перерождении личности людей не очень крупных, развращенных в самом начале властью, купивших себя собственным благополучием — ни на что уже не способных, живущих только в инерции установленного ими же узаконенного произвола. О том, что на деле не было никакой принципиальной разницы (разве что порой различие в воспитании) между теми, кто в тридцатые годы уже сидел на скамье подсудимых, теми, кто трусливо ждал (и дождался!) своей очереди — и теми, кто ухитрился остаться в собственной квартире, получив за ловкость и гибкость, за уместность квартиру более роскошную, кресло позначительнее, понимая, впрочем, случайность и временность такого преуспеяния. Говорят, Брехт сказал однажды в беседе с каким-то троцкистом, возмущавшимся сталинским беззаконием: "Представляете, они репрессируют людей абсолютно невиновных, даже не помышлявших ни о каком заговоре!" — "Если они абсолютно невиновны, — сказал Брехт, — их надо было репрессировать в первую очередь..." Четверть века спустя у нас о том же сказал поэт: "К стыду народа своего вождь умер собственной смертью..." Но моя задача в том, чтобы не отвлекаться и не спешить — я должен остаться на уровне понимания моего героя.

Может показаться странным, но ни к Тер-Ваганяну, ни к Радеку у меня никогда не было никаких претензий, обид, не говоря уже о какой-то ненависти. Скорее, наоборот, я на всю жизнь запомнил слова мамы о том, каким удивительно чистым и мужественным — железным человеком был Тер-Ваганян: "Что надо было с ним сделать, чтобы он говорил такое?!" — часто повторяла мама и рассказывала

поражавшую мое воображение историю: она встретила Тер-Ваганяна на Лубянке, когда приходила к следователю отца. Она пришла не вовремя, или тот не рассчитал свое время, одним словом, произошла накладка. В тот момент, когда мама подходила к кабинету следователя, открылась дверь, тут же остановился лифт и появился Тер-Ваганян. Мама говорит, что ничего более жуткого она не видела. Он не узнал ее, он вообще ничего не узнавал — этот человек с лицом мертвеца, переставлявший ватные ноги. Его внесли в лифт.

У мамы была еще одна встреча на Лубянке. Она ходила туда несколько раз, настаивала, чтобы следователь разговаривал с ней, выпрашивал ее, просила, чтобы ее "допросили по-настоящему". "Я все знаю о муже, — говорила она, — мне известен каждый его шаг". Следователь коварно улыбался и прозрачно намекал маме на известные им в подробностях связи отца с женщинами: "Видите, а вы говорите, что он был с вами откровенен..." В конце концов мама им надоела, и ее выдворили из Москвы.

Она возвращалась очередной раз от следователя, только ступила на широкую лестницу и в самом ее низу увидела Виктора Моисеевича Далина. Один из немногих вернувшихся потом оттуда, он был из близких отцу людей, младший его товарищ, человек удивительно скромный, глубокий, по-настоящему знающий, думаю, очень серьезный, сделавший, кстати сказать, так много для переиздания отцовских книг уже в наше время. Они с мамой узнали друг друга сразу, но он не подал вида, и мама продолжала молча спускаться. А он поднимался — маленький, с оттопыренными ушами, между двух крепких людей в форме. На лестнице было светло, и мама хорошо видела по-детски ясные, синие-синие его глаза, глядевшие ей прямо в глаза. Так, глядя друг на друга, они прошли весь марш лестницы и встретились посередине. Мама не оборачивалась.

У меня не было никаких претензий к Тер-Ваганяну, о Радеке же я думал скорее с симпатией, с удовольствием

вспоминал его остроты, анекдоты, и очевидная чудовищная бойкость его лжи на процессе воспринималась очередным ходом острослова... Такая же внутренняя необъяснимая симпатия была у меня почему-то к Бухарину и даже, в еще более зачаточной форме, — к Троцкому. Я не отдавал себе отчета в истоках этой симпатии, никогда не пытался додумывать до конца мысль об этом. Во всяком случае, фантастическое саморазоблачение ни в коей мере не отталкивало меня от героев этих процессов. Не умея формулировать и логически мыслить, мальчик, с какого-то боку причастный ко всему этому, не мог не чувствовать фальшь и неправду происходящего, а потому проникался необъяснимой симпатией к гонимым. Но, справедливости ради, следует сказать, что претензий к Сталину у меня в ту пору тоже не было.

Версия сестры о том, что причина ареста отца заключалась в слишком широком круге его знакомств, при всей ее юридической бессмыслице, все объясняла и была совершенно в духе времени. То, что мальчик, подросток, так ухватился за спасительную для него версию, свидетельство полнейшего, изначального правового нигилизма в таком, казалось бы, милом, интеллигентном доме, как наш в Каретном ряду. Ни сестре, ни мне не пришла в голову мысль о незаконности каких бы то ни было репрессий по отношению к невинному человеку — только за его дружбу или связи с людьми, скажем, в чем-то виновными, о безнравственности такого рода идеи, не имеющей ничего общего с разумными человеческими нормами жизни. Это очень важный момент, в какой-то мере проливающий свет на трагедию коммунистов в тридцатые годы — и тех, кто в ту пору погиб, и тех, кто дожили до нашего времени. Уничтожив право вообще, сделав произвол нормой жизни, они чувствовали себя, тем не менее, спокойно — это был их, революционный произвол. Все их попытки хоть что-то объяснить и понять, не выходя за рамки все того же

заколдованного круга их идей, из которого нет и не может быть выхода в право и справедливость, были обречены на неудачу. А потому и у мальчика, родившегося и возросшего в этом мире, не возникало никакой потребности обратиться за помощью к праву, произвол был понятнее и ближе, он во всяком случае мог что-то объяснить, давал надежду — только такой же произвол (но с другим знаком) был способен наладить жизнь во внезапно разрушенном доме! Более того, подспудно я понимал, что жертвой такого рода недоразумения стал не только мой отец, но и его товарищи, за дружбу с которыми он, все по той же версии, пострадал, потому что у них, в свою очередь, тоже был широкий круг приятелей. А так как проникнуться театрализованными самоговорами я внутренне никак не мог, то полагал, что и там — среди самих участников и героев процессов — действовал установленный сестрой закон: они все как-то, но дружили, были связаны, а потому было естественно, взяв одного, потянуть и другого!

Я не много бывал с отцом. Наверно, не представлял для него интереса, да и времени не оставалось, чтобы со мной возиться. С моей старшей сестрой у него были отношения другие — близкие, прямо товарищеские, он ее безумно любил, ею гордился, к тому же разница в возрасте была не такой значительной. Сестра родилась в девятнадцатом году, и к середине тридцатых они стали сравниваться — во всяком случае, я это помню, ссорились они, как товарищи; школьные приятели сестры, а они в наш дом ходили постоянно и собирались целой толпой, тоже были с ним словно бы на дружеской ноге.

Но иногда, случалось, мы оставались с отцом вдвоем и несколько раз ходили по городу. Меня всегда смущала шумливость отца: он громко шутил, останавливал пробежавших мимо детей, заговаривал с прохожими, встречал бесконечных знакомых, а мне было неловко: даже тогда, в пору своего роскошного детства, не мог, как он — хозяйски уверенно ходить по улицам родного города.

К тому же деньги у него были (профессор, декан, книги и учебники). Однажды он таскал меня по магазинам где-то в центре и покупал все, на чем мои глаза останавливались с восхищением. Так я стал обладателем большущего педального автомобиля — редкость и новинка в ту пору, настольного, но огромного бильярда, и совсем ненужного мне двуствольного охотничьего ружья с шомполом, патронташем, коробкой гильз и пистонов.

Я помню, что, когда мы, до зубов всем этим вооруженные, выбрались, наконец, на улицу, полил страшный ливень, отец затолкал меня с бильярдом и автомобилем в подъезд и побежал искать машину. Я совершенно отчетливо до сих пор ощущаю сырой запах подъезда, вижу потоки воды у самых ног, помню неловкость за свое богатство перед людьми, забегавшими сюда же спастись от дождя. Но я сжимал в руках ружье, пальцы мои лежали на двух курках сразу — конечно, я был счастлив и переполнен мальчишеской радостью.

Не знаю, бывал ли у нас дома Радек, кажется, нет, но кто-то из тех, кто внушил Радеку и Тер-Ваганяну высказанные ими на процессе идеи об отцовском терроризме, могли бы широко воспользоваться имеющимся в моем распоряжении небольшим складом оружия. И если до охотничьей двустволки, надо думать, дело все-таки не дошло, то еще одна моя игрушка, я убежден, сыграла свою роль на следствии.

Однажды я нашел в нашем дровяном сарае, в ящике со всяким ненужным хламом, большой настоящий наган с вращающимся барабаном. Это была потрясающая игрушка, лучше педального автомобиля. И наган перекочевал ко мне. Отец как-то увидел его, повертел в руках и в ответ на мой вопрос сказал, что ему подарили этот наган в семнадцатом году матросы в Петрограде.

Наша квартира была угловой, часть окон, довольно низких, выходила во двор Третьего Дома Советов, а часть в Божедомский (теперь Оружейный) переулок.

Однажды прямо против наших окон началось строительство: приехали рабочие, огородили участок мостовой щитами и стали что-то такое сооружать, по всей вероятности, переносили сюда трамвайную остановку. Наверно, это было весной, окна уже открыли и грохот стоял страшный.

Так продолжалось два дня, отец уходил утром, рано, возвращался поздно и ничего не замечал. А в тот день он почему-то задержался. Работа между тем шла уже под самыми нашими окнами, рабочие время от времени просили напиток, я в окно подавал им в кружке воду — было весело, будто мы живем на улице.

И тут в детской появился отец. "В чем дело?" — грозно спросил он меня и, высунувшись в окно, столь же строго задал свой вопрос находившемуся возле дома рабочему. Тот ответил что-то не слишком любезное — с какой стати он должен был давать отчет о своих вполне законных действиях. Отец мгновенно вскипел и, распахнув окно пошире, принялся митинговым голосом требовать, чтобы они немедленно прекратили всякие работы, что они мешают ему и проч.

А там было уже целое производство: разобрали мостовую, копали и стучали молотками — отцовская риторика вызвала лишь веселое недоумение. Он был смешон: лысый, грузный человек в очках, в рубашке громко кричал из окна какую-то ерунду. Отец это почувствовал.

Мне было смертельно неловко: люди работают, они-то причем, чего он на них кричит? Я что-то лепетал и тянул отца за штаны. Он отмахнулся от меня как от мухи, но обернувшись, неожиданно для себя, увидел валявшийся на ковре вместе с другими игрушками почти очищенный мной от ржавчины наган.

Дальше отец действовал, как в бою. С наганом в руке он вскочил на подоконник и закричал громовым голосом — его, наверно, слышали на Самотеке: "Перестреляю как цыплят! Немедленно убирайтесь!!"

Рабочие оторопели. Если человек среди бела дня, в центре Москвы, мог так кричать и размахивать наганом, значит, он имеет на это право. Но даже если он просто сумасшедший, что ему стоит начать стрелять — никому не могло придти в голову, что этот наган принадлежит мне, а в нашем доме есть только пустые гильзы для охотничьей двустволки.

Рабочие побросали ломы и лопаты, забрались в грузовик и уехали.

Отец победоносно посмотрел на меня, швырнул наган на ковер и, отдуваясь, прошел в кабинет. Через минуту я слышал, как он весело говорил по телефону о чем-то совсем другом, напрочь позабыв о происшедшем.

Между тем, все работы в нашем переулке были оставлены навсегда. Не знаю, что и кому про эту историю рассказали, но и до сих пор против наших бывших окон в переулке нет остановки, трамвай, правда, давно снят и ходят троллейбусы снизу от Самотеки.

Я пытаюсь разобраться в своих тогдашних чувствах, понять причину несомненного отталкивания от такого рода громких проявлений отца, весьма для него характерных. Заманчиво посчитать мою неловкость за отца перед ни в чем не повинными людьми проявлением принципиально другого отношения к вещам серьезным, к людям, наметившимся уже тогда конфликтом между детьми и отцами. В конкретном случае речь должна идти всего лишь о разнице воспитания, темперамента — качествах субъективных. И тем не менее здесь есть над чем задуматься. В конце концов и субъективную сторону едва ли следует не принимать во внимание, не в таком ли пренебрежении к ней надо искать причины многих моих заблуждений.

Мне было мучительно неловко, стыдно перед людьми, с которыми я только что разговаривал, чувствовал причастность к их работе, таскал им воду... И вдруг мой

отец, даже не попытавшись разобраться и понять, набросился на них, закричал, требуя что-то для себя... К тому же они никогда не узнают, что наган не его, а мой, что он не мог быть заряжен, что им не следовало бояться, что это всего лишь игра...

Но отец не играл. Он был вполне взрослый человек и, как он считал, хозяин в своей стране. Да и наган для него едва ли мог стать игрушкой. Он был убежден в своем праве жить так, как находил нужным, прежде всего потому, что завоевал такое право. Этим вот самым наганом. А то, что, требуя для себя, мог ущемить кого-то другого, ему и в голову не приходило. Об этом он не считал нужным думать. Это мелочи, чепуха, чушь, размышляя о которой ничего путного не совершишь: всегда находятся недовольные и обиженные, всегда есть что вспомнить и о чем пожалеть. Революция все равно права, а стало быть, прав — революционер. А потому ты чувствуешь себя хозяином в городе, в стране, тебе хочется быть шумным и веселым, пока все по тебе, но если что-то не так, позвольте...

На самом деле все было значительно сложнее, отец был человеком не только талантливым, но и умным, многое успевшим понять. Это открылось мне позднее, почти тридцать лет спустя, когда я впервые, переиздавая, по-настоящему прочитал его книги. Но об этом в свое время. В пору своего краткого и живого с ним общения я ничего не мог знать о степени его понимания и проницательности. Зато сталкивался с проявлениями характера, и они часто меня коробили.

Помню, как однажды я побывал в университете, на истфаке. Меня привела сестра, наверно, по какому-то своему с отцом делу. Она думала о будущности историка и собиралась поступать на факультет. Может быть, это был уже последний для отца тридцать шестой год, сестра заканчивала десятый класс, а мне, значит, лет восемь. Ее многие знали, очевидно, преподаватели, а может быть и студенты, и пока мы поднимались по широкой, роскошной

лестнице и добирались до отцовского кабинета, нас бесконечно останавливали.

Истфак был создан в 1934 году, здание только что отремонтировали, а хозяин отец был прекрасный и для своего детища мог достать все что угодно. Присутствие широкого, всемогущего хозяина чувствовалось, стоило переступить порог здания, и совершенно ошеломило меня, когда, пробившись через галдящую толпу студентов, мы оказались в отцовском кабинете.

Я прежде не видел таких больших помещений — это была зала с поразившим мое воображение ослепительно натертым паркетом и множеством стульев у стен. Отец сидел где-то далеко у стола и, увидев нас, стал по обыкновению шумно острить, присутствующие его радостно поддерживали, а я пребывал в полнейшей растерянности и смущении, покоробленный отсутствием скромности и такта.

Помню поразившее меня поведение отца на Красной площади во время военного парада. Мы стояли на трибуне для гостей, ноябрь, морозило, но стеснялись топтать ногами, чтоб согреться. Парад, как нарочно, запаздывал, чего обычно не бывало. Все посматривали на большие часы на башне, но Сталина не было, принимающий парад нарком стоял где-то в воротах Спасской башни и ждал сигнала. Наконец, Сталин появился, из ворот вылетела застоявшаяся лошадь, и все стали бить в ладоши и бросать в воздух шапки. Отец тоже взялся за шляпу, снял ее и тут я схватил его за рукав, испугавшись, что он бросит ее в воздух, а я задохнусь от стыда и неловкости за несомненную фальшь этого жеста. Отец повертел шляпу в руках, надел ее, но оглянулся вокруг и больно дернул меня за ухо, чтобы как-то скрыть собственную неуверенность.

И при всем том обстановка и, главное, атмосфера нашего дома были именно искренними, скромными, в старом добром смысле демократическими. Нам, детям, не приходило в голову хвастаться положением отца, да

и шумливость его объяснялась скорее темпераментом и отсутствием воспитания, чем комчванством. Можно предположить, что стало бы с этими людьми, не погибни они в тридцатые годы, но тогда все это казалось "революционной нормой" и "революционными традициями". Другое дело, чем были эти "традиции" по существу и что представляли собой так называемые "нормы революционной нравственности". Тем, кто всерьез интересуется этой проблемой, не нужно становиться историком-изыскателем, достаточно внимательно взглянуть в сегодняшний день. Традиции и нормы сохранились, ошибается тот, кто строит по этому поводу иллюзии и видит принципиальную разницу там, где речь идет всего лишь об изменениях в одежде. Нет сомнения, что природа революционной традиции и норм нравственности выдержала проверку временем, вполне сохранилась, и нужно не хотеть видеть, чтобы не понять, что нет принципиального различия между черной "волгой" и кожаной тужуркой.

В конкретном случае все складывалось иначе. Отец был натурой необычайно одаренной, очень восприимчивой, и годы его жизни с моей матерью серьезно меняли его, исподволь, незаметно, но достаточно твердо и решительно она как бы лепила этот характер: уходило случайное, наносное, а он, думаю, и не отдавал себе в этом отчета. Во всяком случае он и нравственно прошел большой путь от того, кем был в скромном домике на окраине Минска, где гремел зычный голос Самуила Фридлянда (черного дедушки, как его называли в семье, в отличие от дедушки беленького — маминого отца: по бородам — черной и белой). Черный дедушка умер в 1931 году, судя по рассказам, был человек крутой, необразованный (запятые ставил на всякий случай, после каждого слова), по-своему неглупый. Он гнул подковы, любил этим хвастаться, безраздельно господствовал в своем доме, люто ругался со старшим сыном — моим отцом, норовом пошедшим в него, гордился им, был

невероятно счастлив, когда портреты его трех детей появились на стенах Минского музея Революции, тиранил жену — мою бабушку, которую мне посчастливилось застать, рано овдовевшую, натерпевшуюся сначала от мужа, а потом от необузданных характеров своих детей, проводившую их одного за другим — всех троих (а также зятя и невестку) — в тюрьму и сохранившую, несмотря ни на что, в глубокой старости ясную голову, юмор и доброту.

Отцу не исполнилось сорока лет в 1936 году, стремительность, с которой он работал, так или иначе, но соприкасалась с самыми жгучими проблемами времени, жадность, с которой он жил, стараясь успеть побольше, не только не мешали, они несомненно способствовали совершенствованию его личности. Интеллигент в первом поколении (мой дед — потомственный рабочий-щетинщик когда-то бастовал за копейку — классическое рабочее требование), он был щедро наделен природой, готов к своей роли, а на первых порах и время работало на него. Он успел очень много, только начинал — все было еще впереди.

Но времени уже не оставалось.

Напряженность атмосферы в нашем доме в самые последние годы мог бы почувствовать и посторонний, только зашедший в дом, причины этой напряженности, разумеется, не были только субъективными или, как теперь говорят, "личными". Хотя и это сказывалось. Отец был моложе мамы, их ссоры, о причине которых я узнавал постепенно и много позже, очевидно, и создавали нервозность. Было много романов и просто связей, были громкие истории и что-то еще. Но все разбивалось о порог дома и в наши комнаты долетали лишь отголоски того, что где-то там происходило.

Мама не выдержала под самый конец, недели за две до ареста отца: после очередного скандала, не сказав ему ни слова, отправилась в Загс, чтоб оформить невыносимое

ей положение (в ту пору это было просто). А через неделю, когда все забылось и они мирно пили утром чай, почтальон принес официальное извещение о том, что они больше не муж и жена. Отец пришел в ярость, он никак этого не ожидал, и решительность матери его, очевидно, напугала. Во всяком случае последняя неделя прошла покойно...

Я хочу еще раз напомнить, что не пишу своей автобиографии, а потому не собираюсь излагать подробную хронику жизни нашего семейства. Факты, мимо которых, тем не менее, трудно пройти, мне кажутся важными для понимания того, что мог унести с собой мальчик, выросший в Каретном ряду, в Третьем Доме Советов, что так или иначе определило потом его личность, нравственную физиономию. При некоторой исключительности условий моего детства оно характерно для времени, а потому может быть небезынтересна попытка таким образом представить себе лицо поколения. Я стараюсь остаться верным воспоминаниям и тогдашним ощущениям, не путать их с позднейшими наслоениями и разъяснениями другой поры.

Почему-то я совсем не помню друзей отца, хотя наш дом был хлебосольным и людей в нем бывало много. Наверно, я все-таки был маленьким, комнат у нас хватало, и меня всякий раз укладывали к тому времени, когда кто-то приходил. Помню шум, доносящийся до меня из столовой, песни, которые не часто, но пели, ту, что отец любил особенно: "Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный..." Слуха у него не было, голоса тоже, он тихо подпевал, а глаза у него становились грустными, глубокими, и когда он при этом снимал очки — беспомощными. Помню, я особенно любил его таким, чувствовал к нему пронзительную, недетскую жалость, и однажды, выбравшись из кровати, в ночной рубашке, прибежал в комнату, где сидели гости, забрался к нему на колени и обнимал его, особенно остро ощущая не понятное никем желание его защитить.

Помню поразивший меня его нервный рассказ о каком-то совещании, где были Сталин и Жданов (обсуждали учебник новой истории, который отец должен был написать), и то, как отец несколько раз повторял не обещающую добра сталинскую интонацию: "Фридланд? — переспросил Сталин. — Ну что ж, пусть Фридланд..." "Понимаешь, — кричал отец, — мне уже не доверяют!.."

Очевидно, это было весной тридцать шестого года, помню, мы уже жили на даче. Наверно так, потому что сцена очень отчетливо осталась в сознании — значит, самое позднее воспоминание. За несколько дней до конца.

Но я не менее отчетливо помню и по-настоящему роковой день — когда все определилось. А запомнился он мне вот по какому поводу.

Я уже говорил, что день моего рождения отмечался у нас всегда торжественно и трогательно. Я знал: происходит что-то таинственное, что-то приносят, от меня прячут, замолкают, когда я вхожу, и шепчутся. Мне было невероятно любопытно, но я не хотел портить праздника и особенных усилий для разгадывания не прилагал.

Но просыпался рано и в темноте долго вглядывался во что-то сказочно-прекрасное и непонятное, что стояло возле моей кровати.

Так было и в тот раз. Кажется, мне именно тогда подарили целый кукольный театр — сто великолепных кукол сидели перед моей кроватью на чашках, чайниках и бутылках. А вечером должны были зайти мои приятели — ребята из нашего двора.

Я возвращался из детского сада переполненный ожиданием предстоящего праздника и встречи с игрушками, которые утром толком не рассмотрел. Я ворвался в дом, ожидая ответного ликования, но дом встретил меня тишиной, притушенными огнями, мама от меня отмахнулась, и, наконец, я услышал, что отца только что привезли, у него сломаны обе ключицы — он попал между трамваем и троллейбусом и чудом остался жив.

”Но ведь сейчас придут ребята!” — в отчаянии пискнул я и услышал, как отец в гневе что-то швырнул, наверно, ногами, и закричал страшным голосом, что вырастили эгоиста и мерзавца, на отца ему плевать, что я готов умерить его ради своего поганого развлечения. Я понимал, что отец прав, что мои слезы ужасны, но именно поэтому растревлял себя картиной того, что могло бы быть, если бы не было того, что случилось.

Но это, разумеется, чепуха, и я вспомнил об этом только потому, что сразу же вслед за днем моего рождения наступило 1 декабря. А это был 1934 год. Отец лежал без движения, и как только принесли газеты, потребовал, чтобы к нему приехал брат.

Моего дядю все в семье звали Иоська. Он был моложе отца лет на десять, все считали его мальчишкой, всерьез не принимали, и поначалу его судьба целиком зависела от успехов моего отца, как впоследствии беда отца погубила его.

Иоська был секретарем одного из московских райкомов партии, его взяли в одну ночь с отцом — 31 мая, и о том, как интересовал следователя именно тот их разговор 1 декабря 1934 года, Иоська рассказывал мне много лет спустя. Сам он чудом уцелел, отсидел сначала всего лишь пять лет, вышел на ссылку, попал на фронт, а потом снова в лагерь. Но уцелел он действительно чудом, благодаря некоему совпадению, о котором я не могу говорить — живы люди, к этому причастные. История эта могла бы стать находкой для романиста.

Иоська был последним человеком, видевшим отца. Когда на Лубянке Иоську очередной раз ввели в кабинет следователя, отец яростно спорил с ним и, не здороваясь с братом, закричал: ”Ты только послушай, что он говорит об отношении Дантона к революционной диктатуре и террору, как комментирует мною же цитируемую речь Дантона о защите граждан от произвольных арестов и соблюдении законов! Да, Дантон трубил об этом полтора-два года назад! Но он сознательно извращает мою мысль,

приписывает мне слова Дантона, что Конституция должна быть оставлена как памятник добрых намерений для лучших времен! Хорош метод! Стоит мне поймать его на элементарном нарушении нашего закона, вот здесь — со мной! — и он тут же цитирует из моей книжки слова Сен-Жюста о Дантоне! Он-де хочет сломать эшафоты, потому что боится, как бы ему самому не пришлось взойти на него! Милый мой, — обратился он к следователю, — так вы вовсе разучитесь читать историческую литературу. Я настаиваю на своей правоте в дискуссии с Теодоровичем, невозможно усомниться в величии и бессмертии героев "Народной воли" — но разве это означает их идеализацию? Пусть прочтет хотя бы предисловие к моему "Марату", где я повторяю, что молодое поколение историков никогда не забудет сделанного народовольцами..."

Иоська, по его словам, попытался прервать монолог брата, намекнув на неуместность теоретического спора в этой "своеобразной" обстановке. Но отец не привык, чтобы его прерывали, тем более младший брат, и распаялся все больше.

Следователь интересовался подробностями разговора между братьями 1 декабря 1934 года: Иоську обвиняли в том, что он выдал партийную тайну, сказав, что в организации убийства Кирова подозревается Зиновьев, Ленинградская оппозиция, что они связаны с Каменевым. Это была, разумеется, сенсация, последствия которой отец едва ли, при всей его проницательности, мог тогда предвидеть. "Но я сказал об этом брату, старому члену партии", — защищался Иоська. "В комнате находился еще один человек — посторонний".

"Да, — ответил Иоська, — но брат сказал мне, это свой человек и при нем можно говорить что угодно".

Этот человек был Лурье, профессор университета, специалист по древней истории, заместитель декана на историческом факультете, приехавший из Германии. На Зиновьевском процессе его смешали с грязью, сделали

из него дешевку, и даже подсудимые говорили о нем с омерзением. (Зиновьев сказал о Лурье: "в нем прорывался фашист", он (Лурье) говорил ему (Зиновьеву): "мы должны идти на использование всех средств"; Каменев, который вел себя на процессе явно не лучшим образом, заявил в последнем слове, что наибольшее наказание для него, что он сидит рядом с этим (и другими) убийцами, агентами иностранных разведок, людьми с фальшивыми паспортами). Мама долго обвиняла Лурье во всех наших бедах, считала злым гением отца и провокатором, быть может, на самом деле связанным с гестапо. Как бы то ни было, но о разговоре между братьями стало известно именно со слов Лурье.

Был и еще один разговор, о котором Лурье считал нужным рассказать следователю. Они стояли как-то с отцом у широкого окна в его кабинете на истфаке. Отец сказал: "Прекрасная позиция. Если установить здесь, в кабинете, орудие, можно держать под обстрелом Кремль и центральные площади".

Их было только двое, и Лурье, попав на Лубянку, мог придумать этот разговор вместе со следователем. Для того это был прекрасный поворот сюжета, великолепный подарок — получше моего заржавленного нагана и охотничьей двустволки.

Но это могло быть правдой. Я легко могу представить себе такого рода размышление — ассоциации, возникавшие в голове человека, работавшего над проблемами истории вооруженных восстаний, остро думавшего над тем, что происходит рядом и какой из этого может быть выход.

Другой вопрос, можно ли придавать значение такого рода "ассоциациям". С точки зрения права здесь нет даже умысла — болтовня. Но вот прошло более тридцати лет, давно вынесли из мавзолея Сталина, с высоких трибун предали анафеме всякое нарушение социалистической законности, но я посмотрел бы на профессора, ассоциировавшего подобным образом у окна, выходящего

на Кремль и центральные площади! А если бы добрый человек, которому это было "в шутку" сказано, счел нужным по важным для него соображениям поделиться услышанным с кем-то еще... Тем более, позиция действительно удобная. И широко известны (а историкам, занимающимся историей Франции, в первую очередь) слова Дантона, которые так любил цитировать Ленин — о смелости.

Мне трудно хоть что-нибудь сказать о Лурье, обвинить его в чем-то. Едва ли он был злым гением, провокатором, а гестапо тут явно ни при чем. Я запомнил интеллигентного толстячка, наверно, любителя сладко поесть, человека с юмором и несомненными познаниями. С отцом они говорили подолгу с очевидным для обоих интересом. Помню их долгие прогулки, в которых я иногда участвовал. Мы жили тогда под Москвой, в деревне, ходили на реку, переправлялись на пароме. Было тихо и не по-дачному патриархально. Лурье рассказывал анекдоты с древними сюжетами, мама смущалась, и много позже, когда я читал Франса, вслушивался в разговоры преподавателя, а потом профессора филологического факультета господина Бержере с ректором духовной семинарии аббатом Лантенем или с ректором университета, "служителем абсолютной истины" господином Летьерье, вслушивался в их неторопливые беседы под вязами, на городском валу, на квартире господина Бержере или в букинистическом углу книжной лавки — обо всем на свете: от толкования какой-нибудь строки из "Энеиды" до вполне злободневно звучавшего (и в пору Бержере и в мое время) диспута о Торквемаде, сжигавшем людей для их же блага — когда много лет спустя я наслаждался Франсом, то часто видел перед собой крутой берег Москвы-реки, старенький паром, на который всегда набивались козы, и отца с Лурье, тихо переговаривающихся о чем-то от всего этого очень далеко. Лурье снимал шляпу, застенчиво улыбался и, пропуская впереди себя цокающих копытцами коз, говорил им вслед что-то

красивое, на непонятном мне языке, отец громко смеялся, а паромщик понимающе подмигивал мне, как сообщнику, засовывая в карман, видимо, щедрую плату за перевоз.

Я не знаю, о чем они говорили, но допускаю, что, как и профессор римской истории господин Бержере, Лурье мог бы рассказывать, скажем, об общественных нравах в Испании, в эпоху реставрации при Фердинанде Седьмом, когда за свободу стояло незначительное меньшинство образованных людей, а все духовенство, генералитет и фанатичная чернь жаждали властелина. Или о том, что специальные суды противоречат принципам современного права и будут казаться нашим потомкам варварскими и средневековыми, а то, что называют "государственными соображениями", в действительности соображения бюрократические, что за словами о высшем смысле этих "соображений" скрывается всего лишь жалкая попытка скрыть собственные промахи и слабость. Как и господин Бержере, Лурье мог иронически рассуждать о том, что истине чаще всего суждено бесславно погибнуть, вызывая презрение и нападки, что только любопытство слабосильных, только дерзость интеллигентов может внушить "затею" поисков истины и борьбы с ложью, потому что государство всегда видит в этом покушение на "нравственную природу" гражданина и общественный строй. Лурье, как Бержере, мог, лукаво улыбнувшись, уточнить, что такого рода рассуждения о событиях древней истории только забавляют и развлекают ум, заставляют забывать о настоящем и, углубившись в древность, под каннибальские крики с улицы: "Долой Бержере!", "Смерть жидам!" — попытаться осмыслить корни разрушительного энтузиазма толпы, которая с удовольствием бьет стекла, но едва ли сумеет столь же легко их вставить.

Говорят, сейчас, уже в наше время, на телевидении и где-то еще в Комитете печати созданы специальные группы "ассоциаторов", которые улавливают невидимый

простому редактору или цензору злонамеренный подтекст. Бедняги, им следовало бы начать с уничтожения русской и иностранной классики, задача по нашим просвещенным и либеральным временам все-таки непосильная. Впрочем, теоретически это не так абсурдно, и скептический ум господина Бержере, повидать он с наше, мог бы предположить и такое направление деятельности современного кандидата в Торквемады.

Я не мог ненавидеть Лурье, читая его омерзительные саморазоблачения на процессе Зиновьева. Хотя он сам говорил, что он, Моисей Ильич Лурье (он же Эмель Александр), получал директивы о терроре от Троцкого через Рут Фишер и Маслова, что был непосредственно связан с Гиммлером, организовал ряд покушений, готовил покушение на Сталина. Гнев и энтузиазм народа, выразившийся почти в площадной брани по адресу профессора древней истории Лурье на страницах наших газет, "Правды", прежде всего, позволил бы профессору римской литературы Бержере (или Лурье, окажись он на его месте) сказать что-нибудь в таком роде: "После поражения обоих консулов Антония под Моденой имели место ужасные жестокости. Нельзя отрицать, что с тех пор нравы сильно смягчились".

На процессе Лурье выразился значительно менее изящно: в "Правде" говорилось, что в последнем слове М. Лурье "просит о применении к нему смягчающих вину обстоятельств". Профессор мог бы сформулировать свою мысль грамотнее, но интересно отметить, что больше никто на этом судилище о "применении смягчающих вину обстоятельств" не говорил, напротив, требовали к се бе самой суровой кары.

И все-таки, несмотря на видимое удовольствие, которое испытывал отец, беседуя с Лурье, ему ближе были, мне думается, (уже по темпераменту) разговоры другие, скажем, те, что он вел с философом Яном Стэном — красавцем-латышом, белокурым гигантом. Наверно, они не рассказывали друг другу древние анекдоты

и не втягивались в филологические дискуссии. В их беседах чувствовалась нервность и напряженность, хотя Стэн был человеком бесстрашным, а от сознания своей физической силы — добродушным и спокойным. Он жил рядом с нами в Отдыхе, на чердаке-мансарде маленькой дачи, вдвоем с красавицей женой, болтушкой Валерией, которая должна была бы скорее стать подругой художника или артиста, чем серьезного философа, безуспешно преподававшего диалектику Сталину. "Самый бездарный из моих учеников", — сказал о нем Стэн. И заплатил за эту фразу жизнь.

Помню, мы гуляли со Стэнами в Отдыхе. Живописная это, надо думать, была группа: отец с мамой, Стэн с огромной тростью, красавица Валерия в необыкновенном "заграничном" белом платье — оно так поразило тогда мое воображение, что запомнилось на всю жизнь. А может, запомнилось потому, что у нас в ту пору была собака — роскошная борзая по имени Фэб с длиннющей родословной; глупый, неученый, годовалый пес прыгал вокруг Валерии, а та смертельно боялась за свой ослепительный наряд.

Мы медленно шли по шоссе, лето кончалось, желтело, листья сыпались под ноги, за дачным поселком открылось поле, чуть не сплошь в васильках, а еще дальше — кромка леса и деревушка. И так это все было красиво: отец с мамой, Стэн с Валерией и блистательная борзая по имени Фэб...

Как отнестись к этому — шел 1935 год? Припомнить им, что за несколько лет до того миллионы крестьян были вывезены из родительских домов, от дедовских могил, на погибель и муку, что духовная жизнь страны была сведена к примитиву и неандертальству, что еще два десятилетия будут планомерно уничтожать все маломальски живое, осмелившееся приподнять голову? Да и потом, по сегодняшний день включительно... А здесь такая идиллическая картина, прямо Коро: поле, купы деревьев, красивые женщины, царская собака, импозантные

мужчины... Что ж, не знали они о вымерших от голода деревьях на Украине?.. Впрочем, разве я хоть что-то знаю об отце и о Стэне, а люди улыбаются и в самые страшные мгновения. Разве мы не гуляем по полям и лесам, не ныряем в прохладных речках, в нежном и теплом море, не жаримся под солнцем, не болтаем с красивыми женщинами, сладко не едим и не пьем? А знаем между тем т а к о е, что, казалось бы, должны постоянно не только что кричать, но рычать по-звериному! И ничего, живем. Стоит припомнить хотя бы мысленно список злодеяний, свершившихся при нас, за которые никто никогда не снимет с нас ответственности...

Они пришли за отцом глубокой ночью 31 мая 1936 года. В этот день меня привозили с дачи искупать, потом увезли обратно, и мама рассказывала, что отец, обычно не обращающий на меня внимания, на сей раз долго смотрел в раскрытое окно, когда я, подпрыгивая, шел по двору к воротам, и сказал с неожиданной для него грустью: "Хорошо бы узнать, что из него вырастет..." Сестра сдавала последние экзамены в десятом классе, крепко спала, отец не захотел ее будить и уже у двери сказал: "Пусть Ида не отрекается от меня..." Мама рассказывала обо всем этом много раз, но я услышал ее первый рассказ еще тогда, а больше слушать не мог.

Мама вернулась поздно от своих сестер, отец уже спал. Она не успела лечь, когда позвонили, и сразу вошли человек пять в форме и комендант нашего дома в качестве понятого. "В чем дело?" — спросила мама. Был только тридцать шестой год, самое начало, да ей бы, думаю, и через два года не могло придти в голову, что это может случиться с нами. "Где там ордер на обыск и арест?" — спросил один у другого, и пока тот искал бумажку, мама повторила громко, чтоб отец услышал и приготовился: "Ордер на обыск и арест?!"

Он услышал. "Что такое? — закричал он. — У меня обыск?!"

Они быстро поняли, что обыск практически невозможен, если они хотят его взять в эту ночь. Кабинет и вся квартира были забиты книгами, стол завален рукописями, определенных инструкций на этот счет у них, видно, не было.

Все делалось только для соблюдения процедуры. "Как вы работаете при таком беспорядке?" — спросил один из них, сидя за отцовским столом, осторожно перекладывая бумаги, выдвигая ящики стола.

"Мучаюсь", — сказал отец. Но тот взялся за левый ящик стола, а мама знала, там пачка писем Рязанова из ссылки: старик и оттуда не стеснялся высказывать свои весьма нелестные суждения о происходящем. Мама увидела, как у отца блеснули глаза. "Может, ваш визит — счастливый случай, сможете разобраться, наведем порядок..." Военный задвинул открытый уже ящик и встал. "Надо кончать, — сказал он, — достаточно".

На столе лежала подготовленная к печати огромная рукопись второго тома "Марата", листов, наверно, тридцать пять—сорок. Это была, конечно, главная работа отца, и когда тридцать лет спустя, при переиздании я внимательно читал первый том, то понял — он был всего лишь подготовкой, разбегом для тома второго. В общей сложности отец работал над этой книгой лет десять, подолгу сидел в Британском музее и парижских хранилищах. Думаю, там были материалы уникальные, соображения очень ценные, быть может, они еще что-то приоткрыли бы мне во внутреннем развитии отца, не столь уж и "личном".

"Вот это мне действительно жалко", — словно самому себе, тихо сказал отец и осторожно, легко положил на рукопись руку.

Они взяли именно ее.

Потом отец попрощался с мамой.

Она смотрела в окно, как он спускается с крыльца. Было уже светло. Под окнами стояла открытая легковая машина красного цвета — такие еще были времена.

Он неожиданно остановился, спустившись с одной ступеньки, и те, что шли сзади, ткнулись в его широкую спину. Отец засунул руки глубоко в карманы пиджака и медленно обвел глазами двор, наши окна и посмотрел в небо. Потом глубоко выдохнул воздух и полез в машину.

Мы жили в Каретном ряду, в Третьем Доме Советов, еще целый год. Но дома уже не существовало. Он был разрушен.

ПОТЬМА

В вагоне было темно, только у проводника горел фонарь, за окном мело, поезд то и дело останавливался, его встряхивало, он гремел, как пустая консервная банка, входили и выходили люди в грязных телогрейках, подвязанных ушанках; курили махорку; было много военных в белых полушубках, стрелки с винтовками. Еще меня удивило, что, несмотря на поздноту, никто не собирался спать, как-то все были напряжены, словно боялись проехать остановку, и не шутили, как всегда бывает в поездах.

Проехать остановку было легко: ее не объявляли, как я ни пытался сквозь залепленное снегом окно разглядеть что-нибудь при стоянках, ничего не видел — ни вокзала, ни пристанционных строений.

Поезд, как трамвай, останавливался, встряхивался и полз дальше.

Мы ехали по узкоколейке Темниковскими лагерями. Остановки были лагпункты, военные — вохра, люди в телогрейках — вольнонаемные или бесконвойные ээки, или ээки бывшие — освободившиеся и осевшие здесь, у лагерей...

Сейчас в тех же самых лагерях сидят Синявский и Даниэль, Гинзбург и Галансков, здесь был Марченко. Так же, как когда-то мы с сестрой, спустя тридцать лет, ездят к ним на свидания — поездом до Потьмы, потом той же самой колеей от лагпункта к лагпункту, через Явас. За

окном дребезжащего вагона тот же снег и те же стрелки с винтовками. Режим свидания все так же зависит от поведения заключенного, от того, что за человек начальник лагеря, стрелок-вохровец, те, кто следит за соблюдением инструкций.

Впрочем, есть разница. Существенная весьма. Для нас происшедшее с нами было как гром среди ясного неба — мы были оглушены и растеряны, а потом впали в некую спячку, прежде всего потому, что не могли постичь смысла происходящего. Сейчас всем все понятно. Нет неожиданности. При всем столь же цинически-наивном, конкретном нарушении законности, очередной раз продемонстрированном органами охраны порядка и юстиции, — великолепно правовом нигилизме, люди, сидящие в лагере, знают, почему выбрали тем не менее их, а не соседей по квартире, скажем. Существует (налицо!) конфликт между властью предрержащими и гонимыми, уже в оценках, нравственном отношении к одним и тем же явлениям и фактам. У Синявского и Гинзбурга, скажем, есть и нечто, сделанное ими, — книги, вполне определенно выразившие их позицию, которой они остались верны на суде, за плечами они ощущают дыхание людей, им действительно сочувствующих, постоянное внимание, контакты и связь с волей и даже выходы за рубеж. И те, кто приезжает к ним, несомненно одушевлены этим ощущением причастности. Чувства достоинства, мужества, продемонстрированные на процессах подсудимыми, адвокатами, людьми, так или иначе связанными с "преступниками", выступившими в их защиту, — оказались необычайно заразительными. И вот мы уже узнаем подробности — прекрасные, чуть ли не легендарные, знаем о несомненном превосходстве мужества и благородства, ироничности над тупой жлобской силой, ничему не научившейся и по сути не изменившейся.

Впрочем, об этом и написана книга, я ничего не хочу предвосхищать, моя задача в том, чтобы попытаться

как можно достовернее передать саму эволюцию сознания героя, изменявшегося во времени и вместе с ним.

Я уже не помню, сколько часов гремел наш состав от Потьмы — маленькой станции на магистрали от Москвы: в Потье мы с сестрой были засветло, а добрались до нашего лагпункта глубокой ночью.

Где-то здесь, в темноте, в снегу, где эти стрелки с винтовками, — наша мама. Все это была фантастика, как в книжках, но я привыкал к тому, что жизнь существует как бы в двух измерениях: жизнь всех — светлые улицы, пионерские костры, тысячи листовок, сыпавшихся с неба на головы сидящих в открытых автомобилях веселых папанинцев; первомайские демонстрации, звонкие песни, разноцветные воздушные шары, пронзительные "уди-уди" — и нечто совсем иное: тихие разговоры о том, что еще кого-то взяли; бесконечные очереди на почте, где принимались посылки туда; звонок ночью; "автобиография", знакомство с которой что-то непременно меняло в отношениях самых доброжелательных; тягостное сидение в коридорах паспортных столов перед кабинетом милицейских начальников, по непонятным причинам всемогущих и страшных; вошедшее словно бы в кровь, даже внутренне объясняемое состояние правильного, во всяком случае, узаконенного, бесправия, привычная готовность к отказу, к тому, что вот сейчас тебя вытолкают, возьмут за шиворот, в счастливом случае пошлют еще за какой-то бумажкой — правильно, должен был знать заранее! — и рабское облегчение, нескрываемое заслуженное преимущество перед все еще толпящейся у грозных дверей очередью, с надеждой и отчаянием ожидающей своего часа, когда ты с необходимым тебе штампом наконец выходишь из дверей: "У вас уж, наверно, нет таких справок, как у меня!"

Может быть, самым тяжелым здесь и была какая-то даже органичность, вполне, как теперь говорят, "мирного сосуществования" этих, казалось бы, отрицающих друг друга миров. Но они действительно мирно уживались! Я бегал с ребятами на Красную площадь, благоговел возле Кремлевской стены, с восторгом глядел на Мавзолей в дни демонстраций, вдохновенно стучал в свой барабан и однажды на демонстрации прикрыл его грудью от более реалистично относившегося к действительности паренька, прицелившегося в мой барабан из рогатки. Барабан был спасен, снаряд попал мне в глаз, меня потащили в больницу и глаз еле спасли — был поврежден зрачок. Следовало, может, задуматься, но я не увидел тут никакого символа. Спустя несколько лет я таскал лагерное пионерское знамя, был страшно горд доверием, целовал красное полотнище, когда никто не видел, и как-то утром, не знаю почему, на торжественной линейке, стоя под знаменем, потерял сознание, меня тащили впереди идущей колонны на руках, а я, придя в себя, был счастлив.

Может быть, была в этом некая истерика, подсознательное желание заглушить грохотом барабана что-то страшное в себе, во всяком случае — другое, прикрыться красным знаменем, — а через него ничего не видно. Потому что жизнь рядом была совсем иной, а я не просто наблюдал ее, я жил ею.

Мы уехали с мамой из Москвы через год после ареста отца. Маму выслали в Архангельск — сначала в область, а потом разрешили жить в городе, — я приехал к ней, как только она устроилась. Она снимала угол у молодой женщины, зубного техника, хорошенькой блондинки, не решавшейся выставить нас, хотя у нее начинался в ту пору роман с директором моей школы, им негде было встречаться, они целовались в нашем подъезде, и мы — ребята из нашей квартиры, затаившись в коридоре, считали поцелуи, поражаясь их количеству. Однажды директор похвастался нашей хозяйке, что у него в школе

учится сын Фридлянда, "того самого — историка, я в свое время был его студентом..." Наша Леночка страшно перепугалась, не решилась признаться, что мы живем у нее, но рассказала об этом маме, а моего директора в дом ни за что не пускала.

Меня привезла в Архангельск моя старая няня Груша, которую я нежно и преданно любил, распространяя свою привязанность и на ее брата Степана — сначала милиционера, а потом крупного офицера органов. Мне он всегда казался воплощением чекистских добродетелей — человек спокойный, сдержанный, окруженный таинственностью. Еще много лет спустя я встречался с ним, всякий раз отмечая новый кубик, потом шпалы на его петлицах, а потом звезды на погонах. Он погиб уже после войны — был убит бандеровцами где-то на Львовщине. Несомненно, и в этой моей привязанности к Степану проявлялся все тот же своеобразный комплекс неполноценности, странное чувство вины: когда он был простым милиционером, мой отец его и за человека не считал, а он, между тем, охранял завоевания революции, охраняет их и теперь, когда моего отца нет и в помине. Как-то связать блестящую карьеру Степана с судьбой отца я не хотел, отталкивал от себя мысли о возможности такой связи и зависимости. Я встречался с ним, уже после того, как не только за отцом, но и за мамой пришли степановы коллеги, я опять жил в Москве у приютивших меня теток и иногда ездил в гости к Груше, осевшей неподалеку от нашей дачи в Отдыхе. Приезжал я обычно в выходные дни, и Степан часто оказывался там же. Груша относилась к брату, как старшая сестра — по-матерински, но все-таки осторожничала, говорила ему, как я его люблю и радуюсь встречам с ним, а он посматривал на меня покровительственно, явно снисходя и понимая, что мог бы этого не делать.

Я пытаюсь всего лишь точно передать свои ощущения, мне они важны для дальнейшего, я несомненно наслаждался остротой унижения, как бы единясь с победившим

классом уже своими семейными бедами. Всегда жившее во мне ощущение незаслуженности нашего преуспевания и барской жизни в Третьем Доме Советов нашло, наконец, выход в случившемся с нами. Все становилось на место — я теперь, как все, только еще хуже. Такое мироощущение было очень удобным: все оставалось на своих местах — я мог по-прежнему петь пионерские песни, до хрипоты кричать на демонстрации, имея даже некое преимущество перед сверстниками в своем несчастье, которое мне следовало искупить предстоящими подвигами.

Вся эта путаница создавала характер, инстинктивно пытавшийся сохранить себя, не потеряться, приспособившись, тем не менее, к происходящему, оставаясь в то же время искренним в каждом таком неосознанном компромиссе. Интересно, что книжку про Павлика Морозова я воспринимать все-таки не мог, что-то восставало во мне против такого рода добродетели, что-то жалкое, стыдное было в его подвиге, особенно — что о том страшном, что произошло между отцом и сыном, стало известно всему свету. Это было, наверно, единственным, чем я бы не мог делиться со Степаном — своей любовью к отцу, гордостью воспоминаний о нем. Это был мой закрытый от всех мир, который я ни с чем не путал и не пытался как-то оправдать или к чему-то приспособить.

Архангельск не мог не поразить меня. Сначала широкая, как морской залив, Двина, через которую наш пароходик-паром долго шлепал; потом тихие, с деревянными тротуарами, поросшие посередине травой улицы; деревянные дома с галереями и внешними лестницами. Сам образ нашей жизни, которую мама пыталась организовать, будто бы ничего, кроме этой провинциальной патриархальности, вокруг не было, будто мы просто переехали в милый деревянный город на берегу прекрасной северной реки — и не было ссылки, и время было другое, а не самый разгар сталинского шабаша.

Мама иначе не могла.

Трудно даже сказать, как ей удавалось создать эту "домовитость". Мы снимали "угол" у незнакомой молодой женщины, которой явно мешали. Комната была небольшая, в огромной квартире с общей кухней, надо было топить печь, но главное, искать работу, которую ссыльной — преподавателю истории — давать не хотели. Кроме того, была суровая зима, а находились мы в чужом городе без каких бы то ни было друзей и видимых надежд на улучшение нашей жизни.

И тем не менее у меня был дом. Мама всегда смотрела с галерейки, как я шел в школу, и я долго-долго, до поворота, оглядывался, видел ее улыбающуюся, и мне было весело.

Перед самым арестом отца мама работала в Музее Революции, организовывала выставки, энергия и внутреннее напряжение искали выхода, меня ей не хватало. Так или иначе, но мама стала заниматься оформлением нашей школы к празднику. Помню, мы до поздноты сидели в школе, клеили и вырезали, а наутро приходилось кромсать уже наши стенды: в утренних газетах клеймили тех, чьи портреты мы накануне торжественно вырезали из тех же самых газет.

А совсем поздно, когда мы все трое лежали в кроватях, мама подолгу разговаривала с нашей молодой хозяйкой, и мне иногда даже казалось, что та предпочитает эти их долгие за полночь разговоры, под которые я засыпал, утомительным свиданиям с нашим директором. Впрочем, быть может, я и ошибаюсь. Как раз в это время я начал по-настоящему читать, мама впервые привела меня в городскую библиотеку, мы стояли с ней в длинных очередях в абонемент за книгами — помню особенность ожидания книги. Однажды мама уговорила пустить меня в читальный зал, куда детям ходить не полагалось, а я не мог ждать, пока вернут вторую часть "Двадцать лет спустя". Помню, время исчезло для меня, как только я уселся в уголке читального зала, и очнулся, когда его уже закрывали, пришла мама, пожалевшая меня и

позволившая по такому случаю лечь позже. В тот вечер, растроганная моей читательской страстью, женщина, пришедшая, как и мы, менять книжки, повела нас к себе — у нее был собственный Дюма, и пока мы шли по ночным замерзшим улицам, из осторожного разговора ее и мамы о том о сем, о жизни, выяснилось, что осторожничают им обоим нечего, обе они ссыльные, и ей сам Бог велел дать мне эту книжку. Отчетливо помню ощущение счастья, испытанное мной, когда, зажав томик Дюма локтем, я шел домой. Было совсем темно, холодно, деревянные тротуары звенели под ногами, так поздно я еще никогда не возвращался, а меня ждал дом, настольная лампа, свой Дюма, которого никто у меня не заберет, пока я не переверну последнюю страницу.

Мама всегда умела создать вокруг себя уют, даже ощущение некой роскоши. Причем, в самой, скажем, скромной обстановке. И это никогда меня не смущало, мама вела себя совершенно естественно, без тени позерства или какого-то намеренного стремления что-то кому-то доказать и себя обнаружить. Она — вот такой человек. И не может быть иной.

Я навсегда запомнил, как однажды ночью, в дождь, в грозу, мама взяла меня с собой на "операцию". Мне было тогда лет пять или шесть. Мы жили тем летом в подмосковной деревушке, где-то очень близко от города, но в деревушке глухой и нищей. Не было ни электричества, ни врача. И как-то мой тамошний приятель, паренек бывалый и по сравнению со мной совсем взрослый, таким он был самостоятельным и не по-городскому рассудительным, распорол ногу, она стала у него нарывать, он ковылял с палкой, хвастался огромным — в кулак — нарывом на пятке, а ночью прибежала его бабка: малый кричит криком, терпеть больше нет сил.

Мама быстро собралась, зачем-то взяла меня — может, боялась оставить одного в такую грозу, — и мы побежали. И вот осталось в памяти, как врезалось: мама в едва освещенной коптилкой грязной избе, ее тонкое,

вдохновенное лицо, пышные волосы, маленькие руки, платок на плечах, ослепительно белые бинты среди каких-то тряпок — прямо иллюстрация из учебника русской истории: аристократка-народница 70-х годов на селе.

А ведь мамина родня была откровенно мещанская, и отец с высоты своего плебейства относился с нескрываемым презрением к этим милым, добропорядочным, действительно скучным людям, не только не бросившимся навстречу революции, но замкнувшись в семье, ревниво сохранявшим самые дальние родственные связи, готовым всегда друг другу помочь и поддержать. Интересно, что эта, так сказать, семейная нравственность оказалась значительно более прочной, чем нравственность революционная, продемонстрировавшая свою несостоятельность при первом серьезном столкновении с жизнью. Яркие, талантливые, шумливые нувориши оказывались людьми мелкими и ничтожными, стоило поставить их в равное положение с окружающими и лишить ореола, так называемых революционных заслуг, по большей части, кстати, мнимых. А мамыны родственники не дрогнули. Революция, а потом сталинский термидор пронесли над ними, не сумев поколебать почву, на которой они жили, растили детей, в которую их закапывали. А пришлось им туго — доставалось от тех и от других. Но я так много потом сталкивался с их добротой и бескорыстием, всегда — с абсолютной честностью, порядочностью.

Можно было простить скуку и отсутствие революционного размаха. Бог с ним, с этим размахом.

...Мы прожили в Архангельске всего несколько месяцев, а кажется — годы, так наполнила мама эти месяцы своим душевным теплом. Мне посчастливилось: мы жили вдвоем, кроме меня, у нее больше не было никакого другого дела, и я получил столько, что потом хватило на всю остальную жизнь.

А жили мы к тому времени совсем тесно, буквально нос к носу. Мама сняла маленькую комнатку-щель в одноэтажном деревянном доме. Помню, что больше

всего меня поразило отсутствие форточки — круглая дыра над окном затыкалась длинной деревянной пробкой, в комнате чем-то устойчиво пахло, но я скоро привык, а преимущество собственных четырех стен было очевидно.

Дело шло к Новому году, впервые были разрешены елки, все магазины светились разноцветными лампочками, улыбались розовощекие деды-морозы, мы с мамой ходили и приглядывались, выбирали, но еще не покупали — рано. А потом я заболел, простудился, мама читала мне вслух, баловала, и я не хотел в школу — мне и дома было хорошо.

Они пришли поздно вечером, 10 декабря 1937 года, когда мы уже собирались спать, за два дня до первых выборов в Верховный Совет. К нам без конца ходили агитаторы, им можно было только посочувствовать: кандидаты один за другим исчезали, их обливали грязью, лучше было имен не называть.

Вошли трое мужчин и женщина.

— А к нам уже утром приходили, — улыбнулась мама, — мы все знаем: двенадцатого, с самого утра на избирательный участок.

Потом она прочитала поданную ей бумажку и выпрямилась:

— Но это же не соответствует действительности! — вскрикнула мама.

Я много думал потом над этой вырвавшейся у нее фразой, в которой не было никакого смысла, потому что на самом деле случившееся полностью соответствовало действительности, тогда как наше отрешенно-безоблачное существование, попытка создать оазис в выжженной до тла пустыне и впрямь являлась каким-то недоразумением.

Но мама быстро взяла себя в руки.

— Мальчик болен, — быстро говорила она. — Его ни в коем случае нельзя трогать. Сейчас я его одену. Вы ведь не станете возражать? Вы женщина, наверно, мать.

А ты не спорь, ты хоть и большой — ему на днях исполнилось десять лет, вот видите его подарки, — все равно для меня всегда маленький. Понимаешь, как мне приятно тебя одевать? Сейчас я уйду, ты останешься, но за тобой сразу же придет сестра... У него старшая сестра, имейте в виду, взрослая, студентка, поэтому нет никакой нужды забирать его в детдом...

Мама натягивала мне чулки, теплую рубашку и шептала в самое ухо: "Беги к Леночке (наша прежняя молодая хозяйка), пусть немедленно звонит или телеграфирует Иде, ты поедешь к ней в Горький или к теткам в Москву..."

Тем временем шел обыск, но все было довольно прилично, да и вещей оказалось немного; меня только потрясло, когда женщина ловко ощупала маму, а потом внимательно рассматривала тапочки, которые мама сняла.

Наконец, из-под стола вытащили высокую круглую плетеную корзину — в ней у нас лежало белье.

— В этой корзине, на самом дне, рукопись второго тома "Марата". Вы, наверно, культурный человек и, конечно, читали книги Фридлянда. Он успел издать только первый том, а том второй — основная часть работы, итог всей его жизни. Это готовая к печати книга. Когда мужа забирали в Москве, то рукопись взяли, но потом, очень скоро, меня пригласили и все вернули. Вы увидите на ней печать НКВД...

Мама говорила рассудительно, терпеливо, как говорят с озорными детьми, полагая, что если хорошо объяснить — они все поймут.

— Все будет в порядке, — сказал старший. — За кого вы нас принимаете? У нас ничего не пропадает.

У мамы каким-то чудом сохранилась квитанция, на которой значилось, что во время обыска была обнаружена и изъята рукопись "Марат". В 1956 году, как только я получил справку о посмертной реабилитации отца, я написал в Архангельск. Ответ пришел довольно быстро: "За давностью времени не сохранилась".

— Представляешь, что он должен был сделать там, на Лубянке, чтобы заставить их вернуть рукопись! — часто говорит мне мама. — А я, старая дура, повезла ее с собой в ссылку!..

Но куда ей было деть огромную рукопись, если боялись взять на хранение даже фотографии отца, его напечатанные книги. Да и кому дать — всех друзей подобрали. Не было рядом человека, который умел бы спрятать, закопать, здесь нужен был мужчина, фантазия чисто художническая.

Булгаков пишет в "Мастере", что рукописи не горят. Это прекрасно сказано, но скорее как символ, как образ бессмертия подлинного искусства, неумиряющей силы слова.

Но была реальность — конкретная жлобская реальность поощряемого произвола, и рукопись, конечно же, была уничтожена — тупо, с бессмысленной злобой.

Мама — маленькая, в огромной оленьей дохе (ее купили для отца уже в тюрьму, но там не приняли, ему она не была нужна, и мама взяла ее в Архангельск) — мама улыбалась мне, оборачиваясь из-за спин тех, кто ее уводил. А я все боялся не так понять, что-то не так сделать, а спрашивать совета, я знал, будет уже не у кого, но ведь нужно срочно, непременно нужно что-то сделать, и делать это должен был я!..

Они ушли. Я вернулся в комнату, которая только что была моим домом, а теперь оказалась нелепым помещением, где вдвоем не разойтись, с дурацкой дырой вместо форточки и развороченным нутром наших чемоданов.

Потом я опомнился, натянул пальто и без шапки выскочил на мороз. Останавливать меня и причитать над тем, что я могу простудиться, было уже некому. Снег скрипел под ногами, блестел под холодными звездами. Я выбежал за ворота — пусто, под фонарем отпечатались следы разворачивавшейся машины.

Я топтался у ворот, не знал, что делать дальше. Подошел старик — наш хозяин, надел мне на голову шапку.

— В тюрьму повезли, — сказал он, посмотрев на следы. — Надо ж, такая тихая женщина: никуда не ходила, к себе не водила, жила себе с мальчонкой...

Мы вернулись в дом. Это были первые услышанные мной слова, свидетельствующие о возможности другого отношения к происходящему. "Тихая женщина..." — это о моей маме.

Я заперся в уборной — она была в доме, но холодная, с разбитым окошком, смотрел на звезды и плакал. "Мама, — тихонько кричал я. — Не может быть, этого не может быть!.."

Потом побежал к Леночке. Она встретила меня хорошо, все сразу поняла, только чуть побледнела, сказала, что тут же закажет телефонный разговор с Горьким. И по дороге на почту отвела меня обратно.

А я хотел остаться у нее. Где-то жила во мне надежда на то, что вот сейчас Леночка уложит меня, накроет теплым, подоткнет одеяло, а утром я проснусь — и все как прежде: мама разогревает завтрак, торопит нас обоих, машет рукой с галерейки...

Но Леночка не оставила меня у себя. Правда, днем после школы (я пошел в школу следующим утром) — я приходил к ней, в печке стояли теплые еще котлеты, я съедал их и делал уроки. А потом шел к себе. Я не обижался на Леночку, даже понимал, что, наверно, так лучше, и немного жалел — приходится каждый вечер отпрашивать меня, а ей передо мной неловко.

Я слышал, как соседка, зашедшая вечером к Леночке, когда я собрался уходить, сказала: "Всякое может быть, ребенка-то вы пригреваете..." — "Она умная женщина", — ответила Леночка. А я удивился, впервые услышал сказанное так о маме со стороны. И понял: Леночка думает, что рассказывает мама о ней там, и надеется — беспокоиться ей нечего.

На другой день вечером я сидел у знакомых Леночки, и пока она ходила на почтамт разговаривать с сестрой по телефону, вместе с хозяевами слушал по радио выступ-

ление Сталина перед избирателями. Было 11 декабря, канун выборов.

Я хорошо помню бешеную овацию, которую Сталин никак "не мог" остановить, его, впервые услышанный мною, голос, его русские народные поговорки. Помню напряженные лица хозяев дома, они то и дело взглядывали на меня. И то, что мне хотелось поскорее уйти отсюда, остаться одному. Чувствовать себя ответственным за других у меня не хватало сил, мне было не по себе в благополучном доме: у радиоприемника сидели отец и мать, бабушка присматривала, как девочка — моя ровесница — делает уроки. Я чувствовал, что мешаю им, от меня идет какой-то холод, а они милые, хорошие люди, за что их наказывать моим присутствием...

Сестра приехала через неделю.

За это время ко мне несколько раз навещался мамин следователь. Очевидно, никакого указания насчет меня не было, он каждый раз уговаривал меня "захотеть" в детский дом. Ты не думай, говорил он, что там жулики и шпана. Там дети секретаря обкома, нашего военкома, еще каких-то начальников. Он называл известные мне фамилии, портреты этих людей мы с мамой еще недавно наклеивали на праздничные стенды, а потом вырезывали или заклеивали другими, ждущими своей очереди. Но я не хотел в детский дом. Даже в такое избранное общество.

— У меня сестра, — говорил я, — она на днях приедет, — и показывал телеграмму. — Я буду жить только с ней.

С сестрой мы прожили в Архангельске дней десять. Она узнавала о маме и мы собирались.

Зима стояла лютая, мы обедали в столовых, и помню, как мерзли руки, пока, бывало, донесешь ложку до рта. Особенный холод был в столовой (или это был ресторан?), устроенной в бывшем храме. Здесь, наверно, и жарким летом хотелось натянуть пальто — натопить это помещение было мудрено, я не мог разглядеть потолка и закинув голову.

А может быть, я просто замерзся. Мы пришли в этот храм обедать, простояв несколько часов у ворот тюрьмы с передачей для мамы. Огромная старая тюрьма с высокой кирпичной стеной в колючей проволоке и громадой многоэтажного заиндевевшего здания за ней, с замерзшими, забранными решетками окнами, была похожа на замок из какого-то мрачного романа. У ворот притоптывала молчаливая толпа женщин с сумками и посылочными ящиками. И я никак не мог соотнести все это непостижимое с мамой, увидеть ее — хрупкую, нежную, с глазами, всегда добро улыбающимися, — там, за этой стеной, за слепыми от мороза окнами в решетках.

Я стоял в стороне, пока сестра с нашим ящиком толкалась в толпе, время от времени подбегая ко мне, чтобы удостовериться, что я еще жив.

Но мама действительно была там. Она отказывалась о чем бы то ни было говорить со следователем до тех пор, пока он не принес ей записку от моей сестры, пока не поверила, что мы вместе, живы и уезжаем отсюда. Она ничего не ела, таяла как свеча, и следователь нервничал, спрашивал меня, почему сестры так долго нет, и просил ее поторопить. Мама рассказывала — он был с ней вполне вежлив. Впрочем, мама утверждает: за все годы тюрьмы и лагеря она не слышала ни одной грубости. Охотно верю. Можно было, при известном усилении, представить, что мама оказалась там — за промерзшей кирпичной стеной с колючей проволокой, в камере с решетками на окнах — это машина завертела ее, машина ведь не видела, с кем имеет дело. Но там — в тюрьме, в лагере — ей пришлось сталкиваться с людьми, божьими созданиями, несмотря ни на что. Может быть, маме просто повезло, были лагеря, в которых и с ней не посчитались бы. Но факт остается фактом: она вернулась из лагеря тем же человеком, с душой столь же нежной и трепетной, полной надежд, даже иллюзий, живым интересом ко всему, что вокруг происходит, активной,

хотя несколько инфантильной, так сказать, диккенсовской добротой.

Мы уходили из Архангельска ранним утром, еще ночью. Поезд отправлялся часов в шесть, значит, встали мы в четыре. Надо было идти пешком через Двину — никакой транспорт так рано не ходил.

Кто-то, уже не помню, может быть, старик-хозяин нашей последней с мамой комнаты, провожал нас, сундук и круглая корзина стояли в санках, дорога через реку была накатанной, легкой и светлой от снега. Только небо над нами было черное, низкое, и город, когда поднялись на бугор на той стороне, казался таким же черным, бесформенным нагромождением домов.

Когда поезд тронулся, уже рассветало. Леночка напекла нам в дорогу пирогов с вареньем, сосед по купе угощал в ответ на пироги плавленым сыром, кажется, это было новинкой, во всяком случае я ел такой сыр впервые. С той поры, кстати, проблемы питания, пищи, продуктов, обеда, вкусной и невкусной еды встали передо мной вплотную. Я не помню ничего из того, что я ел до тех пор — до десяти лет, наверно, одну манну небесную. Все дальнейшие годы — больше-меньше, но запомнились именно с этой стороны, и связаны с этим всякого рода переживания.

Сестра отвезла меня в Москву и оставила теткам — маминим сестрам. Они жили в центре, в хорошем "доходном" доме, в большой квартире с огромными резными буфетами, кроватями, чистотой и добропорядочностью.

Они были со мной очень добры, по-своему любили меня, но весь уклад их дома был мне так чужд, так противоречил всему моему небольшому, но собственному опыту, что я чувствовал себя на первых порах горько-одиноким, восставал против всякой мелочи и мечтал о комнатушке в Архангельске, с дырой вместо форточки, о Леночке — обо всем, что как-то

привязывалось к моей прежней жизни. Я писал сестре в Горький отчаянные записки, умолял взять к себе.

А сестра училась в университете, жила в студенческом общежитии и взять меня из тепла, уюта, сытости и благожелательства — и не могла, и не хотела.

Сестра была для меня в ту пору воплощением всех возможных добродетелей. Мы не дружили с ней в детстве, слишком большой была разница лет — я поступал в школу в тот год, когда она ее заканчивала. Я мог только с восхищением смотреть на ее книги, ее шумных друзей, на ее дружбу с отцом. А она любила меня по-матерински, безоглядно, со всем пылом и темпераментом юности.

Она унаследовала от отца прежде всего эту темпераментную одаренность, она вся была во времени, не вносила в происходящее даже тех коррективов, которые я пытался делать по малолетнему недомыслию. Она развивалась бурно, естественно в той организованной структуре нашего дома, в которой я был уже чужим, ощущая неловкость перед окружающими.

У нее не было этой неловкости. Она — наследница отца и чувствовала себя таким же, как он, хозяином в этой — ее — стране. Любила ее, гордилась отцом, Москвой, Россией, которую, разумеется, не знала. Она чувствовала молодую силу, полагала, что знает, где правда, не понимая ее, просто по праву рождения.

То самое трагическое военное поколение, изломанное в тридцатые годы, уничтоженное в сорок первом под Москвой, Киевом, Минском, доживающее век в наше время.

Сестру исключили из комсомола "за потерю бдительности". Голосовал ее класс, выросший в нашей квартире, гордившийся дружбой с отцом и прибегавший к нам с каждым пустяком. Против была только одна — маленькая толстушка Зина Гольцман, дочь погибшего

в авиационной катастрофе авиационного наркома, похороненного в кремлевской стене, а потом выброшенного оттуда как врага народа.

Это могло стать полным крушением для сестры. Но она была молода, полна сил, неукротимой энергии, и один, даже такой, но личный удар еще ничего не мог с ней сделать.

Ее провалили на экзаменах на отцовский исторический факультет, куда поступать было чистейшим безумием, и умный человек, один из ответственных работников наркомата просвещения Межлаук, к которому мама пришла за месяц до его ареста, сказал: если она хочет спасти дочь, нужно немедленно отправить ее из Москвы. Так сестра оказалась в Горьком, на биофаке, в общежитии, где и началось настоящее знакомство с абстрактной для нее в ту пору реальностью.

Но она была такой же: дважды пыталась восстановиться в комсомоле, ее приняли заново накануне войны, совершала бесконечные подвиги по общественной линии, не просто доказывая свою принадлежность к миру, который ее отшвырнул, но полагая такую жизнь единственно возможной.

Правда, в ее деятельности была несомненная ересь с точки зрения правоверного комсомольства: в самом подходе к людям и событиям не хватало равнодушного классового чутья, она бросалась на помощь каждому, у кого что-то было не так, ощущая свой долг именно в такой реакции, не давая себе труда задуматься над очевидным несоответствием между ее азартом и ее же судьбой. Такое отсутствие потребности додумать мысль до конца, не пугаясь выводов, от которых все равно никуда не уйдешь и не денешься, очень характерно. В конкретном случае именно отсутствие смелости мысли стало бедой сестры, в которой — чем дальше, тем серьезней — она погрязала.

Друзья сестры в Горьком, узнав, что произошло в Архангельске, решили взять меня на воспитание, устроить

в общежитие, сделать "сыном факультета". Сестру провожала студенческая манифестация. Но, наверно, было хорошо, что я остался в Москве, со скучными тетками, в доме, раздражавшем меня своей чистотой и благопристойностью. Много позже я научился ценить эти элементарные скучные добродетели.

Я жил двойной, а может быть и тройной жизнью. Была школа, пионерский отряд, инерция третьедомской — из Каретного ряда — общественной активности: стремление жить и чувствовать себя, как все, как об этом говорилось в газетах — весело, беззаботно, бодро и шумно. Были мрачные, холодные комнаты у Кировских ворот, где я жил с тетками и старым дедом — маминым отцом, тихим правоверным евреем. Тетки баловали отца, нянчились с ним, он болел, они устроили в квартире домашнюю синагогу, по субботам, особенно в сентябре, в Новый год, и на Пасху в дом набивалось тридцать-сорок стариков и старух, дудели в дудки и гортанно кричали. А я привык, что домой должны приходить ребята, что именно дома так интересно делать газету, придумывать нечто романтически-пионерское, что потом приносишь в класс. Но здесь был дед, заворачивавшийся в молитвенное покрывало, бормочущий молитвы, на которого таранились мои приятели, и я перестал звать их домой, придумывая причины, по которым ко мне нельзя было ходить.

Но, кроме того, были связи с моим прошлым. Я часами выстаивал на почтамте в очередях — отправлял маме посылки в лагерь, и, когда очередь, наконец, подходила, потел: приемщица читала вслух лагерный адрес и переспрашивала.

Иногда из какого-то другого — прекрасного мира приезжала сестра. Тетки дружно ругали ее — она все делала не так: тратила деньги на кого-то, одевалась слишком просто или чересчур модно, вместе с ней всегда

приезжали подруги-студентки или просто случайные попутчицы. Однажды одна такая "подруга" прихватила теткину шаль.

А еще были книги — беспорядочно и безо всякого смысла. И тем не менее я прочитал тогда и Толстого, и Диккенса, и Гюго.

И все это вместе закручивалось, стягивалось, так тоненько, надрывно звенели в ушах пионерские песни, и в самый разгар наших праздников мне вдруг хотелось плакать. Я этого стыдился, боялся, чтоб кто-нибудь не догадался, не понял. Но все равно не мог — щипало в горле, когда стучали барабаны, дудели трубы, когда пелись бодрые песни, и мои ровесники, топя каблуками по мостовой, выходили на Красную площадь, и, оглушая себя криком, пытался разглядеть, что там у стены, сквозь флаги и однообразие портретов.

И вот однажды мы с сестрой забрались на Казанском вокзале в поезд.

...Помню только летящий под фонарями снег, грохот сапог на крыльце — стрелки грелись, разминались, стряхивали снег, громыхали прикладами — дом свиданий, куда ночью нас привезли и оставили в комнате. И сразу, тогда же ночью, к нам прибежала моя тетка — сестра отца, Софья.

Ее взяли через год после отца, вслед за мужем — крупным работником наркомлеса, кажется, он был начальником главка. Спокойный, красивый, голубоглазый блондин из латышских евреев, хлебнувший с моей тетей горя. Она была своеобразным женским вариантом отца — человек одаренный, энергичный, острый, ставшая фигурой в медицинском мире Москвы благодаря партийному билету и кожаной куртке. Но она была к тому же действительно отличным врачом, а здесь, в лагере, судьба подарила ей неограниченную практику и "материал" для совершенствования. Даже элементарные способности, смелость и сметка открывали возможности спокойного существования в системе

наших лагерей. Но у тетки были способности не элементарные, а, скажем так — более чем средние. И не смелость была, а скорее наглость, понимание безнаказанности; и не просто сметка, а готовность сделать все что угодно ради упрочения своего благополучия. То, что у отца скрадывалось широтой, глубоким умом, мужеством, неукротимостью натуры, высоким честолюбием — было у нее обнажено, подчинялось мелочному женскому эгоизму; неукротимость оборачивалась упрямством, честолюбие — тщеславием, целеустремленность — устремлением в достижении целей только близких. Можно представить себе, как развернулся и преуспел такой человек в лагере.

Так и было. Мама рассказывала, что порой ей неловко бывало напоминать о своей родственной принадлежности к той же семье и она отмалчивалась. А тетка, кроме того, мучила маму, считала возможным постоянно говорить, что все ее — тетки — беды и несчастья из-за маминого мужа ("как он смел, зная, что это может отразиться на мне, впутываться во что-то!.."), забывая, что прежде того, как стать маминым мужем, он был ее братом, с которым у нее были весьма близкие и родственные отношения. Но, быть может, именно тетка спасла маму: помогла в тяжелой операции, которую маме пришлось перенести в лагере; благодаря ей, маму не отправили в Печорские, Воркутинские или в Карагандинские лагеря — этапа туда мама бы не выдержала.

Тетка лечила все лагерное начальство, ее расконвоировали, поэтому она прибежала к нам, как только стало известно, что мы приехали. Мы были, естественно, счастливы. Черная, с резкими чертами лица, тогда еще молодая, как всегда энергичная, властная, она ворвалась в нашу комнатушку, как когда-то в Москве, как будто не было того, что было, хотя бы поезда, в котором мы только что ехали. Она принесла нам для передачи в Москву подарки для дочери — нашей двоюродной

сестры, помню, это были необычайно красивые вышивки, вязаные вещи — такие могут делать только в лагере. Как я теперь понимаю — гонорар за частную практику или еще за что-то.

Может быть, я не прав, что пишу так о тетке — все-таки она сестра моего отца, много пережила, а сейчас старый больной человек. Я не люблю ее, хотя когда-то этого не понимал. Но есть в этом человеке нечто, что делает мои с ней отношения больше и серьезнее просто родственных. Есть в этом характере нечто, что нуждается в серьезном и глубоком анализе, что воплощает худшее из того, что принесла нам революция, выблевав из себя такую структуру самодовольного коммунистического барства. Они так ничего и не поняли, вернувшись в Москву из лагерей. Случившееся стало для них трагедией только потому, что коснулось их лично, а при другой — теоретически вполне допустимой — ситуации они могли бы сажать за колючую проволоку тех, кто сделал это с ними, и тогда все было бы "правильно". Наверно, мне придется еще вернуться к этому разговору, он стал для нас особенно важным значительно позже, а тогда, разумеется, не возникал. Скажу только, возвращаясь к теме права и произвола, о которой уже шла речь, что разговор о праве всегда был бы для моей тетки ересью, "либеральной", "буржуазной" — абстрактной болтовней, потому что предполагал нормальное демократическое развитие общества, в котором судят по делам, а не по заслугам и занимаемому положению, тогда как произвол имеющих право вполне отвечал воспитанному в ней "идеальному" представлению о том, как должно быть, при единственном условии — что она имеет право на произвол. Сталинский лагерь был той совершенной конструкцией, попав в которую люди проявлялись моментально и стоили ровно столько, сколько стоили.

Утром мы с сестрой отправились в столовую для вольных — завтракать. Была абсолютная тишина, сверкал

глубокий пушистый снег, деревянный мостик через глубокий овраг (или река?), дремучий лес стеной — какая-то сказка. Но я ничего толком не успел рассмотреть.

Мы прошли мимо ворот, смотреть было неловко, не зоопарк же.

В тишине особенно звонким и неожиданным услышался крик: "Светик!" — кричала женщина, прижавшись с той стороны к забору. Я не сразу узнал ее. "Светик!" — кричала другая с мучительно знакомым голосом. Женщины, стоявшие у ворот, побежали вслед за нами с той стороны, и мне показалось — они все зовут меня, что-то кричат, чего я просто не могу расслышать и от волнения понять.

Я узнал свою еще одну, двоюродную, тетку Геню, Ядвигу Михайловну Дик — нашу соседку по Третьему Дому Советов, Валерию Львовну Стэн. Мамы среди них не было.

"Идочка!" — раздался какой-то еще новый голос. И моя близорукая сестра, особенно не раздумывая, бросилась к забору по девственной пушистой целине — прямо по "бровке".

Тогда стрелок на вышке, наверно, уже давно матюгавшийся и потерявший терпение, выстрелил в воздух, и, как по крику первого петуха в деревне, что-то закричали и принялись стрелять на всех остальных вышках.

Женщины тоже закричали, отхлынули обратно, а мы пошли своей дорогой.

Где-то там, среди них, была и Татьяна Петровна, которую я тогда не знал, совсем молодая в ту пору, так много сделавшая для меня потом, читая первой все, что мне удалось написать. Вот и теперь эту книгу Татьяна Петровна читает первой. Первое чтение всегда особенно важно, и я всегда думаю об этом дорогом мне читателе и ее отношении к тому, что перепечатывается.*

* Татьяна Петровна умерла, я могу рассказать о ней. Мы познакомились в самом начале моей литературной жизни в 1955

Мама вышла из ворот как раз в тот момент, когда мы возвращались из столовой. Просто ворота со скрипом раскрылись и вышла мама — такая же, какой я ее видел в Архангельске, той последней нашей ночью: маленькая, в отцовской оленьей дохе, казавшаяся от нее круглой, только бледная она была, несмотря на мороз.

А за ней шел стрелок с большой винтовкой.

И так это было неправдоподобно: моя маленькая мама в детских черных валенках (я сразу вспомнил: эти валенки были в последней посылке, которую я отправлял в Москве на почтамте), неловкая от дохи явно с чужого плеча — и огромный солдат в ладном полушубке, с боевой винтовкой, предназначенной на всякий случай против моей мамы.

Потом все мы вчетвером — с этим стрелком — сидели в теплой комнате. Мама смеялась, что-то говорила,

году — мне нужна была постоянная машинистка; уже не помню, кто привел меня к ней в Кривоколенный переулок, в полуподвал. Надо было войти в арку, пройти несколько шагов загаженным двором-колодезем, открыть дверь в коридор — весной его заливала вода, и прямо в большую комнату с высоким потолком, в два окна, заставленные горшками с буйной растительностью — прохожие непременно останавливались в переулке перед этими окнами. Т. П. жила в двухкомнатной квартире вместе с младшей сестрой, в комнате Т. П. — сын, невестка, двое детей. Комната загромождена старой рухлядью, пыльными книгами, на стенах олены головы и японские маски. Т. П. — высокая, худая, с испытанным бледным лицом и большими, нежными, беззащитными глазами. Она была женой нашего дипломата, ездила за границу, побывала в Японии; ее арестовали совсем молодой вместе с мужем, и она отбухала восемь лет в Мордовских лагерях. Как машинистка, она никуда не годилась, печатала двумя пальцами, а когда сломала левую руку, сын соорудил ей петлю, и она ногой нажимала заглавную букву. Кроме того, заливала, и я часто впадал в отчаяние — всегда бывало срочно, в редакциях приходили в бешенство. В квартире одновременно жили пять-десять котов, они прыгали, как белки, по столам, полкам и стульям, дух был такой густой, что, прежде чем открыть дверь, я набирал полную грудь воздуха и старался выдыхать помедленнее. А потом привык. Она печатала мне лет пятнадцать, бывало, приходил к ней каждый день — она хорошо разбирала почерк, печатала все подряд — от двухстраничной рецензии до больших книг.

блестела глазами, и тут меня взяло за горло, когда я увидел, как она выскребывала ложкой котелок гречневой каши с гуляшом, который мы принесли только что с собой из вольной столовой.

Мама поймала мой взгляд и смутилась. "Вкусно", — сказала она, останавливаясь. "Что ты! — закричал я. — Я не буду смотреть, ты ешь, ешь!"

Моя мама, едва расстегнув доху, держала на коленях металлический котелок и скребла большой ложкой какой-то поганый столовский гуляш!

Потом приходила наша тетка, потом маму уводили в зону, потом приводили снова. Я не помню ни одного слова из того, о чем мы говорили эти два дня, хотя мы только и делали что разговаривали. Зато запомнил на всю жизнь, как мы расставались.

Уже смеркалось, снег был синий и на вахте зажгли фонари. Мы провожали маму до зоны.

Я не мог с ней расстаться, хотя не так трудно было найти в Москве машинистку более удобную в разных отношениях. Мы говорили обо всем на свете, я таскал ей новые книги и рукописи, она любила меня, ей было интересно все, что я делаю. Моя привязанность определилась в первый же месяц нашего знакомства: я принес ей заметку на три-пять страниц, написанную для АПН — обыкновенная халтура. Она перепечатала при мне, вытащила последнюю страницу, посмотрела на меня и сказала: "По-моему, это стыдно, Феликс". Я выбросил заметку и больше никогда не был в АПН.

Она была человеком поразительно чистым, бескорыстным, с неиссякаемым интересом к жизни при полном отсутствии интереса даже не к устройству благополучия, но просто к быту. И это при бесконечных несчастьях и бедах, сваливавшихся на нее и ее близких. Я ни разу не слышал, чтобы она на что-то пожаловалась или о чем-то просила.

Я расстался с ней, когда купил машинку, перестал печататься в журналах и переехал жить за город. Все реже захаживал, хотя мне передавали, что она звонит. Потом она звонить перестала. Когда я к ней выбрался — дом стоял на капитальном ремонте, жильцов выселили, я не сразу удосужился узнать новый адрес. Прошел год — в адресном столе мне сообщили, что она умерла, я высчитал — как только переехала в новое жилье. (Примечание 1981 г.).

И вот здесь, перед воротами, которые раскрылись и сейчас должны были за мамой закрыться, я вдруг пронзительно, впервые в жизни понял, что ничего нельзя сделать, чтобы это предотвратить, что никто не может ничего сделать. Даже моя сестра, которую я до тех пор почему-то считал всемогущей, — так ей всегда, как мне казалось, все удается.

Помнится, я не плакал и не цеплялся за маму. Я просто совершенно отчетливо — как-то не по-детски — понял бессмысленность какой бы то ни было мольбы или протеста, здесь, перед затиснутой в колючую проволоку зоной, перед стрелками с винтовками и воротами, в которые мама войдет и там останется. Этот момент, родившееся тогда ощущение очень существенны и многое потом определили.

Мама, мне кажется, поняла меня. Она нежно шутила и бодро улыбалась нам в синих сумерках уже оттуда.

Потом мы ушли. Потом был тот же, громяющий, как пустая жестянка, поезд до Потьмы. И наконец — Москва, мои тетки, пионерские песни, от которых звенело в ушах: "Эх, хорошо в стране советской жить!.."

ДО САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКИ

Мы распрощались с Виктором в суматохе, жаре, сутолоке — каким могло быть прощание между подростками: "Ну, пока..." Наш пароход подогнали вплотную к другому, стоявшему впритык к пристани, мы кое-как выволокли вещи из огромного трюма, надо было их разыскать в скопище узлов и чемоданов, разделить наше с Виктором, а перед тем внушить начальнице и нашей воспитательнице, почему я должен остаться в Горьком, что это моя сестра, самый близкий мне на свете человек, а потому забирает с собой. Понять это было, видимо, нелегко, сестра долго втолковывала, доказывала, писала расписки: берет меня, я сам этого хочу и никому не смогу предъявить потом каких бы то ни было претензий, что бы со мной ни случилось.

Был самый конец июля сорок первого года, последние его дни. Пароход с эвакуированными детишками пришлепал в Горький из Москвы по каналу — старой системе по Оке через Рязань — и держал путь в Чебоксары. Мы ехали вдвоем с двоюродным братом, прожили почти четыре года вместе в квартире у теток, но между нами никогда не было близости, очень мы были разными, хотя чуть ли не ровесники — он на полтора года постарше. Он уже тогда был замкнутый, целеустремленный, педантичный, с недоверием относящийся к проявлениям чувств, всему, что хоть как-то выбивалось из колеи привычных представлений о жизни. Так было в наши детские годы — десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет, когда мы видались изредка — раз в год

или два. Тогда, в сорок первом, он поступил в военно-морскую спецшколу. Это был шаг продуманный, вынашиваемый много лет. Мы вместе читали Джека Лондона, Грина и Стивенсона, но для меня морские мечтания оставались болтовней, а для него стали целью: он собирал всякого рода специальные морские книжки, летом сорок первого прошел медкомиссию и осенью, в октябре, в самые страшные в Москве дни, когда все удирали, уехал из Чебоксар в Москву; кончил спецшколу, а потом высшее военно-морское училище. Он служил на Северном флоте, на Каспии, в Ленинграде, Таллине и Калининграде, лет семь назад демобилизовался, вернулся в Москву, где-то работал, кончал еще один технический вуз, чтобы получить гражданский диплом, и умер два года назад, накануне защиты, переработавшись, переутомившись: ехал к товарищу доделывать дипломные чертежи, по дороге в метро ему стало плохо, но он себя пересилил — слабость он презирал, не вернулся, поднялся на восьмой этаж без лифта, позвонил и упал.

Это был, надо думать, не такой простой случай. Я вспоминаю наши взрослые случайные встречи, разговоры, всегда не слишком приятные — его постоянно раздражала моя, как ему казалось, незапрограммированность, излишняя, по его мнению, свобода моих передвижений, неподотчетность, а отсюда несобранность в мыслях, критиканство, недовольство на почве незнания жизни, ее реальных трудностей и проч. Он был искренен в своем раздражении, не давал себе права задумываться о том, что сам видел и понимал, но, услышав то же самое от меня, неизменно начинал сердиться, отстаивал точку зрения противоположную, быть может, чуждую ему самому: "Что-то там не так? Значит, именно так и надо". Было в такого рода отношении к жизни нечто провинциально-раздраженное, жалким казался его мнимый роман с властью предрержащими, всегдашняя готовность согласиться с любыми высшими соображениями, тем

более что он, Витя, демобилизованный морской офицер, в этих соображениях не только никак не учитывался, он не был нужен. Догадывался ли он об этом? Не знаю, может быть, не считал нужным на эти темы откровенничать со мной из соображений воспитательных, а может быть и не хотел додумывать до конца. Как бы то ни было, но такая все оправдывающая лояльность субъективно искреннего, честного перед собой человека может стать в определенный момент опасной, способной на что угодно силой, в первую очередь безнравственной. Общественное лицемерие предоставляет человеку, так сказать, принципиально лояльному, огромные возможности самооправдания — он в каждый конкретный момент прав, честен, он это не для себя, для общего блага, а если кто-то при этом пострадал — поделом, надо жить, как все, — что ты, лучше других, почему они молчат, а тебе, видишь ли, все время чего-то не хватает, откуда ты можешь знать, какие там соображения, что известно им? Раз это делается, значит так надо. Слишком просто все опорочить...

Тот ли это случай? Не уверен, тут характер, да и долгая военная служба наложила печать. Но мне всегда бывало тягостно с ним разговаривать. Контакты душевные были утеряны, он топорщился, обострял, ни за что не шел навстречу: вот он такой — работающий, честный, способный на самоотверженность, живет трудно или хорошо — как все. А у меня все не так: действительно, вроде бы легче, свободнее, веселее. И беда моя не такая — без тягостной ежедневной беспросветности. Впрочем, это я думаю за него, а что я знал про его беду? Словно бы нормальная жизнь, служба, офицерство, семья, квартира, снова учеба, впереди работа по специальности... Но какая-то скучная тяжесть была в этом вымученном благополучии, видимой прочности и оправдании всего происходящего, хотя мог ли я знать со стороны, что стоило ему такое нормальное благополучие — и служба, и офицерство, и семья, и квартира, и

опять учеба, и, наконец, лояльность... Наверно, не было случайности в том, что и как произошло с ним.

Но это потом, двадцать лет спустя. А тогда он стоял на палубе, в шуме и суете, с хохолком на макушке, с торчащими ушами и носом в веснушках. Ему было одиноко — я уходил с сестрой в неведомую жизнь, он чувствовал в этом явный непорядок: сказано было — плыть из Москвы в Чебоксары вместе, почему это вдруг поломалось? Я торопился уйти и, хоть щемило, понимал — наконец, прямо сейчас расстанусь с чужим мне благопристойным миром теток, в котором все расплачено раз и навсегда, катилось по рельсам, колея одна — не заблудишься. Виктор был последней стоянкой на этой колее.

Мы с сестрой перетасили вещи на пристань, сдали в камеру хранения и оказались в Горьком.

Я смутно помню город — через неделю мы уехали, а эти дни собирались, ночевали по разным домам, в студенческом общежитии, еще где-то. Был конец июля, первые дни августа. Горький был взбудоражен, начинались бомбежки, поток эвакуированных прокатывался через город и, взяв штурмом поезда, катил дальше на восток; на запад шли поезда с мобилизованными; в университете, где мы с сестрой все время торчали, было пусто, гулял сквознячок, сестра и ее подружки отоваривали продовольственные карточки, мне это было в новинку, а они привыкли, в Горьком, или, как все там говорили, — в Нижнем, всегда с продуктами было худо, очереди даже за хлебом. И все были подружки, подружки, меня они уже стеснялись, а сестра хотела устроить меня в своей комнате в общежитии; и разговоры про ребят — они все уже на фронте.

Сестра еще до войны получила направление на Алтай, в степные районы, в сельскую школу, для нее пока ничего не изменилось, она все равно должна была туда ехать, но как раз в июне начались госэкзамены, их она уже не сдала, провалила — не до того: была влюблена, быть

может, впервые, он уходил на фронт, она тоже писала заявления, ее не брали — какие там госэкзамены!

Я помню, поезд шел мостом через Волгу, все смотрели в окна, прощались, все-таки они оставляли здесь целую жизнь, юность, дальше неизвестно что, несчастье вокруг приобретало характер катастрофы. Но я этого не понимал, просто пока что моя жизнь стала совсем иной, вокруг замелькали люди, их имена я не успевал запоминать, но входил в самые разные, а порой и непростые, близкие отношения, и само это разнообразие казалось поразительным.

У Толстого в "Отрочестве" есть рассуждение о том, что такого рода "отроческое прозрение" наступает однажды, вдруг. Так вот Николеньке Иртеневу во время "поездки на долгих" пришла в голову ясная мысль, что не только его семейство живет на свете, что не все интересы множества людей вертятся вокруг него и его близких — существует другая жизнь людей, не имеющих о них ни малейшего представления. Он глядит из экипажа на деревни и города, мимо которых они проезжают: мужики, бабы, лавочники, детишки, они не только им — проезжающим — не кланяются, но на них даже не смотрят. И он думает: что же их может занимать, если они о нас и не думают? Толстой утверждает, что хоть он, без сомнения, и прежде все это знал, но не сознавал, не чувствовал.

Тогда в Горьком, а потом в поезде в Сибирь, со мной произошло нечто похожее или попросту — то же самое. Я тоже прекрасно знал к тому времени, что, помимо нас, у людей, мне встречавшихся, своя жизнь и заботы, но, видимо, знал, не сознавая, не чувствуя. А это не одно и то же.

Это великое человеческое разнообразие, особенность каждой жизни поражали меня еще очень долго, и, помню, много лет спустя, когда я работал в газете, на Сахалине, конкретно сталкиваясь со всякого рода разнообразием — источником, так сказать,

недисциплинированности и различных отклонений от нормы, оно меня на первых порах ставило в тупик. Казалось странным, что люди хитрят, друг друга обманывают и вообще имеют собственный интерес. Насколько проще было бы иметь дело с чем-то однородным, хотя бы в отношении к своему делу! Странное это было укоренившееся, наивно-романтическое представление о человеческом примитиве, как одной из важнейших добродетелей...

А поезд наш катил себе на восток. Были бесконечные пересадки — в Перми, Кирове, Свердловске и Новосибирске. Дикая толчея и свалка на вокзалах, удачное компостирование билетов, как выигранное сражение, отоваривание карточек — как еще более осязаемая победа; множество узлов и чемоданов, которые мы перетаскивали с места на место, постепенно передвигаясь к цели, и караулили (мы ехали вместе с однокурсницей сестры, направленной в те же края, и их приятелем, по близорукости не взятым на фронт). Но какая-то была воля, далеко стучал по опостылевшей мне колее благополучный поезд моих теток, о которых я, правда, иногда вспоминал с печалью, но только в пору большого недоедания.

Помню Барнаул — странный, пустой и тихий город на холмах, спустившихся к Оби, где сестра с подружкой получали направление в район, мы доели там последние деньги, потом сестра потеряла все документы, и когда мы дошли до последнего обнищания, Верочка вытаскала припрятанные ею на такой случай сто рублей (те еще деньги), и мы насыщались арбузами — их продавали без всякого ограничения.

Потом поезд до Алейска, и дальше машины, лошади — километров сто, полтора — Мамонтовский район: степь, леса, озера — невесть куда.

Я прожил в этих краях всего лишь год: осень, зиму, весну и лето. Но как-то хорошо и полно прожил. Не по быту и укладу, все как раз было несладко, я впервые

хлебнул такого неустройства и, в конце концов не справившись с ним, чуть было и вовсе не пропал — время было тяжелое. Но душа моя была открыта, не защищена, и страна, которую я любил, не зная ее совсем, открылась мне такой же незащищенной и словно доверилась. В ту пору нам не было нужды тягаться и считаться: мне напоминать про свои обиды, а ей ставить меня на место. Слишком тяжело всем пришлось — не до счетов. Я просто жил — сначала в маленькой деревушке, селе Костин Лог, у самого леса, а потом в селе побольше, степном — Суслове, на одной, на другой, на третьей квартире, и та самая, книжная, вымученная любовь к родине, к России обернулась чувством простым, но уже неразъединимым.

Это были особенные деревни: тихие и пустынные — без мужиков, только бабы, старики да мальчишки-подростки вроде меня. Остались рассказы про мужиков — как бывало прежде, живые сюжеты, я мог их додумывать самостоятельно. Тем более, в каждой избе, где мне приходилось бывать, хозяин словно бы присутствовал, оставался: дома были разными, непохожими — и дворы, и весь уклад, не надо было большой проницательности, чтоб представить себе, побывав в доме, каким был его хозяин.

А избы, на первый взгляд, словно бы одинаковые: темные сени с кладовкой в глубине, в первой половине печь с лежанкой, в пол-избы — от двери слева, справа у стены кровать, застеленная, с подушками, два оконца, стол между ними, полати, дверь в чистую комнату — горницу: светлую, в четыре окошка, с большой пышной кроватью, хрупким столиком и такими же стульями.

Мы снимали горницу, но я помню, что только спал в ней, да и то скорее знаю, чем помню — вся жизнь проходила в первой избе, на печи или на лавке возле открытого, пышущего жаром печного зева, куда рогачом задвигали чугуны, вынимали хлеб; или во дворе и на улице.

Помню запах лежанки, шуршащей подсолнухами, жар ее под голыми пятками и какой-то особый обзор сверху на все, что происходит в избе. Помню вкус колодезной воды из кадушки у двери на некрашенной лавке, и то, как ребятишки бесконечно прыгали с печи и гремели железным ковшом, утоляя жажду; сумрак, который всегда был здесь — в маленькие оконца и летом свет едва проникал, а зимой, когда они замерзали да заваливало снегом чуть не до крыши, так что откапывались, и темнело чуть ли не в три часа дня... Но какой-то покой шел от этих сумерек и тихо становилось на душе. Правда, на полати, где ребятишки спали с особым удовольствием, я не любил даже забираться: давило, было страшно, я задыхался не от духоты и густого запаха старых овчин и пыльных тряпок, а от черного потолка, напозавшего на меня, так что хотелось кричать от ужаса.

Молодые хозяйки меня любили, был я, видимо, покладист, старателен, готов помочь, и все мне было в новинку — сбегать за водой или наколоть дров, радовался, что получается, на морозе звенят разлетающиеся полешки — могу не хуже других.

Помню, особенно трудно давалась мне наука запрягать, требующая понимания, долго казалась необязательной сложившаяся от века очередность упряжки: лошадь у меня свободно выходила из оглобель, стоило выехать за ворота, я с позором ее заворачивал, прилаживал все сначала, не получалось, пока наконец не появлялась какая-нибудь бабка, добродушно ругала меня и перепрягала заново. Помню, несколько раз лошадь распрягалась у меня в дороге, в степи, зимой, ременные гужи смерзались, я не мог распутать мною же накрученные узлы, впадал в отчаяние — просто не знал, что делать, чтобы как-то приладить всю эту хитроумную, как мне тогда казалось, систему.

В школьной конюшне, в Суслове, были две лошади: немолодая пегая кобыла — ленивая и злая, и крепкий

рыжий меринок с белым пятном на лбу — игрун и задира. Обе лошади, каждая по-своему, делали со мной все, что взбредало им в голову, я не однажды плакал потихоньку — было стыдно смотреть, как лихо управляют с этими чудовищами маленькие мальчишки и девчонки.

Но случалось, мне везло: кто-нибудь хорошо запрягал, мне оставалось сидеть да покрикивать, дорога попадалась ровная, сани или кошевка не переворачивались, ночью я удачно путал лошадям ноги, они никуда не убегали, хрустели травой, я дремал, переползая за ними — и бывал счастлив. Но это редко — от случая к случаю, только однажды я целый месяц замещал конюха — его взяли в армию, и сестра пристроила меня, чтоб не болтался. Но это уже летом, значит, за моими плечами к тому времени был чуть ли не год тамошней жизни и я попривык. Хотя именно тогда случилась беда, после которой меня к лошадям уже не подпускали. Я пас двух школьных лошадей ночью, благополучно спутал их, сидел себе возле костерка, слушал, как мои лошади хрустят травой и фыркают, поглядывал на звезды, о чем-то смутно размышлял, наверно, очень собой гордился и не заметил, как заснул. А проснувшись еще в темноте, разыскать лошадей не смог. Я понимал, что дело мое плохо, но деваться было некуда, я побрел домой и в тишине спящего еще села, в самом его центре, услышал крики и брань: мои лошади мирно паслись всю ночь в огороде председателя сельского совета, где его жена их и обнаружила.

Костин Лог — первая наша деревушка, была совсем тихой и какой-то особенно душевной. Всего и было там две параллельные улицы, вытянувшиеся вдоль поросшего лесом бугра. И лес — настоящий, заваленный сушняком, обступал сразу, стоило подняться на бугор.

Мы жили на квартире у молодой солдатки, наверно, и тридцати лет ей не было — маленький мальчишка еще

не ходил в школу, да древняя бабка. Хозяйка давала нам по стакану молока три раза в день и картошки сколько съедим. В ту пору я стал про еду понимать, ждал молока, каждый раз пил свой стакан по-разному: медленно, закусывая хлебом, или мочил хлеб в молоке, или крошил его в чашку, или выпивал залпом, чтоб почувствовать холодную вязкую вкусноту. Помню еще одну замечательную еду: в Костином Логе я впервые в жизни попал на бахчу — убирали колхозные арбузы: выедали только прохладную кроваво-красную середину с домашним пшеничным хлебом.

Был август, занятия еще на начались, подкапывали картошку, заготавливали дрова, и тут, в чистом, крепко пахнувшем смолистым деревом дворе я научился колоть дрова, сначала удивляясь, почему у меня, никогда прежде не бравшего в руки топор, они раскалываются, топор звенит, растет поленница, и молодая хозяйка, незаметно от бабки, подливает мне еще молока в чашку.

Наша изба стояла во втором порядке от бугра, но до леса все равно рукой подать. Я вышел как-то за ворота, был вечер, солнце цеплялось за макушки деревьев, золотило крыши изб напротив, и тут через дорогу, чуть поодаль, за ближней избой, возле маленькой баньки, я увидел нашу молодую хозяйку. Она только что вышла из баньки, может, не хватило воды — колодец был рядом, а может, подышать, а то и просто увидела меня в оконце. Она вышла в чем мать родила и медленно, лениво прошла несколько шагов к колодцу, поставила ведро на землю и, закинув за голову руки, потянулась всем телом. Я стоял, открыв рот, посреди улицы, ничего не понимая, не в силах отвернуться, хотя вся моя врожденная интеллигентность требовала, чтоб я немедленно пошел прочь. Я и пошел прочь. Но она стояла у меня перед глазами, стоит и до сих пор — в прозрачном, холодном уже сентябрьском воздухе, облитая желтым закатным светом, высокая, стройная, в полноту, с густыми, чуть

не до колен, распущенными русыми волосами, которые она спокойно, лениво принялась расчесывать, и улыбалась, поглядывая на меня.

Было это, видимо, перед самым нашим отъездом, а в октябре мы находились уже в другом — большом селе Суслове, где прожили чуть не целый год.

Мне важно здесь, в рассказе о недолгой жизни в деревне, передать прочувствованное мною и необычайно мне дорогое ощущение причастности и любви к стране, в которой я жил и родился. Это очень важный момент, но область особо тонкая, и я прошу моих читателей не делать поспешных умозаключений, пока они не познакомятся со всей книгой.

Конфликт, поломавший мою жизнь в самом ее начале, был конфликтом не со страной, даже не с государством. В конце концов я уже отдавал себе отчет в том, что дикарские пляски сверстников и соучеников вокруг меня и трагедии моих родителей никогда не были проявлением злобы ко мне лично — это всего лишь возможность выплеснуть детскую энергию, противопоставив ее школьной дисциплине и скуке обязательного. Здесь не было поддерживаемой сверху, направляемой злобы. Даже с лучшим моим приятелем я не перестал дружить после его "предательства", о котором рассказывал, поступок его не был предательством: болтовня, хвастовство — не больше. Все мои обиды, для меня в ту пору вполне конкретные, напоминающие о моей гражданской неполноценности, сложившиеся постепенно в своеобразный социально-психический комплекс, отсутствие всякого правосознания — были от столкновения не с людьми, а с учреждениями, креслами, пиджаками с мандатом в кармане. Я это знал, понимал уже в детстве, а поэтому робел, потел и заикался, попав, наконец, после долгого стояния и высиживания перед дверью к очередному начальнику, от которого именно сегодня зависел

непосредственно и конкретно. От людей, с которыми я так или иначе встречался по жизни, я покуда никаких обид не терпел, напротив, меня всегда жалели и понимали, старались помочь чем могли, и часто меня, сорванного к тому времени с корня, перекатывавшего под любимым ветром, а потому ценившего крохи доброты, не всегда на такое способного, поражала прежде всего легкость, а вернее сказать, естественность доброты, с которой я сталкивался. Я говорю не о широте натуры, способной отдать все, что есть, просто так — в запале жеста, и даже не о христианской доброте, знающей, что человек должен делиться всем, что у него есть, с первым встречным-поперечным, но о доброте материнской, которая неисчерпаема — ее исчерпать невозможно, ей нет конца.

Стояли в двадцати-тридцати километрах друг от друга деревни, называемые здесь величаво селами. Между ними голая степь без конца и края, катались колючие шары перекасти-поле, свистела метель. Жили здесь переселенцы из Тамбовщины, из областей Курской, Орловской, Тульской — из центральной России, перебравшиеся за полвека до того. Чего только они за эти годы не нахлебались, чего только не видали. А теперь, когда чего отдать — боле нечего, позабিরали всех до одного мужиков в армию, на войну, выполнять мудрый сталинский стратегический маневр. Но все эти бабы — молодые, пожилые и совсем древние бабки, у которых тоже ведь, как и у меня, ничего не было: и могилы где-то в России, и земли своей только огород с картошкой, и скотины — по одной коровенке, а лошадей давно никаких, да и впереди немного — не вернется мужик, кому она понадобится с детишками, высохшая да измученная? — все они с такой естественной добротой жалели меня, так просто вытаскивали рогачом из печи чугуны с похлебкой или кашей, наливали молока в чашку или отрезали ломоть хлеба, будто чугунов таких у них полна печь, коровы кричат недоенные, а мешками муки забита кладовая. Но

я знал, что чаще всего — чугуны один на всех, коровенка тощая, еле доится, а муку осторожно вытряхивают из давно пустого мешка, мешают с отрубями...

В Суслове нас ждала неожиданная встреча, на первых порах она даже оттолкнула от мира, о любви к которому я пишу так настойчиво и косноязычно, потому что боюсь слов и пытаюсь выразиться точнее.

Мы приехали в Суслово вечером, поздно, чуть не целый день тарахтела телега от Костина Лога, выгрузили узлы и чемоданы возле школы, а куда идти — не знали. Сестра отправилась к директору, а потом прибежала за мной. Это было именно неожиданно: на десятки верст леса и степи, похожие друг на друга деревеньки, темные избы с чадящими коптилками, тихий бабий разговор о жизни, детишках, минувшем лете, предстоящей зиме, о том еще мирном времени и о нынешней страшной войне... А тут — светлый просторный дом, вместо громоздкой печи — легкая голландка, яркая лампа — керосин, стекло не жалко — казенные! Стол под белой скатертью, какая-то уже позабытая пища, обед на двух тарелках, прибор, компот в чашке!.. И хозяин — высокий, жилистый, в очках, чернявый мальчик — человек странный, ироничный, его мать — молодящаяся кокетливая дама, и младшая ее дочка — девочка на два года меня помладше, с порочными глазками и голыми коленками... Было от чего обалдеть!..

А за окном уже темно, ночь, чужая, дикая деревня, а мы здесь, как на острове, и разговор легкий, шуточный, слова легкие, привычные — их много не надо — все и так понятно, с намека, улыбки...

Так мы и остались в этом доме, у директора ("интеллигентные люди должны быть рядом, поддерживать друг друга", — это их мать так сформулировала; "к тому же, — добавила она — общее хозяйство значительно экономичнее..."), как-то разместились, и поначалу продолжалось это странное ликование.

Это действительно была странная семья. Каждый вечер они засиживались с сестрой допоздна, я засыпал не сразу и из отрывочных тихих разговоров кое-что запомнил. Помню рассказ директора о его горемычной судьбе. Жили они в Днепропетровске, отца посадили, потом сына, было ему тогда лет шестнадцать; сидел в переполненной тюрьме, летом страшная жара, буянил — били, привязывали веревками; он бежал, перелез стену, отсиживался от собак в болоте, шел ночью лесами и пришел в Москву. На Лубянку. Его посадили снова, но кого-то проняло — выпустили.

Не знаю, много ли было в этом рассказе правды — сначала сестра рассказывала свою историю, а потом хозяева к ней приноравливались, но не поразить мое воображение такой рассказ, разумеется, не мог. Как его, если все было правдой, тем не менее назначили директором школы — не знаю, кажется, у него и диплома никакого не было, но в школе у этого двадцатилетнего мальчишки дисциплина была прямо палочная: ребята его смертельно боялись, учителя тоже, он умел нагонять страх, в гневе бывал ужасен, и скоро в район на него, а заодно и на сестру, полетели жалобы и доносы. Верно, была неловкость: директор и завуч живут в одной квартире, допоздна торчат в школе, а то и ночью задерживаются, тиранят учителей...

Сестра преподавала математику, физику, ботанику, историю, что-то еще. Математику и физику я с тех пор никогда не знал, тянул кое-как до десятого класса — все-таки это был седьмой класс, программа большая, а для меня она пролетела в одних психологических переживаниях.

Помню, мы сидели в больших, холодных классах, жались возле огромных печей — натопить холодное гулкое здание было мудрено, ребята приходили издалека, из соседних хуторов, разматывали платки, а шубейки не снимали. После уроков я часто ходил к кому-нибудь из одноклассников, грыз на печи подсолнухи, хлебал

вместе с ними похлебку: странно и неловко перед собой было уходить в директорский дом, чинно сидеть за столом, покрытым скатертью, ждать обеда. Да и то, что живу вместе с грозным, чаще несправедливым директором, меня, конечно, угнетало. Сестре это тоже стало в тягость. К тому же меня в этом доме не любили, я был лишним, мешал каким-то далеко идущим планам наших хозяев. Пока что мы проживали наши вещи, и, когда месяца через два-три от них все-таки съехали, помогать нам перетаскиваться не было никакой необходимости.

Все это не так интересно и важно. Я вспомнил о нашей случайной остановке лишь для того, чтобы сказать о прочувствованном уже тогда различии между жизнью истинной и ненастоящей — придуманной, о подсознательном отталкивании от видимой значительности, суетливости, хвастающей дешевым блеском. Процесс этот, сложный, мучительный, разумеется, во мне тогда не мог закончиться, я чувствовал этот разлад в себе еще много лет спустя. Но важно, что я уже стыдился такого, а директорский дом давал предостаточно материала для воспитания в себе чувства этого стыда.

И мы съехали с квартиры. Сестра, кроме всего, пожалела меня, очень они меня третировали, "интеллигентно" не замечая, а девчонка, напротив, проявляла интерес повышенный, придумывала игры в темных углах. Мне так легко вздохнулось, когда мы очутились в очередной избе с жаркой лежанкой и душными полатями, четыремь мал-мала меньше ребятишками, обязательной древней глуховатой бабкой и ягнятами в жилой избе. Я ни разу не пожалел о белой скатерти и изысканной пище на двух тарелках, хотя есть хотел уже постоянно.

По сути, нет никакого сюжета в моих воспоминаниях о деревне, даже сюжета внутреннего, но есть впечатления, расставляемые, как подпорки, на которых и покоилось все несуразное здание моего тогдашнего мироощущения. Таких впечатлений множество, и о некоторых из них я расскажу.

Чаще всего ранним воскресным утром, вдвоем с товарищем, мы отправлялись в районное село Мамонтово — на базар. Ни за чем, а просто так, как городские ребята ходят в музей или на каток. Иногда мы уходили вечером, чтоб, переночевав, оказаться на базаре пораньше.

Мамонтово от нас километров двенадцать-пятнадцать. Идти надо сначала степью километра три-четыре, потом лесом. Я знал эту дорогу, привык к ней, редко-редко можно было встретить попутную лошадь, чаще всего так и топали пешком, но зачем-то и меня тянуло — хотел проникнуться интересом к этому, впрочем, совершенно бессмысленному хождению по базару.

В тех случаях, когда мы приходили вечером, останавливались у своих: прямо за озером, на окраине Мамонтова, стояла большая изба дальних родственников моего дружка. Никто не удивлялся, что мы пришли: "На базар? Ну и ладно..." Усаживали за стол, ставили посреди миску, мне сначала наливали отдельно, чего я всегда стыдился. Хлебали забеленную молоком похлебку с картошкой и укладывались прямо на полу между столом и печью, на рядне, и таким же домотканым цветным рядном укрывались. Мы спали рядом с моим дружком, дальше хозяйские детишки, еще какие-то свои из других деревень, тоже прибывшие на воскресный базар.

А утром, чуть свет, сполоснувшись под рукоймишкой, выходили на звеневшую от мороза улицу, но после избы еще долго не мерзли.

Долгая-долгая улица тянулась сначала вдоль озера, потом становилась центром, где райком и другие учреждения, неподалеку и базар. Мой дружок ходил от воза к возу, прицелялся, встречал своих и приятелей, у них был какой-то не доходивший до меня разговор, я таскался за ним, быстро замерзал, мне становилось скучно, хотя жизнь здесь кипела, но ничего словно бы не продавалось — кому покупать, это потом повалили эвакуированные.

Лошади дышали теплым паром, все весело перекрикивались, лузгали семечки и тут же на морозе закусывали.

Потом мы шли обратно. Иногда везло, кто-нибудь нас подвозил попутно, другой раз не везло: заходили по дороге к своим, грелись похлебкой, набирались тепла на весь обратный путь.

Путешествие это не всегда бывало так благополучно. А однажды закончилось для меня прямо трагически. Только-только началась зима — да просто дело было под праздник, в начале ноября, выпал первый снег, чуть подмерзло, и где-то в центре Мамонтова я зашел за будку общественной уборной — очень мне показалось грязно внутри. А ее, видно, передвинули: присыпали яму, выкопали рядом новую, сооружение перенесли, а все вокруг засыпало снежком. Я и провалился: сначала по колено, потом, пытаясь выбраться, по пояс, а тянуло дальше. Не знаю, как я и выбрался; морозило, гадость на мне сразу прихватило, на счастье в селе на этот раз оказалась моя сестра, она кое-как меня отчистила, посадила в телегу, завернуть во что-то теплое было мудрено, не хотелось пачкать чужие тулупы. Так под соломой меня довезли домой — жили мы тогда еще у директора, приехали под самое празднество в школе: директору еще долго было над чем потешаться, а мне и спустя долгое время еще казалось — люди возле меня недоуменно тянут носом.

То доброе и высокое, о котором я говорил, любовь, проникавшая меня, — витала где-то вокруг. Я понял ее потом, к ней возвращаясь, а в ту зиму было мне, конечно, худо, я постепенно смерзался все больше, не имея ни среды, ни почвы для того, чтобы проявить то, что тем не менее таилось где-то в глубине моего существа. Здесь, в деревне, в лютую голодную зиму, в избах без мужиков и хлеба, никому не нужна была романтичность моего мироощущения, детский надрыв, моя душевная открытость. И я понимал свою несостоятельность, неумелость, усугубляемую присущей мне нескладностью.

Здесь нет противоречия с тем, что я только что утверждал. Да, было хорошее ко мне отношение, ответное чувство любви, столь для меня дорогое и ценное. Но каким ненужным и искусственным оказался весь мой предыдущий опыт: и Третий Дом Советов, которым я внутренне всегда так гордился, и моя трагедия с отцом, и мои пионерские злоключения, и душевные переживания. Все это слиняло и сникло — в степи, в деревне, с ее истинной вековой мукой, непостижимостью того, почему она должна страдать от того, что там, в Каретном ряду, что-то не додумали и не так повернули!..

Я приходил из школы, бросал книжки и, помню, часами стоял в нашей горнице у наполовину замерзшего оконца, бессмысленно глядя на улицу. Сестра, заставшая меня однажды в такой позиции, страшно испугалась, накричала на меня. А я просто не мог ни читать, ни делать уроков — я ничего не хотел. Умирала какая-то важная часть моего существа, не находя ни выхода, ни поддержки, а другого не было, а может, оно только рождалось, не умея проявиться.

Хотя бывали какие-то "выходы", наверно, сестрой спровоцированные, теперь они вспоминаются литературными и искусственными. Был, скажем, спор с ребятами в школе: решусь ли я пойти ночью на кладбище. Сестра очень меня в этом подвиге поддерживала, снаряжала в дорогу, я вышел из дома ночью, как и условились, после двенадцати — на лыжах, а когда выбрался за околицу — до кладбища километра два, — за селом мне стало так страшно, ветер так жутко свистел в крестах, что, добравшись кое-как до дому, я заболел, а может, совпадение — у меня была тяжкая желтуха, а там и зима кончилась.

Но были и настоящие душевные переживания. Помню впервые сердцем пережитую Пасху в голодной военной деревне: подсыхающие на солнце взгорбки, "бабки" с залитым в них свинцом, сладковатый и нежный березовый сок, серый кулич, с такой простотой отрезанный

и мне, зашедшему позвать на улицу приятеля. И тихое со стариками бабье пьянство, тихие разговоры и нисходящая на меня ото всего этого умиротворенность и щемящая до слез радость.

Помню работу в бригаде, на пашне: прыгающий в руках плуг и внезапное ощущение счастья, когда лошадь вдруг пошла ровно, отваливается жирный, нескончаемый пласт земли, впереди до кромки леса только лошадиный хвост, я один, а когда, добравшись до леса, разворачиваешься, видишь, как прибавилось пахоты; идешь обратно, и снова сквозь заливающий глаза пот только лошадиный хвост да вддали другой берег пашни. Помню работу на сенокосе: грабли, вилы, как тяжело было скирдовать, но зато давали целый трудодень, а то и полтора, значит — восемьсот граммов хлеба, давали сразу, в обед на следующий день, можно было есть его, не думая, что завтра не будет, и наплевать, что ноет, разламывается спина — думалось только о том, что скоро ужин.

Но я все равно затухал, сникал, медленно, но неостановимо проваливаясь в беспамятство: ни о чем не думал, был одинок, не мог ни с кем найти близости, стыдился себя, своей неумелости, слабости, откровенного желания наесться, а когда однажды поутру, проснувшись в бригаде пораньше, пошел умываться и снял рубашку — некуда было податься от омерзения: рубашка кишела насекомыми, они осыпали меня; говорят, это всегда признак человеческой несостоятельности — эти твари чувствуют, что человек сдался.

Сестра понимала, что мне плохо, что я пропадаю, особенно она почему-то испугалась, когда однажды, вернувшись на выходной день из бригады, я разводил в печи таганок, хозяев не было, варил кашу-затируху и тихим, наверно, обреченно-заунывным голосом сам себе напевал услышанную на пашне песню: "Устелю свои сани коврами..." "Э, братец, тебя надо немедленно убирать отсюда", — сказала сестра, и я запомнил эту ее неожиданную реакцию, хотя тогда не понял, мне казалось, я

очень лихо все проделываю: варю кашу из муки и пою старую сибирскую песню.

Каша из муки на молоке была необычайно вкусна, я мечтал о ней и, помню, мы однажды выменяли с сестрой мамино заграничное пальто на полмешка зерна. Я потащил его на мельницу, выстоял там долгую очередь, мои полмешка исчезли в мельничном чреве вместе с огромными пятипудовыми мешками, которые бабы, вызывая мою тоскливую зависть, ловко таскали с возов. Там же, в грохоте дрожавшей от сильного ветра мельницы, мне отсыпали муки, я счастливый отправился домой, хотя по дороге страдал, размышляя о том, что дали мне, конечно, муки другой, не той, что должна была бы получиться из маминого пальто.

Надо было уезжать. Я все глубже и глубже погружался, проваливался в спячку: передвигался, что-то делал, закончил школу, сдал экзамены за седьмой класс — и все в какой-то инерции, проявляя активность лишь в приготовлении пищи.

Но помню, однажды я все-таки проснулся, осознал себя, что-то вокруг увидел — прежде всего, себя самого. Сестра уехала дней на десять в район, видимо, очередной раз хлопотать о нашем отъезде. У меня были две наших хлебных карточки (значит, восемьсот граммов хлеба), молока мне хозяйка давала три стакана в день, было немного картошки. Я жил прекрасно: утром и в обед выпивал по стакану молока и съедал весь хлеб, а на ужин варил картошку и разминал ее с оставшимся стаканом молока. Голода не было, но ни о чем другом, кроме еды, я думать не мог.

И вот помню себя однажды вечером: картошка у меня кончилась, я отправился на другой конец села, нам были должны картошку за какие-то тряпки. Идти надо было оврагом, наверху, на завалинке своего дома, сидела хозяйка и лениво грызла пышный пшеничный калач толщиной в мою ногу. Она перехватила мой взгляд, да его не надо было перехватывать — я не мог оторваться

от калача. Она так же лениво отломилась половину, я увидел, как он сдобно забелел на изломе, и сунула мне в лицо, чуть презрительно, как собаке: "На, возьми..." Вот тут я и проснулся, вдруг что-то вспомнил, осознал себя. Наверно, именно так, иначе бы я, как я себя представляю, не решился обидеть ее отказом. А тут был отчаянно решителен, не скрывал, что оскорблен: она молча взяла мою сумку, насыпала картошки, и я побежал через овраг, плача над собой от жалости и оскорбления. Но был доволен, а когда разжег таганок, поставил воду и стал мыть картошку, увидел в сумке тот самый кусок калача — теперь он был перепачкан, в земле от картошки.

Я озлеел по-настоящему. Бросив свою стряпню, я бежал по оврагу, страшно ругался, всех ненавидел, ворвался во двор и швырнул ей хлеб — она ничего не поняла; я побежал обратно, остывая, и тут до меня дошло, что это и глупо и смешно — на сей раз я неизвестно за что обидел человека.

Но это, пожалуй, единственный случай такого активного проявления, на самом деле меня уже как бы не существовало.

Чтобы не возвращаться потом к проблеме питания, расскажу еще одну историю на ту же тему. Разговор этот все-таки важен, редко кому из моих сверстников удавалось в те годы ухитриться жить сытно, все прошли через голод, в отличие от меня, часто настоящий. Человек себя в этом оказывает, тем более мальчик, подросток, юноша. Мне было девятнадцать, я кончил школу, жил в Москве, учился заочно в университете, сестра устроила меня на лето в экспедицию: я плывал на стареньком экспедиционном судне "Академик Зернов", мы искали пеламиду, есть такая промысловая рыбешка в Черном море, у южного побережья Крыма — от Керчи до Евпатории. Это особая история, и я, может быть, еще вернусь к ней.

Шел 1947 год, в Крыму все было сожжено, ребята таскали у дельфинов куски черного, не прожешь, дельфиньего мяса, от его запаха невозможно было отмыться, и когда, бывало, я гулял по ялтинским набережным, мне казалось, все на меня оборачиваются и принохиваются.

Мы уходили в море на неделю, брали по рейсовым карточкам хлеб на все дни вперед, и я съедал свой в первый же день-два. Числился я лаборантом, жил в каюте один, и как-то наш боцман попросил, чтоб я запер у себя его хлеб: "Знаешь, ребята голодные, балуют", — сказал он доверительно.

Ничего более страшного для меня нельзя было бы придумать. Я не мог спать в этой каюте, а рано утром, заперев ее, убегал на палубу и целый день слонялся, пытаюсь думать о чем-то еще. Но у меня ничего не получалось: тихими воровскими шагами я спускался вниз, отпирал дверь и тоненько-тоненько подравнял хлеб боцмана. Потом убегал наверх, но уже через час не выдерживал и снова спускался.

Когда мы в следующий раз отправились в море, боцман уже не предлагал прятать у меня свой хлеб, а я старался с ним не сталкиваться, боялся на него смотреть.

Сестра понимала, что меня надо увозить из деревни, к тому же ей самой было невмоготу: она никогда не хотела работать в школе, было тоскливо, шла война, на фронте все ее друзья-товарищи, она писала бесконечные заявления о переводе, просилась в армию, в Москву, в партизаны, но ее не пускали — слишком много было минусов для ее активной деятельности на временно захваченной врагом территории.

Но сестра всегда была человеком решительным. Она взяла в районном отделе командировку в Барнаул, якобы для своих хлопот в крайоно, а для меня пропуск в Чебоксары, к теткам. И прямо на бланке "Барнаул" в ее

командировочном удостоверении переделала на "Чебоксары". Психологически сделано было верно, лучше, чем подчищать — откровенно и грубо.

Одна сестра на это бы не решилась. Помню, мы приехали к Верочке Шварц — ее подружке, той самой, с которой они вместе прибыли сюда из Горького. Верочка жила к тому времени в районном селе Мамонтове, успела выйти замуж, ждала ребенка, была спокойна и, быть может, именно от своего спокойствия решительна. Она понимала необходимость нашего отъезда, это она "попалась": от тоски и одиночества начался роман с учителем — совсем чужим человеком, за ними следили, все село увлекалось этой охотой, им пришлось жениться, они перевелись в другую школу, а теперь с ребенком как ей было ехать в Горький, на запад, откуда продолжали катиться волны эвакуированных. Нечто похожее могло бы произойти с нами — что тут невероятного. Но это был другой характер: сестра отчаянная и талантливая — ей все позволено, а Верочка — трезвая и уравновешенная. То, что произошло с ней, ничуть этому не противоречит, напротив, подтверждает. Сестра бы легко махнула рукой на село, которое развлекалось на ее счет, на доносы и анонимки, летевшие в район — поступила бы, как сочла нужным. А Верочка не смогла, не хватило сил.

Но понять, что нам необходимо уехать, помочь в этом — она могла. Верочка и переписала пропуск. Взяла ручку и решительно вывела на бланке крупным почерком учительницы "Чебоксары" поверх "Барнаула".

Потом мы простились. Она жила на самом краю Мамонтова, невдалеке от дома, где я с приятелем обычно ночевал, когда приходил на базар. Она проводила нас до опушки леса, дальше дорога вела прямо в Суслово — двенадцать километров, и долго стояла, глядя нам вслед — высокая, уже грузная, кажущаяся еще больше от белого оренбургского платка: сестра оставила ей самое дорогое, что у нас еще было — мамин платок.

Они тогда очень дружили с Верочкой, для сестры в бытность ее в Горьком дом Шварцев всегда был настоящим домом, я тоже привязался к ней, всегда очень ждал — веселую, мягкую, рыжую и добрую, что-то она, видимо, еще задевала во мне; она часто приезжала к нам, хотя для того, чтобы повидаться, ей приходилось проехать из того села, где она жила сначала, сорок-пятьдесят километров, но кругом для нее за тысячи верст совсем никого.

Жалко ее было: мы уходили в неизвестность, но куда-то ближе к дому; в этом была логика, верность собственной судьбе. Опять почудилась беззаботность, свобода. А Верочка оставалась одна, все у нее в прошлом: пойдут дети, семейный дом, рядом чужой человек.

Я крепко запомнил момент, когда сидел на чемоданах — осталось их всего два — в маленькой станционной комнатушке, в Алейске, а сестра подошла к окошечку кассы брать билет. Мы на всякий случай простились — все-таки была война, могли тут же забрать и отправить куда надо: пропуск явно подделан, а ехали мы на запад. "Очень яркая лампа", — шепнула сестра и пошла к окошечку, тасуя документы: сначала пропуск мой — настоящий, потом свой — поддельный; или лучше — сначала свой, потом мой...

Была глубокая ночь, и замороченная за день кассирша дала билеты сразу, особенно не вглядываясь в верочкино чистописание. Мы сели в поезд до Новосибирска, он был пустым, и съели все, что припасли на дорогу: так было уговорено — ничего не есть до получения билета (два дня мы жевали одни огурцы, пересаживаясь с одного грузовика на другой — полтора-два километра до Алейска).

А потом опять вокзалы и пересадки: Новосибирск, Свердловск, Казань, последние деньги, торговля предусмотрительно захваченными из богатого сибирского села мылом и водкой; спичками я торговал уже в Казани, на базаре, когда выяснилось, что нам не хватает

на билеты на пароход... Волга, которую я снова толком не успел разглядеть, а мы уже приплыли, и наш путь по кривым улочкам вверх и вверх, и на горе маленький домик; тетки, мамины сестры, как в Москве: со своим сложившимся бытом, беленьким дедушкой — совсем стареньким и тихим, и грозный взгляд теток на наш единственный (уже!) чемодан. "Где вещи? В камере хранения?" — это был первый вопрос к сестре после нашего прибытия.

Было что-то жалкое в нашем возвращении к теткам: мы убегали от них, шли собственной дорогой, по своему — нашему пути, гордились собой, посматривали на них свысока, а выдержали только год: чуть стало прижимать — вернулись. Но это, ежели смотреть на наше возвращение, так сказать, "литературно". На самом деле все было проще: сестре со мной стало трудно, учительствовать она не хотела, рвалась в Москву, руки ей надо было освободить. А куда еще девать меня?

И вот мы живем все вместе в маленькой комнате, угловой, в четыре окошка. Еще есть кухонька, дворик, сарай. Нас сначала пятеро — две мамины сестры, дедушка и мы с сестрой. Света нет, нет керосина, горит коптилка, воду таскаем снизу, у меня есть возможность показать свое искусство — колю дрова на зиму. Уже осень, вот-вот школа, город непонятный, между двумя высокими холмами, на склонах улочки — кривые, узкие, посередине, на главной улице — асфальт, грязь непролазная, глина, где-то Волга, но до нее мне нет дела, а на той стороне лес — сырой и зябкий. Вот такие ощущения.

Сестра устроилась на работу в контору Заготзерно, на горе, еще выше — над нами: принимала хлеб у колхозников, но скоро ушла оттуда и стала заниматься почти прямым своим делом — ихтиологией: работала инспектором рыбнадзора, все время ездила в командировки, это она любила, ее активность нашла выход, рассказывала чудеса про чувашские села, о людях, с которыми встречалась, кто-то приезжал вместе с ней, оставался ночевать — и

каждый ее шаг, поступок, слово вызывали у теток раздражение: им было все равно, дело она говорит или нет, хвалят ее или ругают — все было не по ним.

А я уже был в школе, в огромном восьмом классе, человек сорок-пятьдесят, последний год совместного обучения. Я как-то затерялся в нем, сник. Я еще по инерции вступил в комсомол, пытаюсь хоть как-то реализовать в себе детские ощущения. Нас принимали с мрачной торжественностью, заполняли в райкоме два списка: один вновь принятых, а другой — добровольцев в Сталинград. Но это были мои последние всплески. Мне уже совсем не на что было опереться: сестра скоро уехала в Москву, уехала одна из теток — старшая и главная Анна — человек сложный, до педантизма и черствости строгий, прежде всего, к себе, а потому не дающая никаких поблажек другим, очень меня любившая. Это она усыновила меня после ареста мамы, отдавала мне, как умела, свою теплоту, даже своеобразную, впрочем, нежность. Собственная ее жизнь не сложилась, в свое время она ушла от мужа, он, человек, говорят, добрый и неплохой, предложил ей выбрать между ним и сестрами с их отцом. Она осталась с сестрами, культивируя в себе трезвость, отсутствие эмоций и доброту по сути. Это всегда тягостно, но я понимал ее, был к ней привязан, хотя всей жизнью от нее отталкивался. А она пыталась меня, как и сестру, поломать, считала всякую другую жизнь невозможной, а потому неправильной. Это было, пожалуй, инстинктивной защитой от происходящего вокруг, готового затоптать и ее — добропорядочную тетю Аню и всех ее близких. А вот так тихонько, никуда не высовываясь, скрупулезно честно, чтоб никто никогда ни в чем не усомнился... Сознание образцово выполняемого долга и честности давало опору внутреннюю, становилось своеобразной домашней религией — оправданием такой муравьиной жизни.

Мы остались втроем: дедушка, он слабел с каждым днем, еще одна тетушка — Регина, она всегда была

хозяйкой в их доме — здесь и там, у Кировских ворот: у нее был четкий круг забот и обязанностей, она откровенно не хотела понимать ничего, что хоть как-то в этот круг не входило. В том числе и нас с сестрой, стоило нам хоть в чем-то проявиться по-своему, а стало быть, иначе. Помню, чуть позже кричала мне, совершившему какую-то хозяйственную провинность или от чего-то уклонившемуся: "Вот отец у тебя был такой же — аристократ, не зря его посадили — враг народа!.." Но это очень рассердившись, забыв себя, а человек она была добрый и по-своему самоотверженный. Третьим был я.

Это, наверно, была самая тягостная зима в моей жизни. Я был подорван предыдущей зимой в деревне, а здесь при той же невозможности хоть к чему-то прислониться, не осталось и воли, которую мы с сестрой пытались себе организовать. И я затухал, не мог учиться, получал только двойки, ничего не понимал, по-прежнему все время хотел есть, и ребята, всегда очень чуткие к такого рода вещам и жестокие, прозвали меня К у с к о м, наверно, что-то появлялось в моих глазах, когда на большой перемене в класс приносили буханку хлеба и раздавали, разрезав на куски.

Я не читал книг, механически исполнял свои обязанности дома и жил только одной идеей, превратившейся в навязчивую, — я хотел в Москву. Срабатывал защитный механизм и я понимал — там мое спасение. К тому времени в Москве была уже не только сестра, устроившаяся на работу в Московский рыбвод, но и мама, вернувшаяся из лагеря; ее не прописывали, она тяжело заболела, но она была там! В Москве — дом, стены, еще что-то, к чему наконец можно будет прислониться. Я часами выстаивал в очередях в милиции — нужен был пропуск, получал отказ, приходил опять, показывал телеграмму о маминой болезни, ждал ответа и приходил снова. Думал я только об этом — навязчиво и неостановимо: как получу разрешение, пропуск, как куплю билет, как пойду через весь город, потом через поле, за которым

вокзал, — поезд в Москву отходил ночью. Я уже был там однажды, когда провожал сестру. Мне отказали в пропуске — она получила, я провожал ее ночью, тащил саночки с ее чемоданом: сначала с нашей горы, потом по городу, мимо огромного завода, эвакуированного из Харькова — ХЭМЗа, а дальше чисто-поле, мороз, ветер — и вот мы уже на станции, поезд, сестра говорит жалкие слова: как только устроится, сразу меня вызовет, я иду обратно и с этой минуты думать ни о чем больше не могу.

А тут еще у меня украли комсомольский билет. Возле кино, когда я толкался в очереди. И я опять на мгновение проснулся, заметался, кругом бродила шпана, я знал этих ребят, они наводили страх на все школы в городе; узнал о моей беде самый главный у них — косоватый, чернявый, очень смеялся, а когда пристал к нему, пригрозил, но я отстать уже не мог. Не знаю, почему они меня пожалели, не тронули, наверно, за глупость. Ночью я был в милиции, на рассвете в обкоме комсомола, где тоже всех поразил своим отчаянием: мне выдали новый билет, записав для порядка выговор и похвалив за рвение.

С Косым у меня была еще одна встреча, каждый из моих ровесников в ту пору, так или иначе, прошел через подобное. В школе был вечер, мальчики жались у стен, а самые отчаянные танцевали с девочками. Я сразу не заметил, что ребята один за другим исчезают из зала, а потом, спустя краткий срок, появляются несколько смущенные и словно бы не в себе. А я в первый раз осмелел, пригласил девчушку и старательно топтался, потев от смущения и гордости. Не сразу понял, когда меня потянули за рукав: "Ты что?" — удивился я и сразу ощутил холодок, узнав маленького пацаненка — он не отставал от Косого ни на шаг. Я бросил удивленную партнершу и пошел вон из зала, чувствуя холод и пустоту в желудке, загипнотизированный собственной беспомощностью.

Мы вышли в коридор, и пацаненок все так же молча указал глазами на двери класса — там было темно. Я вошел туда, холодея все больше. И не сразу увидел, а когда увидел, качнулся обратно, но тут меня схватили за руки сзади. "Что, не узнал? — спросил Косой, он полулежал на учительском столе. — Подойди-ка сюда". — "Что тебе, Косой? — спросил я. — Ты ж меня знаешь..." — "Я тут вас всех знаю, а тебя, комсомолец, особо..." Меня подвели к столу, я так и не видел кто, но держали крепко. Косой без дальнейших разговоров, ловко, по-кошачьи привстал на столе и саданул меня по скуле. "Чтоб больше не танцевал", — сказал он.

Какие танцы! Я запомнил это ощущение стыда, беспомощности и чего-то, что было сильнее моих возможностей, будь они и реализованы по-настоящему. Как бывает во сне, когда надо бежать, а не можешь оторвать ног от земли. А бежать необходимо — вот-вот схватят. А ноги переставить не в силах. И просыпаешься с криком ужаса.

У меня было похожее ощущение лет десять спустя. Только тогда меня привели не в темный класс и не к Косому. Но все было, как в том же сне, только я был старше на десять лет, мой опыт к тому времени усложнился, я научился оправдывать свою беспомощность и даже смог потом стереть в памяти воспоминания о ней. А природа этого была одна и та же: ощущение, с которым я вступил в темный класс и, узнав Косого, приготовился к не отвратимому, было сродни тому, что произошло со мной, когда я впервые сознательно ощутил скрежет железных шестерен машины и увидел себя со стороны затрепыхавшимся в них...

А потом умер дедушка. Я отчетливо помню все свои ощущения от первой встречи со смертью. Он был тяжел в последние дни, в полном беспомыслии. Слишком трудно пришлось ему, привыкшему к спокойной, размеренной жизни, избалованному заботой шести женщин (у дедушки было восемь дочерей, не считая мамы, и шесть из них

жили вместе с ним, в квартире у Кировских ворот), да и было ему уже за восемьдесят.

С дедушкой у меня никогда не получалось близости — я не понимал его жизни, а у него на меня сил уже не было, хотя мою маму он любил больше всех, но смертельный страх перед второй женой — маминой мачехой, отучил его от всякой потребности хоть как-то проявлять свои чувства к ней, а стало быть и ко мне. Он тихонько доживал свои дни, давно, еще в Москве превращенный в ребенка — сначала страхом перед женой, а потом активной заботой многочисленных дочерей. Помню, мы с двоюродным братом посмеивались над ним: приносили из булочной хлеб и швыряли перед дедом на стол, зная, что в Пасху этого никак нельзя; прятали его молитвенник, шапочку, ремешок... Он сердился на нас только для виду, а сам тихонько потешался, подыгрывал. Военный быт в Чебоксарах, тягостный и здоровому, сильному человеку, его совсем задавил, он постепенно угасал, находился в каком-то неведомом мне мире: сидел у окошка в садик, о чем-то думал, много молился и жаловался, как ребенок.

Почти каждую ночь я уходил звонить по телефону в Москву — давали разговор только ночью, прозвониться было трудно, поэтому не высыпаюсь, постоянно хотел спать: в школе и дома. А той ночью никак не мог уснуть, дедушка хрипел, а я, очнувшись от забытья, подумал: "Все еще скрипит..." Это было последнее, что я о нем подумал: спустя еще какое-то время проснулся от тихого рыдания тети Регины. "Умер", — сказала она, и меня пронзило, убивает до сих пор, когда вспоминаю — моя черствость, то, что я, быть может, подтолкнул его своим эгоизмом.

Наутро пришел старый еврей, тетки уже давно разыскали его, он приходил к дедушке, ел у нас и они вместе молились. Старый, безобразный и грязный. Вдвоем с теткой они обмыли и положили дедушку на пол, на солому.

Похороны состоялись на следующий день.

Он лежал возле моей высокой деревянной раскладушки. Я оказался лицом к лицу со смертью: было не страшно, другое — темнота дышала непостижимым мне ужасом. Ночью, когда надо было встать и идти звонить в Москву — сообщить, что случилось, я перешагнул через дедушку, почувствовал босыми ногами холод и побежал вниз, с горы, легко находя в темноте привычную дорогу, а отзвонив, под утро вернулся домой.

Кладбище было за городом. Мы шли за гробом втроем — с этим старым евреем, все, что могла выставить на похороны огромная семья дедушки. Лошадь попалась дряхлая, разбитая, еле-еле тащилась, сначала по кривым и крутым переулкам, грозя перевернуть гроб, а потом по центральным улицам.

Оказавшись в центре, я пошел по тротуару, не было сил идти рядом со стариком — он размахивал руками и гортанно молился, отрабатывая на совесть. Тетка сердилась на меня, но слишком картинно мы шли втроем — у меня не хватило мужества.

Центр остался позади, я пристроился за гробом, тетка села на телегу. И тут к нам подошел мужик, пьяный и веселый.

— Подвезите, нам по дороге, — засмеялся он и полез на телегу.

— Не торопись, — сказал возчик, — туда всегда успеешь.

— Да ладно, что ему, тесно, что ли, — не отставал пьяный.

— Не тесно, а лошади тяжело, не видите разве, еле идет, — это тетка подала голос.

— Кого хороните? — спросил пьяный и поглядел на нашего плакальщика. — Еврея, что ли?

— Человека, — у нашего еврея на сей раз оказался неожиданно тихий голос.

— Вот оно что! — закричал пьяный. — Жида, значит, хоронишь! Правильно, всех их туда, не добились! Скидывай, пуцай сами тащат!..

И тут я впервые почувствовал, что теряю сознание от бешенства, ненависть ослепила меня, я вспомнил, что еврей, что никакими разговорами, размышлениями, чувствованием, пониманием России, Пушкина, березовых рош, деревни — не заглушить этой непостижимой мне несправедливости, ненависти, которая может задушить.

Я кинулся на пьяного, хотя куда было мне, тощему щенку, да и не так он пьян был. Но я находился в форменном беспамятстве.

Кучер наш соскочил с телеги и перехватил меня. "Уйди, — сказал он пьяному, — дай человека довезти. Ты что, не видишь — хороним..."

Мы поехали дальше, а меня колотило — смутно помню кладбищенскую ограду, лютый мороз, страшный еврейский обряд похорон, громкий голос старика-еврея.

Потом мы с теткой ушли.

Дедушкину могилу не найти на кладбище в Чебоксарах. Тогда у нас не было сил что-то сделать, а потом кто-то из теток рассказывал: приезжали туда, искали — не нашли.

Я получил все-таки пропуск в Москву, и как это часто бывает, когда слишком сильно ждешь, сбывшееся оказывается значительно более будничным, на радость не хватает радости. Хотя была еще ранняя весна, холод, как вымечталось: я шел через ночной город мимо ХЭМЗа, потом чистым метельным полем до станции, в кармане у меня лежал пропуск на мое имя и мой собственный билет на поезд. Где-то были пересадки, кажется, ехал я через Арзамас и Горький, безобразие тогдашних дорог и поездов; потом я оказался в Москве, на Курском, спустился в метро, и тут, выйдя из поезда, у Красных ворот, понял, что идти дальше не могу — лопнули фурункулы, в последние месяцы они обсыпали ноги, под коленями, я обливался кровью, в медпункте метро девчонки, бинтовавшие меня, сокрушались, удивляясь — зачем это я приперся в Москву, где мне будет еще хуже.

Я прошел пешком Кировскую, свернул в переулок, назывался он тогда Водопьяным — от Кировских ворот к Сретенским, но в квартире на мои звонки и стук никто не отвечал. Я поднялся к соседям — они ничего не знали, ходил вокруг дома, звонил снова и снова. Больше мне некуда было идти и ничего не приходило в голову.

Москва стала другой: тихая, с закрытой станцией метро у Кировских ворот, у которой всегда бывало оживленно, людей на улицах поменьше, мало машин, какие-то совсем другие машины...

Надо было на что-то решаться, я не знал, где искать маму, сидел на лестнице в сыром вонючем подъезде и тупо почесывал зудящие под тугим бинтом фурункулы. И тут появился мой дядя — отец Виктора, единственный мужчина среди восьми теток, муж одной из сестер, финансовый работник, тихий, скромный человек — еврей с золотыми руками. Он всегда донимал меня своей дотошностью и тщательной медлительностью: аккуратно и скрупулезно чинил проводку, учил нас с Виктором уму-разуму, пытаясь привить мне хоть какие-нибудь практические навыки. С той поры я возненавидел такого рода домашнюю работу — сразу же возникает передо мной тихий облик дяди и его приличествующие моменту присловия.

Тогда он служил в ПВО и забежал домой пообедать. Он изменился, даже поразил меня: не было густой, в седину шевелюры, голова бритая, он курил махорку, был в солдатской форме — его новый облик никак не соответствовал тому же самому, до зубной боли памятному мне тихому занудству. Он молча открыл сложный замок, ввел меня в комнату — квартира была холодная, нежилая, загромождена дровами — все не так, как прежде.

— Где мама? — спросил я.

— Значит, решил прокатиться, — сказал дядя. — Хорошее времечко выбрал для развлечений. Во сколько обошлась тебе твоя увеселительная прогулка?

— Что случилось с мамой? — спросил я, понимая, что произошло что-то ужасное. Все-таки я не видел ее года три, а простились мы у ворот зоны в одном из Темниковских лагерей.

— Интересно, а карточки у тебя есть? — спросил дядя. — Хлеб ты, конечно, забрал вперед. А что будет завтра? Или для тебя здесь приготовлены новые карточки?

— Что тут случилось? — закричал я.

— Я уже не говорю о школе, — продолжал дядя, — какая может быть школа, если ему, видите ли, надо ехать в Москву! Все едут из Москвы или на фронт, а он решил прокатиться...

Я никогда не смогу забыть этого разговора. Мама между тем была у моей бабушки — матери отца, она жила на улице Горького вместе с моей двоюродной сестрой — дочерью тетки Сони, о которой я уже рассказывал.

Мама попала тогда в Москву, конечно, случайно. Просто 10 декабря 1942 года кончились пять лет ее срока. Это было в новинку — что с р о к а кончались (во всяком случае, не приняло еще массового характера) — и ее отпустили, видно, не знали, что с ней делать. Она выбрала пункт, ближайший к Москве, чтоб надо было через Москву проехать — Пушкино. Там ей сразу отказали в прописке, да и негде было и не у кого; она приехала к теткам, ходила по милициям, ото всего этого тяжело заболела. А мѣтo с сестрой в Чебоксарах радовались телеграмме из Москвы о маминой болезни — думали, это для пропуска! На время болезни маме разрешили жить в Москве, но однажды пришел участковый и она дала подписку о выезде в двадцать четыре часа. Тогда она съехала с квартиры у теток и спряталась у бабушки.

Появление мамы в Москве, после всего, что было, в сорок втором году — удивительно, но еще удивительнее,

что все как-то обошлось. Когда, спрятав подальше свою синенькую бумажку, в которой говорилось, что она освобождена из заключения (маму предупредили, что восстановить эту бумажку ни при каких обстоятельствах невозможно — придется отсидеть еще один срок), она прибыла на станцию Потьма и увидела, что там творится, когда отчаявшись сесть на поезд даже с билетом, который фантастическим образом, но удалось взять, она повисла на подножке тронувшегося состава, а здоровенная проводница принялась сталкивать ее на ходу, упершись в грудь коленом, а мама за два года до того перенесла в лагере тяжелейшую грудную операцию, — в тот момент мама, наверно, тепло вспомнила оставшийся лагерь. Но ей нужно было уехать, остаться в Потьме она не могла — просто есть было нечего. "Люди ль вы?!" — закричала мама. Я вижу ее, несмотря на всю немыслимость сцены: с чемоданом, бледную, отчаявшуюся от безвыходности положения, маленькую, в той же огромной дохе, висящую на подножке, а поезд уже движется, его провожают привыкшие ко всему равнодушные глаза тех, кто остался на станции Потьма... Мама крикнула, очевидно, громко — ее услышали сквозь лязг набиравшего скорость состава. Кто-то отстранил проводницу, и маму втащили в вагон.

Она просидела всю ночь в уголке, у двери, а утром, в Москве, выйдя на привокзальную площадь, побрела к Кировским воротам, шараясь от каждого милиционера.

Она пропала бы в Москве, не оказись в это время одной из ее младших сестер — Зоси, человека с судьбой незаурядной, в которой время выразилось по-своему, любопытно-трагически.

Непохожая на остальных сестер: комсомолка, очень рано член партии, в самом начале тридцатых годов отправленная на нелегальную работу в Польшу, она успешно и громко села там в тюрьму, прошла дефензиву, была

приговорена к смертной казни, виселицу заменили двадцатью годами, она сидела до 1939 года, пока тюремная администрация не побежала перед быстро едущими немецкими танками.

Тюрьма была где-то на западе. Зося пешком прошла всю страну, горящую Варшаву — навстречу нашим частям. Так она вернулась в Москву, работала на партийной работе в Белостоке, в сорок первом году пешком двинулась дальше на восток — через Минск и Смоленск, работала в Москве на радио на Польшу, участвовала в организации Войска Польского, вместе с ним вошла в Варшаву, работала в партийной школе, была награждена высшим польским орденом "Грюнвальд".

Она истово горела партийным революционным пламенем и, в отличие, скажем, от сестры отца, тетки Сони, была в каждый момент, как бы он ни был противоречив, искренна и, что еще более редко, — абсолютно бескорыстна. Но становилось ей, надо думать, с каждым годом все труднее, да в ситуации с Польшей, польской партией, уничтоженной у нас еще в тридцатые годы (мама могла бы порассказать ей о польках, сидевших в одном с ней лагере), Варшавским восстанием — было мудрено сводить концы с концами. Не знаю, как это ей удавалось, впрочем, всегда находятся готовые рассуждения о революционной целесообразности... Во время войны еще все для нее как-то, но стояло на своих местах — она ни о чем не думала, ей хватало увиденного в Варшаве, Минске и Смоленске. Но потом, в конце сороковых, особенно в начале пятидесятых, стало, надо полагать, потруднее и совсем неважно.

В то время (в конце сороковых годов) мы виделись часто. Зося кончила экстерном университет, училась в Академии общественных наук, должна была защищать диссертацию. Я бывал у нее в гостинице "Люкс" на улице Горького — там жили тогда иностранные коммунисты. Помню ее гостиничный номер, где всегда можно было хорошо поесть, студенческое, но высшего

класса — люкс! — жилье, стол, заваленный книгами, однообразными, как частокол в новеньком заборе: Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин, лекции ВПШ, книжки тогдашних философов и историков в одинаковых твердых переплетах: Митин, Константинов, Юдин, Варга, Панкратова, Греков... Она изучала эту науку с обычным для нее пылом и страстью. А у меня возникали в ту пору свои сложности, я приходил с ними к ней, возможности у нее были и она охотно, легко помогала мне. Я верил в ее возможности, в ее силу и ее искренность.

Конфликты у нас случались, но спорить с ней не хотелось: становилось жалко ее, да и страшновато — можно было всего ожидать. Помню громкий разговор о нашем прошлом, об отце; Зоя закричала на маму: "Я не позволю устраивать здесь культ Фридлянда! Ты ничего не понимаешь, а я знаю, куда и к чему он шел, — почитай его последние статьи!.." — "Никуда он не шел, — сказала мама, но негромко, — и ничего ты не могла там вычитать, да и не читала, — когда тебе было читать, ты в тридцатом году уехала..." — "Ну, хорошо, хорошо, нечего парню голову морочить..." — сказала Зоя остывая.

Зоя не выдержала в пятидесятом году. Она несомненно имела предрасположение к психическому заболеванию — ее мать (мачеха мамы, страшно, кстати, мучившая маму в детстве и отрочестве, родившая деду восемь дочерей после смерти моей родной бабушки) была просто психически больна, и только в такой мещанско-еврейской семье могли мириться с этим всю жизнь, не отправив ее в больницу, полагая всякого рода ее, так сказать, отклонения от нормы проявлением трудного характера. У Зои началась мания преследования, бред, в котором было слишком много правды: она говорила и писала в разные адреса: существует заговор, нити его ведут в ГБ, на Лубянку, весь город опутан проводами... Это было естественным завершением судьбы, если трезво взглянуть на ее жизнь, но странно, что в ту пору ее не посадили (сказал же, говорят, Сталин в

подобном случае о человеке, находившемся на экспертизе в институте Сербского: "Такие сумасшедшие нам не нужны"), а благодаря стараниям друзей-поляков просто спрятали в сумасшедший дом, и вот уже скоро двадцать лет она там, ей платят большую партийную пенсию, раз в год тетки берут ее домой на месяц, но ей неизменно становится хуже, в домашних условиях ухаживать за ней невозможно, ее отвозят обратно, каждый раз обманом посадив в машину. Несколько раз за это время она убегала, конспирировала в больнице, но больна она безнадежно.

Есть для меня в Зосиной судьбе некий печальный символ: неизбежность страшного конца для честного человека, искренне попытавшегося соединить несоединимое.

Но в 1942—1943 годах в Москве Зося была в порядке, в силе и просто спасла маму. Делала невозможное, чтобы помочь ей хоть как-то устроиться. Действовала она, разумеется, только официально, это было выше всяких, тем более искренних возможностей, обречено на неудачу, но кое-что ей все-таки удалось: маму не посадили.

Тогда, в день приезда, в квартире у Кировских ворот, мне удалось, в конце концов, прервать красноречие моего дяди. Узнав, где мама, я забрался в трамвай и, качаясь от усталости, с размокшими и разматывающимися повязками на ногах, в промокших от крови рваных сапогах вышел на Пушкинской площади и побрел вверх по Тверской. Бабушка жила рядом с глазной больницей, в большом доме, я еще по детству помнил эту квартиру, не зная номера.

Бабушке с моей двоюродной сестрой оставили к тому времени только одну комнату, всю квартиру занимал генерал (видимо, интендантский), с которым они мирно уживались, рассказывая о нем всякого рода потешные истории. На самом видном месте в прихожей висел

желтый деревянный круг для унитаза. "Генеральский", — шепнула мне сестра, когда я удивленно уставился на него: им пользовался только сам генерал, торжественно вешая каждый раз на специальный крючок.

Мама, бледная, все с такими же сияющими глазами, встретила меня в дверях, мы оба плакали, и хотя все было ужасно: нам негде жить, нечего есть, неизвестно, чем заниматься, но я понимал — самое страшное позади, все теперь хорошо, остальное ерунда, чепуха, ничего не стоящая. Я понял это сразу, очнувшись от первых слез, увидев себя на кухне: мама ловко разворачивала мои бинты, промывала гнусные фурункулы, весело болтала, в кухню заглядывала двоюродная сестра, что-то непонятное варила на плите бабушка; потом прибежала Ида — приехала из командировки под Москвой, как всегда, с историями и приключениями, мы смеялись над моей долгой беседой с дядей в квартире у теток... Мы уже жили.

С той самой минуты и началось подлинное мое возрождение или, скажем скромнее: оттаивание. Хотя нам еще долго было худо. В самом элементарном смысле. Из Москвы пришлось уехать — никаких надежд на мамину прописку не осталось, как бы опять не забрали, продуктовых карточек у нас, действительно, не было, сестра не могла нас прокормить, бабушка боялась генерала, который однажды мог пробудиться, позабыть про свой сияющий желтым лаком круг и нас заметить.

И мы вдвоем отправились обратно в Чебоксары — там было какое-то прибежище. Опять те же железные дороги, пересадки, на сей раз в страшном городе Канаше, тот же домишко на горе, опостылевшая школа и голодуха. Но все было другим. И дом наш, как оказалось, стоял славно: прямо с дороги открывалась широкая синяя лента Волги, слишком роскошная для такого замызганного городишки, лес и луга на той стороне прямо у береговой кромки; да и город, спускавшийся с нашей горы, карабкавшийся домами на такую же другую гору напротив, смутно

белевший внизу зданиями покрупнее, в центре — оказался удивительным. Все это, не замечаемое мною прежде, было необычайно красивым, и теперь каждое утро, шагая в школу, я глядел, дышал, уносил эту красоту с собой. И в школе все как-то само собой наладилось, мама там побывала, все стали со мной приветливее, и хотя я пропустил из-за путешествия в Москву довольно много, это никак не отразилось на моих познаниях: я прилично, без двоек, закончил четверть, а экзамены за восьмой класс вовсе сдал только на пятерки.

Было лето с купаньем на Волге, ночная рыбная ловля, в ту пору еще можно было поймать сеткой стерлядь; путешествия на тот берег в луга и леса — грибы и ягоды; оказалось, что в городе прекрасная старая библиотека с тихими и прохладными читальными залами — так хорошо было после ее закрытия, часов в одиннадцать, выйти в темноту, спускаться сначала по каменным мостовым (библиотека была на противоположной горе), потом через центр и по нашим кривулям...

А ведь ничто, повторяю, не изменилось — та же непролазная грязь, неосуществимая мечта о сапогах, зависть к крепким каблукам и не чавкающим подметкам, та же голодуха — щи из крапивы и оладьи из картошки, жаренные на касторке, да и мама не ходила со мной не только купаться на Волгу, но и в библиотеку. Но какой-то дух исходил от нее, умная энергия была во всем ее тихом облике, и действовала она ровно и неостановимо. В конце концов появились даже сапоги: мама взяла кофточки, их покупали, а щи из крапивы съедались весело.

В девятом классе я ходил уже в другую школу — нас разделили, и здесь, среди тридцати юношей, которым через год предстояло уйти на войну, продлись она еще, я внезапно оказался не самым последним, я мог не хуже, а порой лучше других, рождался интерес — робкий и еле тлеющий, но уже активный интерес к жизни. Я пронулся.

Вот тогда я и встретился со Стасиком Андреевым. И этот первый мой товарищ, первая духовная близость довершила то, что начала мама. А потому, хотя вся наша дружба относится ко времени более позднему, я должен рассказать о ней здесь.

Это был очень одаренный человек, тогда еще мальчик, головой выше нас всех — своих сверстников. Не потому, что учился блистательно — отличники и эрудиты бывали в каждом классе. Но он уже тогда много знал, его, скажем, школьный доклад о толстовстве (мы вспоминали о нем позже, взрослыми людьми) был по-настоящему глубоким.

А я был пуст, ничем не наполнен, но, видимо, жажда и потребность в духовном знании была огромная, и впитывал я все мгновенно, четко следуя собственной, неведомой мне, но вполне определенной дорогой.

Мы сошлись, сблизились, полюбили друг друга. Вначале я его робел, а он меня просто любил. Я уехал после девятого класса в Москву, он сдал за лето экстерном за десятый класс, получил золотую медаль, прислал мне документы, я отнес их в университет на Моховую, отдал секретарше, не веря в серьезность и успех таких простых действий.

Но Стасика приняли и вызвали в Москву. Да и несложно это, наверно, было в то время — 1944 год, кто тогда поступал? Он пошел на геолого-почвенный факультет, его привлекали естественные науки, он относился к ним серьезно, полагая литературу всего лишь занятным развлечением. Был он похож тогда на классического русского студента конца прошлого века, о которых я знал по книгам, к тому же он немного играл в "такого". Жил он в знаменитом общежитии на Стромьинке, отпустил длинные до плеч волосы, курил трубку, целые дни просиживал в Ленинке, на все присылаемые родителями деньги и стипендию покупал настоящие книги (тогда

у московских букинистов можно было достать все что угодно), и пока я все еще восстанавливал себя и собирал по крохам, он продвинулся далеко и интересно. Хотя, надо думать, все это выходило у него не просто, был он человеком живым, любознательным, не мог не видеть, что происходит, не соотносить с книгами, которые так жадно читал. Он и соотносил, дышал все труднее, пока не задохнулся.

Однажды он сбрил наголо волосы и начал пить.

Так и пошло. Он переходил с курса на курс, учился, как всегда, блестяще, умудрился писать и печататься еще студентом, но пил все безнадежнее, побывал во всех московских больницах, его исключали и восстанавливали, рассорился со всеми друзьями, страдал от одиночества, оставаясь по-прежнему человеком умным, широким — прекрасным, становился все более тяжелым.

Разумеется, были причины объективные, он наткался на них все чаще, знал много и многое уже тогда глубоко понимал, не верил в возможность каких бы то ни было глубоких изменений, справедливо полагал чепухой и литературой всякую либеральную болтовню, принципиально отказывался от какой бы то ни было попытки серьезного анализа времени, хотя интересовался, прислушивался, жадно расспрашивал меня обо всяких новостях — ждал глотка свежего воздуха. Но верил только в науку, в совершенствование внутреннее, а каждый раз, сталкиваясь с жизнью, (таких столкновений в Москве конца сороковых — начала пятидесятых годов было более чем достаточно) срывался, забывал о мудрости и совершенствовании — запивал. Потом опять успокаивался, уходил в свою науку, двигался внутренне дальше и глубже: толстовство, просветители, утописты, великие немцы, отцы церкви (воспринимая их писания, скорее, как некую экзотику), античность (Рим первых веков, потом Аристотель, Платон), Восток, вплоть до индусов, на которых остановился, зачеркивая

опыт новой цивилизации, отодвинув, не зная его сердцем, христианство, проскочив в своем несомненном кустарничестве и отсутствии настоящего образования русских религиозных мыслителей, — и потерялся, не видел возможности соотнести свои лихорадочные поиски оправдания жизни с ее реальностью, пытаюсь закрывать глаза, не чувствовать ее боли — никак не из равнодушия, принципиально, полагая в некоем интеллектуальном аристократизме мышиною возней все наши сегодняшние терзания...

Как не хватает мне сейчас его такого естественного, умного понимания, интеллектуального опыта, безошибочного чутья, интуитивного знания людей! Как бы он рад был узнать, что на самом деле существует традиция русской культуры, ее непрерывность, что наше незнание — только наша беда, что ничто не утеряно, к тому же что-то расшевелилось, живет, сдвинулось, и уже не либеральничанье и не болтовня, а живая мысль, завтра дело, и уже не рюмка водки и не восхищенный взгляд наградой, а тюрьма и лагерь...

После университета все пошло у Стасика хуже: на работе его не терпели, времена становились круче, но он еще как-то держался, защитил диссертацию, напечатал несколько, говорят, очень серьезных, даже значительных работ по своей специальности — он кончил геофизиком. Были женщины, девицы, но никто ничего не мог поделать.

Потом его окончательно прогнали уже отовсюду. Он уехал в Чебоксары, мать, главный терапевт республики, делала там все возможное, а он, едва придя в себя, возвращался в Москву — и все начиналось сначала.

А я по молодости не понимал, не верил в невозможность не пить до безобразия — что это болезнь и несчастье. Мы ссорились с ним, он убегал из нашего дома; ночью, зимой я бегал его разыскивать; иногда он жил у меня, лежал целые дни на диване, курил трубку — красивый, похожий на индуса, с широким лбом,

далеко расставленными, чуть удлинненными глазами с тяжелыми веками, я приводил ему приятелей поострей, мы с ним заранее договаривались, он начинал спор, неизменно побивал самых языкастых и натасканных в любой области. Тут Стасик не знал жалости и не считал нужным щадить: "Пускай учатся..." Но так бывало, пока он держался, а потом мы ссорились, и он исчезал.

Обычная российская история. Сколько раз я чувствовал себя виноватым, что не смог остановить, удержать, объяснить. А он был человеком тонким, чутким, ранимым.

Помню, я уезжал на Сахалин, уже второй раз, после университета. Меня провожала толпа друзей-приятелей, запрудивших платформу на Ярославском, пора было прощаться. Стасик подошел ко мне, а я, возбужденный происходящим и тем, что мне предстояло, оттолкнул его, улыбаясь: "С тобой-то зачем!" Я-то знал, с ним — со Стасиком, должно быть самое главное, последнее прощание в Москве, пока надо пройти обязательный ритуал остальных — важных и не очень. И уже потом, когда раздался свисток, поезд дернулся, я вскочил в вагон, закричал ему, стал звать, но его не было, он уже шагал по темным московским улицам, копил и лелеял в себе обиду, почти оскорбление, ни разу не ответил на мои письма с Сахалина, говорил, что и пьет оттого, что я его оттолкнул, и только много лет спустя мы объяснились.

Он погиб тридцати трех лет. Что-то словно бы наладилось, после большого перерыва он устроился в экспедицию на Памир, собрался жениться, пришел ко мне перед отъездом, мы хорошо поговорили, и он так смущенно радовался нашему пониманию. На другой день я провожал его до автобуса на аэродром, он не пил, а я приехал сильно навеселе, он был со своей будущей женой, радовался мне и надо мной потешался. Я подарил ему свою только что вышедшую большую статью, он смеялся надо мной, из открытого окна автобуса: столько

я всегда читал ему нравоучений, а вот сейчас сам-то хорош... Дней через десять, уже на Памире, он умер. Заснул, а утром не проснулся.

Для меня в трагической судьбе Стасика, несмотря на всю нашу близость и разрывающую душу печаль, всегда был некий символ невозможности, пусть инстинктивной, но попытки отстранения от жизни, стремления принципиально не замечать, не говорить себе правды, полагая реальную боль ничтожной. Для человека искреннего и умного, по натуре активного и доброго — это невыносимо, такого рода сшибка не может не кончиться трагически. Разумеется, в каждом конкретном случае иначе, нет ничего более ошибочного в плане духовного опыта, чем формула Годунова: "Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни". Никому она ничего не сократила, кто это и где хоть однажды следовал науке и не разбивал себе лоб о стену... Может быть, в случае со Стасиком причина всего лишь субъективная: он шел ощупью, не знал традиции, целый пласт культуры остался вне поля его зрения; провалы в его знании, недоверие к собственному сердцу — они и обернулись беспомощностью, сделали его беззащитным. Здесь нет нарочитого усерьезнивания судьбы моего товарища, слишком просто было бы свалить все беды его и неприятности на болезнь — природу. А что понимаем мы в природе, о которой судим чаще всего с поразительным апломбом? Будто бы духовная жизнь не имеет к природе самого прямого и непосредственного отношения...

Наше пребывание в Чебоксарах шло к концу: зима, весна, опять лето... Но все выравнивалось, завершалось, впереди была Москва, и не нужно было хотеть и мечтать об этом так истово — отъезд стал естественным, сам собой разумелся: теперь мы с мамой просто должны были, не могли в конце концов там не оказаться.

Была школа, нормальные трудности и беды, от которых нелепо было бы впасть в отчаяние. Потом нам с мамой пришел от сестры вызов, мы собрались, купили билеты на пароход. В этом тоже было что-то уже от другой жизни. И хотя билеты в третьем классе, набитом битком, я знал — это возвращение: я и отплыл из Москвы пароходом!

Стоял жаркий июль, нас никто не провожал, я зачихнул под скамейки чемоданы, пароход отвалил, разворачиваясь и удаляясь, пошлепал вверх, а с кормы я еще долго видел высокий берег, где-то неразличимый уже наш домик, потом он закрылся другим бугром, с не видной отсюда, с реки, библиотекой, слева побежали поросшие выгоревшей травой холмы, справа, у самой кромки — лес, настоящий, темный, нетронутый. Пароходик шлепал, деловито постукивая слабенькой машиной, солнце завалилось за какую-то гору, сразу стало темно и прохладно, мама взяла меня за руку и мы пошли вниз. У нас было на двоих две полки, в узелке пища. Я вытащил чемодан, мама расстелила салфетку...

Через три или четыре дня, уже не помню, мы были в Москве.

БУНТ НА КОЛЕНЯХ

Узкий и длинный кабинет-пенал завершался столом, он стоял поперек, у окна, оставлял узкие проходы с обеих сторон; подоконник высокого окна приходился над головой сидящего спиной к нему за столом человека. Я не видел его лица, он работал, не обратил внимания, когда я робко вошел, приблизился к столу и остановился. Потом подождал немного и сел на стул возле.

Человек за столом покосился на меня темным лицом и продолжал писать. Был он в штатском, выглядел бы вполне мирно, если бы не эта дикая комната с голыми стенами и обязательным портретом вождя, глядевшим на меня с привычным холодным презрением; если бы я не выстоял трех томительных часов в такой же голой приемной, где толпились люди, главным образом женщины, исчезающие одна за другой в этом кабинете. Никто не задерживался — или так мне казалось? — поэтому я не мог понять, почему он со мной так нетороплив. Или здесь был кто-то другой? Но никаких дверей, кроме той, в которую я вошел, обнаружить не удалось, тогда я успокоился, но нарушить усердное занятие хозяина кабинета не решался. Да, он выглядел бы вполне мирно — работает человек и все, если бы не было всего, что было.

Я впервые пришел сюда месяц назад. Вместе со старым школьным приятелем, славным, добродушным пареньком, мы дружили с ним еще с третьего класса школы, имевшим, по-видимому, тоже некое отношение

к такого рода местам. Правда, он никогда не рассказывал о своем отце, а я деликатно не расспрашивал, но из разных обмолвок его и его матери понял, что отец много лет с ними не живет, что был он чекистом, давным-давно уехал куда-то в Сибирь, а там исчез, но к ним это уже отношения не имело. Я часто бывал в их небольшой комнатухе в Уланском переулке, мать моего приятеля, веселая, молодая еще, полная блондинка, меня привечала, с любопытством расспрашивала, а я охотно делился всем, что у меня было. Приятель мой всегда живо откликнулся на разговоры про это, лихо шутил на самые острые темы, и пошел со мной с удовольствием. Мы пересекли Лубянку и в самом начале Кузнецкого моста слева толкнули дверь: "Приемная. Отдел справок".

31 мая 1946 года исполнилось десять лет со дня ареста отца, то есть кончились десять лет без права переписки. Летом я сдавал экзамены в университет, потом в институт, потом опять стучался в университет, проваливался, снова сдавал и, наконец, поступил. И в сентябре толкнул эту дверь.

Тогда здесь толпились, как мне показалось, те же самые люди. Было тихо, косились на каждого, кто вполголоса спрашивал о чем-то у соседа. А мы с приятелем шутили, выказывались друг перед другом, и, очевидно, чтобы скрыть робость, прыскали в кулак, как гимназистки. Подошла моя очередь, я вошел, оставил заявление — мне было сказано зайти через месяц.

Я не говорил маме, что подал эту бумагу, хотя она несколько раз об этом заговаривала и обрывала себя: "Конечно, бессмысленно да и рискованно о себе напоминать". Ей напоминать о себе было и вовсе невозможно: она по-прежнему жила безо всякой прописки, неизвестно как.

Сидеть в кабинете-пенале перед человеком, подозрительно долго не обращавшим на меня внимания, передоверившим слежку за мной до жути знакомому портрету, было неудобно, но чем дальше, тем страшней

становилось о себе не напомнить. К тому же, я с ужасом ждал, что он все-таки скажет по существу моего заявления.

Самое лучшее было затягивать свидание, и я твердо решил молчать, пока меня не спросят.

Прошлый раз приятель рассказывал всякие байки о подземных ходах, связывающих все здешние помещения друг с другом, а потом с Кремлем, выходящими Бог знает куда. "А мавзолей?" — спросил я. Это показалось нам особенно смешным, хотя почему было бы не включить мавзолей в подземную сеть, начинавшуюся или завершавшуюся в сером, плывущем на Москву, как чудовищный корабль, огромном здании с гуляющими вокруг часовыми? В то время достраивали вторую огромную половину этого здания, она была в лесах, там копошились серые фигурки. "Немцы", — говорили в Москве и торопливо проходили мимо.

Я представил себя заблудившимся в темных подземных переходах-тайниках, толкнувшим некую дверь и оказавшимся перед саркофагом, а в нем ссохшийся человек в рыжей бородке. "Одиноко ему там лежать", — подумал я, как помнится, с какой-то странной жалостью к этому человеку...

Но в этот момент меня прервали.

— Я вас слушаю.

Глаз его я не видел и, вздрогнув, уставился в темное лицо, позабыв, что я должен говорить. Ждал, что мне сообщат.

— Месяц назад, — залепетал я. — Мне сказали...

— Фамилия... имя-отчество... Где живете...

Он опять надолго ушел в свои папки, бумаги, но я уже не отвлекался, мне было не до подземных переходов, которые, вполне вероятно, начинались под его письменным столом.

— Кто такая Фридлянд Ида Григорьевна? — спросил он совершенно неожиданно для меня. Этот вопрос показался мне таким диким, что я даже не сразу сообразил, о ком идет речь.

— Фридлянд?.. Моя сестра...

— Где проживает?

Мне стало совсем не по себе.

— Здесь, в Москве, мы живем вместе.

— Что ж вы со мной в игрушки играете?! — вскричало "темное лицо" с явным раздражением. — Она вам ничего не говорила?

— Ничего, — пролепетал я, понимая, что гублю сестру, себя и всех нас.

— Шутить с нами не следует, — сказал он, совершенно, впрочем, напрасно, это я и без него знал. — Была здесь эта самая Ида Григорьевна, все, что надо, мы ей сообщили...

— Когда? — тупо спросил я.

— Что "когда"? — обозлился он. — Недавно была, можете все у нее узнать.

— Она уехала, — неожиданно для себя соврал я.

Сестра, действительно, жила с ребенком за городом, на даче в Мамонтовке, и хотя я жил там же, формально это было правдой — она ведь уехала из Москвы!

Ему, видно, надоело со мной препираться. Он достал из папки бумагу и, глядя в нее, сказал:

— Сообщаем. Фридлянд Григорий Самойлович, 1896 года рождения — умер в 1941 году 29 августа.

— Как умер? — спросил я, не понимая. — Десять лет без права переписки, срок кончился, может, теперь можно узнать, где он?..

— Все, — сказал человек за столом и встал, загородив окно. — Все, что я могу вам сообщить. И запомните и передайте сестре, она тоже здесь что-то такое высказывала и не верила... Прошу пригласить следующего.

Я, не видя, прошел сквозь приемную, вышел на улицу, повернул за угол и пошел вниз к Охотному ряду. Было темно, справа не стоял еще огромный и бессмысленный, особенно выразительный рядом с мрачным зданием министерства "Детский мир", теснились старые дома, пассажи, завершавшиеся "Иртышом", в который

вели десять ступенек вниз, возле толпились и шумели люди, слева у "Метрополя" мигали огни кинорекламы. Все дрожало перед моими глазами, сливалось в одно желтое зарево. "Сволочи, — шептал я, глотая слезы, — убили, сволочи..." Я ругался и плакал. Я впервые, но сразу поверил, что отца больше нет и я его не увижу.

Пока я дошел до университета, слезы подсохли, отчаяние вылилось в ясную холодную злобу и, когда я поднялся по круглой лестнице в центре старого здания, между Герценом и Огаревым — там слева и было мое заочное отделение, — стало мыслью уже достаточно определенной. "Ну, ладно же, — бормотал я, — я все-таки учусь в университете, я его кончу, ничего вы не смогли, не сможете сделать со мной! Посмотрим еще, поглядим..." Смешное это было ужо, и сегодня особенно грустно мне его вспоминать и об этом свидетельствовать.

Но я действительно попал в университет, правда, "с черного хода", да так там и застрял, не двинувшись дальше "кухни". Может быть, именно это меня тогда и спасло: года через два начали вылавливать таких, как я, ребят прямо с лекций, из общежитий, из московских квартир, и мои сверстники, столь же чистосердечно излагавшие в анкетах сложности своих биографий, прошли крестный путь — от Лубянки, Бутырок, Лефортова до знаменитых лагерей в Джекказгане, Соликамске и на Печоре. А я затерялся — заочник, заглядывавший в университет по собственному желанию, а оно появлялось нерегулярно, случайно подрабатывавший где попало — от средней школы, где я бесславно прослужил несколько месяцев старшим пионервожатым, впадая в тоску от никому не нужной липы, требовавшей непременно "инициативы" и "боевитости", которых мне явно недоставало — до лаборантской работы в рыбном научно-исследовательском институте.

Попади я в университет, все сложилось бы иначе. Я помню, как поступал: принес документы на истфак, их оставил, а когда на другой день зашел за экзаменационным

листком, девчонки-секретарши встали и еще откуда-то набежали посмотреть на меня. Или многие учились еще у отца, или время было такое, что все это казалось диковинным? Мне не выдали "листка" — не давали разрешения сдавать конкурсные экзамены, хотя это словно бы и формально было невозможно, допустили только 8 августа, когда экзамены начались, и я, взбудораженный всем этим, понимая, что меня все равно не примут, начал сочинение о "Женщинах в русской литературе" фразой, которую помню до сих пор: "Русская литература, писал Белинский, — так начиналось сочинение, — не есть явление отечественное, будучи занесена с Запада, она развилась, став литературой национальной". И дальше, в развитие этой мысли. Шел 1946 год и такого рода "дискуссионное" размышление явно было неуместно.

Я видел потом свое сочинение только издали, мне не дали его в руки, разглядел злополучную фразу, дважды подчеркнутую красным карандашом со столь же яркими пометками на полях: "Sic!!" — кричали поля. "Это тоже по-русски?" — нагло спросил я, забирая документы.

Да, Бог спас меня тогда от университета, тем более от исторического факультета, и я благополучно, на пятерки сдал те же экзамены в педагогический институт на Пироговке, куда меня не приняли уже просто так — не объясняя причин, но отличные отметки дали возможность поступить в университет на заочный, войдя, как уже говорилось, через "черный ход", используя родственные связи и то, что на заочный в ту пору поступить было совсем несложно. К тому же, имея некоторый опыт, я на сей раз был более чем краток в своем жизнеописании.

Но все это явилось уже завершением некоего процесса, о котором следует упомянуть.

К тому времени пошел третий год моей жизни в Москве. Мы занимали с мамой и сестрой небольшую комнату в квартире у теток. Я уже писал об этой большой

мрачной квартире у Кировских ворот, в которой я жил после Архангельска (в этом доме в бывшем Водопьяном переулке жил когда-то Маяковский). В свое время эта квартира принадлежала маминому старшему брату, уехавшему в 1924 году из России — сначала в Румынию, а после войны в Израиль. Это единственный и самый близкий ей человек (их только двое, тетки — сестры лишь по отцу), с которым она чуть не полвека не видалась, и Бог весть, увидятся ли когда-то. У него, надо полагать, было состояние, да и квартира с мебелью, размерами внушающая уважение, о чем-то говорит; в Румынии у него было какое-то дело, хотя, как я теперь понимаю, грошовое. Дети его учились и осели в Париже, во время войны, когда мы пропадали в Москве, а Бухарест был уже освобожден, мама каким-то образом связалась с братом, он присылал посылки, и недолгое, впрочем, время мы только этим и жили. Наверно, я никогда не увижу дядю, но с удовольствием с ним бы встретился, поговорил, что-то постарался понять, человек он, судя по всему, добрый и любопытный.

Итак, мы жили в квартире у теток и страшно бедствовали. Маму никак не удавалось прописать, а, значит, у нее не было продовольственных карточек, сестра поступила в Литературный институт — значит, не получала зарплаты, мама вязала и продавала кофточки, но это были не деньги, к тому же мама была слаба и часто болела.

Помню, старые друзья или родственники устроили маму лифтером в большом доме в Кривоколенном переулке — возле нас. Это удалось оформить, мама получила карточку, несколько раз выходила на ночное дежурство, но однажды утром, возвращаясь домой, раскашлялась и увидела на снегу кровь.

Она слегла всерьез, ей было совсем плохо, очевидно, что-то такое сказали врачи — сестра сообщила мне об этом на кухне, заваленной дровами. Я оттолкнул ее, знал твердо: с мамой ничего не может произойти, а

говорить об этом, в это верить, признавать такую возможность — предательство, способствующее такой возможности. Пораженная сестра села на дрова, принялась было ругаться, но притихла, поняла меня.

В Литературном институте сестра училась у Паустовского, ему очень нравились ее рассказы, казавшиеся и мне поразительно талантливыми, но работала она мало, ей было не до того, или пора не приспела; сдавала экзамены, приводила новых друзей, обычно рано утром, после "подготовки к экзаменам". Они приходили какие-то синие, тихие, съедали большую кастрюлю супа и расходились. Странными были эти молодые писатели; я запомнил только строчку одной поэтессы: "Воспоминанье как цепи звено воспоминания тянет звенья, ах почему забыть мне не дано твоих горячих губ прикосновенье..." Шел 1944 год, все на фронте — кто тогда учился в Литературном институте. Но для меня этот новый мир казался непостижимым, таинственным — прорыв куда-то. Наверно, в ту пору и шевельнулась мысль: что и я, что и мне, что, быть может, это и должно стать путем-дорогой.

Я учился в Горном институте, сначала на подготовительном, кончал десятый класс экстерном, потом поступил на первый курс на отделение шахтного строительства, выплакал перевод на геолого-разведочное отделение, был счастлив, но душа не лежала, по три раза сдавал математику, химию, начертательную геометрию; ухаживал в ту пору за старой школьной подружкой — был в нее влюблен еще с третьего класса! — а тут встретились, шел последний год войны, через день салюты, мы бегали втроем с приятелем, о котором я уже упоминал, на Красную площадь и, как выяснилось много позже, поочередно обжимались с моей любовью в подъездах. Но я был влюблен по-настоящему: звонил и бросал трубку, страдал и бывал счастлив. Но во всем этом было больше инерции и бессмысленности: не было идеи и собственной жизни — как у всех.

Однажды весной сестра пришла домой днем, а с ней странный человек небольшого роста, полноватый, в старой шинели без ремня, с голубыми чуть навывкате глазами, курносый, в незастегнутых штанах с бахромой.

Такого я еще не видел. А он, отодвинув чашку с кофе и проглотив бутерброд, подсунутый мамой, принялся читать стихи — мы потрясенно замолкли, молчали несколько лет, пока Эмма ходил к нам, до тех пор, пока однажды за ним не пришли в общежитие их института и не увезли на Лубянку.

Евтушенко написал о Манделе (Коржавине) в своей "Автобиографии", вышедшей в Париже и наделавшей тогда, в 1963 году, много шума. Эмма рассердился, перепугался — время было неясное, понять его можно. Но Евтушенко написал правду, говоря о том, что значил Мандель в ту пору в Москве, хотя знать его не мог, когда таким, каким он пришел к нам, Эмма ходил из квартиры в квартиру — единственный живой человек среди толпы мертвецов и автоматов, обрастал друзьями, поклонниками и поклонницами, диким, сотрясавшим стены голосом читал стихи, в которых судьба декабристов внезапно переставала быть иллюстрацией из учебника истории, смыкалась со строками о судьбе врагов народа, о романтике, растоптанной сапогами тех, кто нажимал ночью кнопки звонков: "И я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах..." — кричал Мандель. Дребезжали стекла, в комнату заглядывали мои перепуганные тетки, но остановить Эмму было невозможно: "Но в сердце, где червь, ведь ножом не ударишь, но муху на лбу ведь нельзя топором! А мне его тронуть нельзя — знамена..."

Я цитирую наизусть, запомнив эти строки на всю жизнь с тех самых пор, и пусть Эмма простит меня, если ошибаюсь, цитирую вперемежку, не привожу стихи полностью.

Он очень много значил в моей судьбе, и я пишу здесь об этом прежде всего потому, что понимаю — тогда, в

1944 году, он меня не заметил, я был одним из его многочисленных слушателей. Он завораживал полнейшей путаницей в голове: кожанки, переkreщенные пулеметными лентами, и тачанки перемешивались в его стихах с автомобилями, увозившими по ночам людей, гремевшими ночью звонками, от которых "дети просыпались и вскрикивали женщины со сна". "А город спал, и наплевать влюбленным на яркий свет автомобильных фар, пока цветут акации и клены, роняя аромат на тротуар. Я о себе рассказывать не стану, у всех поэтов ведь судьба одна, меня всегда считали хулиганом, хоть я за жизнь не выбил и окна. А южный ветер навеваает смелость, я шел, бродил и не писал дневник, а в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг. Романтика, растоптанная ими, знамена пропаленные в боях. А я ходил в акациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом..."

Были стихи о любви — белые и рифмованные. Эмма ходил из дома в дом с красивой и стройной девушкой, все глядели на нее, когда он читал стихи о любви, на радость хозяевам позабыв о политике, но тут же обрывал себя, влезал в новый спор, все замолкали, и Эмма неизменно побеждал в такой односторонней "дискуссии". Я наблюдал его в баталиях с несчастными поляками, приходившими к тетке Зосе — куда им было, умиравшим от ужаса от одного взгляда на позабывшего о реальности Эмму, в пяти минутах ходьбы от Лубянки, — в квартире у теток, сотрясавшего стены выяснением противоречий между дорогой его сердцу революционной романтикой и воплотившим "трезвый век" вождем: "суровый жесткий человек — апостол точного расчета".

Наверно, это были не очень хорошие стихи, они остались такими же спустя десятилетие, когда Эмма вернулся из ссылки, пришел ко мне, а потом, в столовой на Кировской, позабыв про сидящих рядом за столиком, читал все тем же, ничуть не изменившимся голосом стихи о смерти Сталина и его похоронах: "...В тяжелом

мутном взгляде Маленкова неужто нынче вся твоя судьба?..” (речь шла, естественно, о судьбе России). Я опять был потрясен, впрочем, быть может, и количеством слушателей — все-таки было самое начало 1956 года, о XX съезде никто не помышлял, а сидели мы напротив внутренней тюрьмы на Лубянке.

У нас не было равных отношений с Эммой, я всегда любил его, пережив восторженное юношеское поклонение. ”Попробуй, — говорил я ему, — напиши на стенах строки Пастернака — никто внимания не обратит, а твои стихи станут знаменем!” Шло время, я читал книжки, начинал понимать, что едва ли стихи вообще следует писать на стенах. А Эмму такое охлаждение, видимо, коробило. А быть может, он просто ушел из моей комнаты — и это вернее всего, в другую, да и друзей у него всегда бывало предостаточно.

Я убежден, что Коржавин-Мандель останется в истории отечественной литературы — литературы, подчеркиваю я (а не мысли, по словам Евтушенко), как явление чистое и свежее, его влияние на русскую поэзию нового времени для меня несомненно, при всем его стихотворном примитиве и том, что его современниками были Пастернак, Заболоцкий и Ахматова, что именно тогда мы узнавали Мандельштама и Цветаеву, что его ровесники могут виртуозно рифмовать что угодно про что угодно, а младшие коллеги по части смелости словно бы давно все превзошли. Дело здесь не в стихе, не в смелости, даже не в том, что Мандель часто бывал не самостоятелен, а Коржавин почти всегда чудовищно небрежен — в естественности его несомненно поэтического стремления постичь правду и суть происходящего, выплеснуть свою сумятицу и путаницу, решить ее на миру, безо всякой игры и политиканства. И потому поэты, жившие рядом с ним и добивавшиеся успеха, проваливались куда-то, исчезали, несмотря на мнимый успех, ломались и растрачивались в невозможной попытке перехитрить время и поэзию. Эмму это не

интересовало. Его жизнь, ставшая поэтическим подвигом, завершила то, что он не сумел сделать в стихах.

Я помню его на одном поэтическом вечере в университете, как раз в ту пору, о которой пишу, незадолго до его ареста, в маленькой аудитории. Он сидел с какой-то милой девушкой на одном стуле — мест не было, сбросив ту же шинель, небритый и грязный. Кроме него, стихи читали Межиров, Луконин, кто-то еще. Или он в тот раз не читал стихи, только выступал в обсуждении: спорили о Межирове. В самом облике Эммы было что-то, чего этим ребятам и тогда уже не хватало: совершенно искреннее стремление понять, донести свою мысль, просто себя выразить. Они играли свою маленькую игру и проигрывали в любом случае, даже при конкретном успехе. А Мандель проявлялся просто, был сам собой — иначе он и не мог, но без такого поэзия, очевидно, немислима. Это сразу его отличало — личность, проявлявшая себя столь полно в пору, когда это казалось невозможным.

Самые знаменитые тогда стихи Эммы не оказались пророческими. Они назывались прекрасно — "Зависть": "Можем строчки нанизывать — посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь. И какие бы взгляды мы не старались выблискивать, генерал Милорадович не узнает Каховского. Хоть по мелочи биты мы чаще самого частого, но не будут выпытывать имена соучастников. Мы не будем увенчаны, и в кибитках снегами настоящие женщины не поедут за нами". Минут двадцать пять лет, чего только не было, но мы не только нанизывали строчки, выблискивали взгляды и давали себя бить по мелочам — мы не просто выжили, но смогли проявить себя, заявить о себе: разговор о соучастниках становится все настойчивее, на площадь нас вызывали, многие увенчаны. И генералу Милорадовичу есть над чем призадуматься, и настоящие женщины собирают вещички...

Для меня несомненно, что стихи Эммы — "Зависть" — к слову сказать, сыграли свою роль, пусть отрицанием

такого рода возможностей, горечью, нравственный заряд которой заставлял людей просыпаться, а проснувшимся не давал уснуть снова.

Было это двадцать пять лет назад, имеет отношение только ко мне, к моему восприятию поэзии Манделя, но я полагаю, эти строки не могут быть опрометчивыми.

В тот первый раз он зашел к нам мимоходом — сестра везла знакомить его с Паустовским, в Переделкино. Эмма читал там стихи, очень понравился, сестра свои рассказы, кто-то третий что-то свое, и Паустовский растрогался, расчувствовался — какая растет молодежь!

А мама, когда они уходили, шепнула сестре: "Но ведь это невозможно, скажи, чтоб он застегнулся, привел себя в порядок, — но какой талантливый человек!"

Я не умел писать стихов, как Мандель, наука меня не интересовала, как Стасика Андреева, к тому же, отчетливо ощущал, что связан по рукам и ногам, что существую благодаря недоразумению и недосмотру. Но согласиться и примириться с этим не мог, хотя не видел не только каких бы то ни было путей сопротивления, но и возможности отстоять себя. Что-то смутно протестовало во мне, к чему-то я должен был приложить свои силы, ощутить себя человеком, душевный опыт жаждал во что-то вылиться: для чего-то я родился, не только, чтобы перехитрить московскую милицию — прописаться, прописать маму, получить в университете диплом... Так уходят молодые люди во всякого рода движения, отдавая все, что у них есть, неведомому, подчиняясь заманчивому чувству, в котором сливаются азарт, риск, тщеславие, тяга к настоящему делу, благородные движения души и душевная ущемленность. Но нас в ту пору, действительно, никто не вызывал на Сенатскую площадь, и я понимал, а, вернее сказать, подсознательно, но достаточно отчетливо чувствовал, что так вот по

мелочам забьют вконец, что выход только один — соорудить некую крепость, в которой бы не просто отсидеться, но полностью выразиться, бросить все, что меня окружает, забыть и забыться, уйти в мир, где я буду хозяином и стоять буду столько, сколько в действительности стою, безо всяких скидок и допущений — по естественному счету и праву человека быть самим собой. Так вот одним прыжком, оставив мир, в котором я прозябал и пропадал, не дожидаясь, пока меня слопают и затопчут, — а что я мог противопоставить паспортным столам, анкетам, "готическому зданию ЦК", как писал Мандель? Забыть про них и оказаться в ином — своем собственном мире-крепости.

Я не настраиваю себя на торжественно-романтический лад, вспоминая об этом, пытаюсь всего лишь точнее выразить неосознанное, впрочем, ощущение, слившееся с чувствами вполне естественными. Их лихорадочность и страстность шли не только от природы и темперамента — пора приспела, срабатывал защитный автоматизм.

Люся появилась в нашей комнате, придя не ко мне — какие-то у нее были дела по соседству, потом возник общий интерес с сестрой: Люся училась на первом курсе, но в самом университете, на классическом отделении, у них с сестрой были общие разговоры об экзаменах, общих преподавателях, что-то еще. Я не обратил никакого внимания, хотя отметил ее на фоне белого кафеля голландки — хорошенькую, как лесной зверек. И откуда-то из другого мира.

А потом удивился, как все у нас восхищаются маленькой соседкой: жила в подъезде рядом, с одноногим дедом — георгиевским кавалером (увидел однажды, как он пристегивает железную ногу, а на груди серебряный крест), и бабкой — московской купчихой-мещанкой, красивой, видать, в свое время, развеселой дамой на пятнадцать лет старше деда. Жили они в точно такой же

квартире, как у теток, только общей — коммунальной, а потому загаженной, темной, с постоянно звонившими в дверь пациентами к врачу-венерологу, занимавшему первые две комнаты.

Люся к нам — к маме и к сестре — захаживала, и я привыкал, хотя по-прежнему не обращал внимания, пока однажды, уехав весной в Железноводск, первый раз на курорте, заболев, отказавшись от Горного института, замысливая университет, болтаясь без дела и без всякого смысла среди больных и скучающих дам, по цветущим горам малого Кавказа, не вспомнил ее по-новому: издали увидел это милое существо — и сломя голову бросился к берегу, показавшемуся мне спасительным.

Была весна, лето, вступительные экзамены в университет, провалы и надежды, расставания и встречи, разговоры — как плотину прорвало, и письма — бесконечные: из подъезда в подъезд, в университет на лекции, в Инту, куда она уезжала к родителям, из экспедиции на Черном море, когда плавал вдоль Крымского побережья, подыхая от непрестанно мучившего голодания.

В письмах я весь выразился — бесцензурно и бесстыденно: многостраничные описания, восклицания, вскрики и бесконечный анализ собственных ощущений. Это хорошая литературная школа, ее важно пройти в юности, чтоб не возвращаться (впрочем, тут рецидивы редки, а эксплуатация полученного навыка становится стилизацией и графоманством), научиться слышать, понимать всякий нюанс ощущения и мысли, не бояться бумаги, да и человеку робкому, "зжатому", где еще разгуляться, как не в письме, чувствуя, как то, что не удастся на деле, становится подвластным тебе в реальном сне эпистолярного общения. Я сразу научился главному в переписке: умению безошибочно нащупывать единственно верную ноту общения, внятную только корреспонденту, подчиняющую сразу и обеспечивающую письму успех.

У меня не было ничего, кроме этой любви, а когда человек молодой, полный нерастроченных сил, целиком — искренне и безоглядно бросается в такую страсть, когда нет у него не только задней мысли, каких-то видов, но и потребности хоть что-то выгадать и "сообразить", когда и вовсе нет ничего другого — ни дела, ни долга ни перед кем, когда и будущего нет и не дорого оно ему, а все, чем при каких-то иных обстоятельствах он мог бы занять свою жизнь, он готов с радостью и счастьем отдать этому своему чувству, бросить — оно, это чувство, не может не получить ответа, да и нет женщины, бегущей от такого.

А что было у нас? Нескончаемые разговоры, совместные книги, томление, университет, смешные вечеринки; я начал писать, беспрестанно графоманил, мы читали это вместе; ожидание возле университетской ограды, куда она подбегала вместе с покровительствовавшими нам четверья-пятью подружками — учеными девицами, постигавшими латынь и греческий (славные, добрые люди — я так рад бываю увидеть их теперь, спустя двадцать лет); и детская ревность, разрывающая сердце, и сладкое вино, и моя первая, уже упомянутая экспедиция на крымском побережье за пеламидой, первая разлука, которую я едва вынес, взвинтив себя до состояния безумия, а когда слепой гадалщик на керченском базаре по руке тут же определил мое смятение и тоску, его точное понимание привело меня в состояние еще более отчаянное.

Помню, в поезде из Москвы, забравшись на третью полку, я читал "Давида Копперфильда", закладывая страницы первым в моей жизни командировочным удостоверением, которое беспрестанно разглядывал. Все было кстати: и Диккенс созвучен дрожавшей во мне сентиментально-щемящей грусти от расставания на вокзале — я посылал телеграммы чуть не с каждой станции.

Потом было портовое Черноморье, ослепительные южные базары, чуть утолившая мое смятение морская

экзотика, так легко ложившаяся в книжные представления о ней. Воистину человек находит именно то, что ищет.

Я помню, как впервые увидел керченский порт, разыскал наше экспедиционное судно, долго кричал вахтенного, он не слышал, играл с дружкой в карты, они тут же обчистили меня, а я был счастлив — Грин, которого так любил, оказывается, ничего не преувеличил, не придумал, все было именно так, только еще прекрасней. Потом началась предотходная лихорадка, я вижу себя бегущим по пирсу с двумя огромными бутылками спирта — совсем чистым в левой и с чем-то добавленным туда "для промывания инструментов" — в правой руке, а за мной растет толпа ошеломленных бичей и работяг со всего порта. Их замешательство спасло меня от линчевания. Я вбегаю по сходням на свою палубу, но тут меня ловят и, преодолев робкое сопротивление, заводят в пристройку ("с командой нельзя ссориться!"), отливают из каждой бутылки в какие-то склянки. Потом отвальная в кают-компании, я пью сначала с начальством — я лаборант, спирт чистый, потом с командой, которая мне уже покровительствует, а я готов умереть, чтоб доказать свою любовь к ним — мы пьем спирт явно из "другой" бутылки; я уже не слышу звонков, последней суеты, а мы уже отошли, я в полном беспомыслии и опоминаюсь, осознав себя возле борта: берега нет, мы давно в море, а я готов помереть от стыда, слабости и тошноты.

Это был действительно прекрасный рейс, но я запомнил немного: постоянную голодуху, любовь и восхищение окружающим, почту в каждом из крымских прибрежных городов, где я толкался возле окошечка "до востребования" или отправлял очередное послание, вдохновенно сочиненное в море. Однажды, разорвав конверт и увидев первую фразу — обращение ко мне, я так взволновался, что бросился в порт, на наше судно, в свою каюту, чтобы там, запершись, насладиться письмом в одиночестве. Судно как раз отходило. Я закрыл каюту,

полез в карман — письма не было. Я бросился обратно, прыгнул на пирс, когда уже отваливали, и, не обращая внимания на крики с борта, помчался на почту — письма нигде не было, я повесил в городе (в Ялте) объявление о вознаграждении тому, кто его вернет, но его не вернули. Я телеграфировал Люсе: "Возможности восстанови написанное..."

И так все это ложилось на впервые открывавшееся мне море, весну, морячество, что голодуха, страшная картина уже с весны выжженного, замершего в ожидании голодной зимы Крыма (был 1947 год), бессмысленность нашего плавания (мы искали пеламиду в море, у нас были приборы, сети и хитрые инструменты, а увидели ее только на базаре в Евпатории, и наша начальница бросилась ее тут же измерять и записывать свои "наблюдения") — реальность прошла мимо меня и меня не задела.

Романтическая детскость моего мироощущения в ту пору не была, между тем, просто инфантильностью — свойством субъективным, но несомненно явилась результатом замороженности по причинам, скорее, социального характера. Я проходил естественные для человека стадии, в свое время задержавшись, с опозданием, но они не становились от этого неестественными или нелепыми.

Помню потешную историю, случившуюся со мной еще в поезде, во время пересадки в Джанкое. Ко мне с самой Москвы прилип верткий мальч, лет на десять меня постарше — служивал и покровительствовал, а я, переполненный переживаниями, с трудом сдерживая слезы от финальных страниц "Копперфильда", был ему благодарен за внимание и, как мне казалось, сочувствие и понимание.

В Джанкое ждать поезда в Керчь надо было часов пять-шесть. Мы вместе взяли билеты и он попросил меня отдать в камеру хранения его чемодан, ему надо было "забежать в магазин". Я гулял по пыльному городу, отправил еще одну телеграмму, тосковал и хотел

поскорей "до места", а когда пришло время и я двинулся за багажом, меня ждал милиционер: вместе с ним и двумя чемоданами мы отправились в железнодорожное отделение.

Я ничего не понимал, мне приходило в голову все что угодно, кроме того, что было на самом деле.

В комнате набилось много людей, все с любопытством смотрели на меня, а я бубнил: еду в командировку, мне нельзя опоздать на поезд...

Наконец, пришел начальник: "Фамилия, откуда, куда..." Я совсем сник, больше всего боялся специальных расспросов — в любой ситуации всегда бывал не прав.

— Итак, один чемодан, как вы говорите, не ваш? А все-таки, что в нем?

— ?

— А что в вашем?

Я принялся перечислять свои пожитки.

Открыли. Собственный чемодан всегда кажется особенно жалким, убогим, когда смотришь чужими и любопытствующими глазами — да и что у меня были за вещички!

— Так. А этот, большой, значит, не ваш?

Открыли и его. И тут я, несмотря на всю свою глупость, понял, что на сей раз погиб и погиб навсегда.

Чемодан был набит дамскими сумочками, чулками, какими-то флаконами, чем-то еще.

— Все ясно, — сказал начальник. — Посидишь — подумаешь.

Он, быть может, и понял, что я тут ни при чем — да не все ли равно, понял он или нет, ему, что ли, сидеть и думать, а мне это было уготовано.

Но я отчетливо помню, что меня потрясла в первое мгновение даже не эта неожиданная, хотя и совсем реальная перспектива — завершение первой в жизни командировки, а то, что малый так предательски меня обманул: славный человек, так мне сочувствовал, я его успел

полюбить, доверил свою откровенность, а он — Бог с ним, что он жулик или спекулянт! — но подсунуть вместо себя...

Но любопытно, что, несмотря на всю эту белиберду, у меня все-таки было чутье и понимание людей! Чемодан закрыли, переписав все, что в нем, насчет меня распорядились — но тут распахнулась дверь и вошел мой приятель.

— Не трожьте парня, — сказал он и на меня не поглядел. — Мой чемодан.

Так и должно было случиться где-нибудь у Диккенса или у Грина, но это случилось в Джанкое, весной 1947 года, и запутало меня окончательно.

Теперь-то я понимаю (я встретил своего героя дней через десять в Керчи — прогуливавшегося и очень жизнью довольного), что вернулся он тогда не ради меня, жалко было так просто, за здорово живешь, швыряться товаром: был убежден, что всего лишь поделится с начальником — ну, коли так, легко выкрутился. Но тогда для меня — влюбленного, всего в литературе, несмотря на свой словно бы непростой опыт, только открывавшего жизнь и ею восхищавшегося, это было лишь подтверждением ее книжной реальности.

Помню, я выехал дальше, в Керчь, ночью, посадив на место своего спасителя мужика, не успевшего раздобыть билет. Мы ехали вдвоем в купе мягкого вагона, мой попутчик очень мне сочувствовал — прекрасный человек! — костерил жулика, который чуть было меня не упек, я слабо его защищал — он же меня и спас! — делился с новым другом прекрасной едой: мама снабдила в дорогу на целую неделю. А проснулся ночью от громкого чавканья и в темноте долго не мог понять, что происходит. Потом зажег свет: мой попутчик в подштанниках, присев к столику, с всхлипыванием и со свистом добивал мой запас.

Но разве можно было такой ерундой прошибить мое восторженное состояние — проголодался человек!

Я возвращался в Москву из Евпатории, оставив судно неподалеку, в Ак-Мечете: пелаамиды не было, дела тоже никакого, но экспедиция должна была функционировать еще месяц в Крыму, потом подалась на фрукты — на Кавказ. Но у меня уже не хватало сил этим наслаждаться, хотя уговаривали отдохнуть, подработать: Люся сообщила, что экзамены кончаются, оставался последний — и уедет к матери в Инту, значит, успею я в Москву, могу ее повидать, увидеть, а то еще целый месяц-два разлуки. Я позабыл думать о Черном море, Кавказе, бросился в Евпаторию на попутных машинах, а там, убедившись, что билета не достать, на крышу вагона, на фартукá, и только за Харьковом девчонки-проводницы затащили меня, с глазами, залепленными грязью, в вагон ("сбросят ведь дурака!"), и я доехал в мягком, просидев сутки за столиком в коридоре.

И прямо с вокзала в наш дом, но в другой, не в свой подъезд, с пропахшим вяленой рыбой мешком, в котором хранились увядшие розы с Крымского побережья.

Мы поженились с Люсей спустя два года, она кончала университет, а я, значит, сдавал за четвертый курс. Была свадьба: Люся в белом платье, родственники с той и с другой стороны, ее девчонки из университета, Стасик, как и положено, перебравший, а когда его утихомирили, заснувший на сундуке в коридоре, а потом наша смешная детская жизнь — все не всерьез.

Люся сдавала последние экзамены, мы вместе писали ее дипломную работу о Менандре, и старичок Радциг, поставивший ей четверку, был ошеломлен полемическим каскадом ее ответа, опровергавшим каждый пункт в его претензиях, прочитанный Люсей с темпераментом и страстью, с нажимом на местах, совсем старика "уничтожавших". Я ревниво следил за ее декламацией — все-таки это был первый мой полемический опыт, а старики единодушно поставили ей "отлично". Радциг что-то

пропел по-гречески, и мы поехали на Инту отдать визит родителям.

Или это было до ее защиты, ранней весной, во всяком случае, сразу же за Котласом, по обеим сторонам железной дороги открылась белая тундра, затянутая колючей проволокой. Это врезалось в память — производило жуткое впечатление. Поезд шел от Котласа до Инты что-то долго — двое или трое суток, и не было перерыва, проходов между лагерями, переходившими один в другой: Печора, Кожва, Ухта... А там, за Интой, еще двое суток до Воркуты, а там до Салехарда через Северный Урал сколько еще пилить, ехать, топать, ползти... Полнейшее безлюдье вдоль полотна, и если бы не черные вышки, вносившие некоторое оживление, свидетельствуя о том, что все это дело рук человека, то и колючая проволока могла бы показаться принадлежностью и своеобразием пейзажа.

У Люси тоже все было не просто. Мать разошлась с отцом до ее рождения: Коля Давыдов, лихой рубака — на фотографиях красавец-командир, обвешанный бомбами, с огромным маузером, промчался через Каширу по своим отчаянным большевистским делам и задержался только затем, чтоб навести в городе революционный порядок и соблазнить шестнадцатилетнюю красотку. Была пышная "красная свадьба", все по чести, но он тут же умчался дальше, потом жил где-то в Средней Азии, там и умер от чахотки, счастливо избежав несомненно дожидавшейся его в тридцатых годах расплаты. А за оставленной молодой женой еще прежде ухаживал тихий, скромный человек постарше, он не оставил ее беременную, и эта его преданность ее подкупила, хотя они были очень разными людьми: он человек глубокий, спокойный, она взбалмошная и одновременно деловая. Она родила ему вторую дочь, а потом, когда его в начале тридцатых годов посадили, по всей вероятности, в связи с процессами специалистов — был он инженером и, надо думать, отличным, она поехала к нему, как только он вышел из лагеря

в 1940 году и остался вольнонаемным — уехать не разрешали.

Он строил электростанции в Ухте, потом в Инте — был начальником строительства, это давало льготы при полном беспрепятствии и понимании временности такого рода преуспеяния.

Все это в Люсе как-то укладывалось, уложилось безо всякой сумятицы и путаницы — естественное и трезвое понимание своего, хотя и ужасного мира. Цельность была в таком, никак не головном, а само собой сложившемся понимании того, на что я тратил силы и сердце. Да и хорошенькая она была очень, смешная и одновременно серьезная, легкая.

Конечно, начиналась ранняя весна, когда мы туда поехали: ночи совсем не было, день начинался сразу, стоило чуть-чуть потемнеть. Но мела метелица, и никогда не забыть вечерний спектакль в интинском театре, директором которого была моя первая теща (она перетаскивала "к себе" актеров из всех ближайших лагерей и хвасталась своими знаменитостями).

В тот раз давали "Веселую вдову", меня повели после спектакля за кулисы, актеры — еще в гриме и ярких тряпках, усталые и возбужденные, делали вид, что им страшно интересно познакомиться с директорским зятем, расспрашивали про Москву, а я чувствовал, что им ни к чему, что им есть о чем между собой поговорить и о чем без меня подумать.

Мы задержались в директорском кабинете, а когда вышли, было совсем светло, но как бывает белой ночью — свет неверный и призрачный. На улице мело, и тут раскрылись двери, черные — "служебный вход", подошел конвой с собаками, вывалились что-то галдевшие актеры, сразу притихли, раздалась команда, звякнули винтовки и знакомый голос, слышанный только что на спектакле, неожиданно звонко и отчаянно запел: "Пойду к Максиму я..." Кто-то засмеялся, начальственный голос строго, перекрикивая, рывкнул, и уже

только взвизги собак, позвякивание винтовок и нестройный топот. Они ушли.

Мы жили в Инте неделю, но столько я наслушался тогда лагерных историй — это был новый, огромный послевоенный лагерь, в котором смешение человеческих судеб создавало самые дикие ситуации: старые вечные эски, посадки еще до тридцатых годов, тридцатые годы, военнопленные, женщины за связь с немцами и просто побывавшие в оккупации, девочки, отсидевшие срок за пятнадцатиминутное опоздание на службу, и изуверы-каннибалы. И все это вместе, вперемежку, безо всяких перспектив и при полном неконтролируемом никем произволе лагерной администрации, игравшей на неизбежных при такой пестроте трагических конфликтах...

Я как-то даже не повзрослел, а постарел за эту неделю в Инте, и когда поезд тащился обратно до Котласа, совсем иными виделись мне вышки и колючая проволока, замыкавшая все обозримое пространство — еще снежную тундру. Да и дальше, вплоть до Москвы, непросто было прийти в себя и ото всего этого отмахнуться.

Я учился в университете, но студенчества как такового, со всеми его традиционными русскими атрибутами, у меня не было. Все-таки я был заочником, зависел только от самого себя, да и любовь к Люсе целиком меня занимала — не оставалось времени ни на что другое. Я сдавал экзамены, читал книжки, графоманил, но все это странным образом не имело никакого отношения к тому, что я уже знал и видел, шло от прочитанных книг, раньше всего, от Леонида Андреева, Грина, Гофмана — вот где существовала для меня среда и мир искусства. Это и было литературой, а русский реализм, неотличимый от жизни, меня не занимал — я полагал, что и так все знаю о жизни, старался забыть про нее.

Такой же, вероятно, потешной, как и мои литературные опыты, была моя первая студенческая работа о Толстом и Гаршине. Я выбрал тему, потому что любил и знал Гаршина, а уже потом, для этой работы, прочитал Толстого, пришедшегося на гаршиновские годы — и вышло толстовство: "Исповедь", соединение, перевод и изложение Евангелия, "В чем моя вера" — весь том религиозных сочинений.

Помнится, работа к тому же была написана ритмической прозой, с какими-то, как мне казалось, открытиями и прозрениями. Все-таки я был совсем один, ни с кем не разговаривал и читал книги только случайные.

Я напечатал работу на машинке и позвонил Гудзию, попросил посмотреть ее. К тому времени она мне надоела: был нужен зачет. Он прочитал быстро, назначил встречу, и тут я взволновался, когда попал в профессорскую квартиру на Грановского, где меня совершенно перепугала очкастая девица — студентка или аспирантка, строго спросившая: "Вы толстовец или древник?" (Гудзий вел семинары по Толстому и древне-русской литературе). "Я просто заочник", — ответил я, понимая, что у меня и права нет разговаривать с этими высшими существами. Потом появился Гудзий, обласкал меня, с полчаса расхваливал за стиль и свободу, за явные ему литературные способности, за что-то еще, я уже ничего не слышал, обалдев от неожиданности, позабыл дать ему зачетную книжку, а выйдя за дверь, уселся на ступеньки в подъезде и захлеб сам себе прочитал свое сочинение.

Возвращаться к Гудзию я не решился, плюнул на зачет — мне и так было хорошо, тем более, я надавал много экзаменов вперед. Но на следующий год этот зачет мне понадобился и я отдал свою работу в семинар Абрама Александровича Белкина — в списке предложенных им тем была близкая или просто та же самая. И здесь меня крепко наказали.

У Белкина был настоящий семинар без профессорского барства — нормальные занятия в университетской

аудитории. Прочитав мою работу, он сказал, что ставит ее обсуждение на следующем занятии. Я неизменно возгордился, хотя уже не помню, что мне мнилось за таким бурным успехом.

Я прочитал свое сочинение, спотыкаясь и захлебываясь, проглатывая слова, при полном молчании аудитории ("восторженном" — как был убежден). Белкин остановил меня только один раз, попросив еще раз прочитать цитируемое мной и так славно ложившееся в стиль работы стихотворение Надсона: "Все-таки поэт, хоть и Надсон", — сказал Белкин, но этот его зловещий юмор меня еще ни к чему не подготовил.

Я ходил в перерыве по извилистому, набитому красотками коридору факультета, натываясь на всех, и смеялся от переполнявшей меня гордости: я заочник, сам по себе, а сразу им всем показал, что значит настоящая работа! Потом началось такое, что мне и сейчас жутковато вспоминать. Они не просто меня разругали, они меня уничтожили, стерли в порошок, затоптали — спокойные юноши и девицы в очках, небрежно, наизусть что-то цитировавшие, знающие, что такое литературоведческий анализ и множество поразивших мое воображение, заставивших сразу сдать ся, ученых слов и терминов. Белкин, с трудом сдерживая улыбку, руководил этой экзекуцией и был очень доволен своим семинаром. Поделом было: я не знал элементарного, не знал книг, в том числе специально посвященных моей теме, а моя гордость — ритмическая проза, разработанное в письмах умение точно передать собственные ощущения, скрывало здесь, по всей вероятности и прежде всего от самого себя, — отсутствие мысли...

Это был жестокий урок, но мне не тяжело об этом вспоминать, хотя тогда я был убит. Я рад, что узнал Белкина, с удовольствием слушал потом его лекции, мне думается, самые живые в ту пору на факультете. Недаром он поплатился за эту живость и за то, что был Абрамом Александровичем, еще через год, когда при помощи

моих однокашников-семинаристов и активистов-комсомольцев в пятидесятые годы на обсуждениях-судилищах громили университетскую профессуру, вспоминали обмолвки и смаковали подробности поведения любимых профессоров.

Слава Богу, я не присутствовал на этих зловещих спектаклях: действительно был заочником, да и дела мои так сложились, что было не до университета. Гнусное, конечно, это было заведение — московский университет: воинствующе-бездарное, с измученными, ко всему привыкшими профессорами, готовыми, коли надо ради сохранения своего жалкого места, продать родного отца (не говоря о науке). А те, кто хоть чем-то выделялся — хотя бы живостью даже не мысли, а изложения в пределах разрешенного и бесконечно усекаемого круга тем и проблем, изгонялись, сама такая акция становилась воспитательным моментом, формируя рабское сознание, пробуждая далеко не лучшие инстинкты, широко поощряемые и поддерживаемые. Так в те годы университетские мальчишки начинали свою карьеру, шагая потом из курсовых комсомольских бюро в университетский комитет, а дальше в горком и в ЦК на Маросейке. Наверно, их много сейчас на Старой площади — мои ровесники входят в силу. У них была хорошая школа в конце 40-х — начале 50-х годов, они прошли ее успешно, получили первую закалку; я убежден, что участники той охоты и сейчас высоко котируются и находятся при деле. Поэтому меня всегда поражает умиление студенческими годами той поры — *alma mater!* — проскальзывающее в воспоминаниях и сочинениях даже молодых людей — тех, кто учился в московском университете в те же самые годы. Едва ли они могли забыть чудовищную атмосферу бездарности, наушничества, маленького карьеризма и начетничества. А может, не забыли, а не хотят вспоминать: память легко отодвигает неприятное, требующее анализа, понимания собственной вины и ответственности за все, что тогда происходило. Никто

ее с нас не снимет, не забудутся собрания, персональные дела, омерзительные статьи в красочных факультетских газетах — школа предательства, провокации и демагогии, которую успешно проходили нынешние чистенькие либералы, с виртуозной легкостью научившиеся забывать о своем студенчестве, если оно мешает их нынешнему либерализму и внутреннему комфорту. Но мне важно не обвинить, скорей, напомнить, что сознание вины и перед самим собой покаяние — это возможность идти дальше, тогда как забвение и способность отмахнуться, сославшись на внешние обстоятельства, хотя бы на то, что был молод и глуп, оправдаться непричастием — неминуемо увеличит вину, она обвисает, мешает двигаться, а в конце концов губит человека.

Однажды я попытался пристроиться на факультет — мне надо было работать, а на кафедре как раз освободилось место лаборанта. Помню беседу перед оформлением — с партторгом, доцентом Уховым, человеком устрашающе мрачным. Он сочувственно слушал, пока я, почему-то в конце, не преподнес ему своего родителя: он глянул на меня единственным глазом, заметно заскучал, встал и, ничего не сказав, вышел из комнаты. На этом моя служебная карьера в университете закончилась.

Тогда, а вернее, чуть раньше, мы встретились с Марком Щегловым. Это было важно для нас. И отозвалось в нашей судьбе.

”Ах, Феликс, Феликс, как хорошо, что нас столкнуло в свое время на университетской скамейке...” — писал мне Марк в одном из писем. Верно, это было хорошо для нас, и то, что между нами происходило в течение десяти лет — до сентября 1956 года, несомненно кристаллизовало разбросанные и разрозненные чувства, ощущения, неоформившиеся мысли. Поздновато все это в нас произошло, но важно, что оно состоялось.

Случилось это, наверно, глубокой осенью 1946 года, Марк первое время на занятия не ходил, болел, а на экзаменах мы встретиться не могли — я сдавал не с ними, а в педагогическом. А потом заметил: открытое лицо, живое и веселое, располагающее к откровенности и на нее готовое, и все это несмотря на явную физическую немощь, костыли и все остальное, чего для меня, впрочем, не существовало. Я поразился, прочитав у Лакшина про "горбик" у Марка, и понял, что не смогу так о нем написать: мы просто любили друг друга, отношения у нас были равными, так все сразу завязалось, а горб у каждого из нас свой.

Однажды мы действительно оказались рядом на задней скамейке, в маленькой аудитории, наверху, на филологическом. Был ясный осенний или зимний уже день — помню солнце, воскресенье — заочники занимались в воскресные дни и вечерами, два раза в неделю. В тот раз шло занятие по языку, может быть, историческая грамматика, но разговор у нас — шепот! — начался сразу о поэзии. Наверно, приводился стихотворный пример для разбора, он и кинул нас друг к другу. Уже минут через десять я читал ему в ухо стихи Мандела, не называя пока автора, а он ошарашенно на меня глядел, не веря и расцветая от того, что такое пишется, что может быть такой взгляд на то, что вокруг происходит, благодарный мне за доверие и откровенность. Мы вышли вместе, долго брели мимо университетской ограды, американского посольства, к Охотному ряду, потом вверх по Тверской, а я выворачивался ему, спешил поделиться всем, что было, и он, помню, только ахал, останавливался передохнуть, блестел счастливыми глазами, переспрашивая и про себя повторяя, бормоча.

А потом исчез — не пришел на следующее занятие и еще через неделю. Тогда мы и пришли к нему в комнатку-пенал, бывшую ванную, на Электрический.

Прошло тринадцать лет с тех пор, как Марк умер. Неонила Васильевна, его мать, при каждом свидании

укоряет меня, что не написал ни строки о Марке, напоминает других приятелей, выполнивших свой долг. Я не могу ей объяснить, почему до сих пор этого не сделал, почему не хочу и пытаюсь печатать написанное. Это как выступление на панихиде: боль слишком свежа, каждое слово фальшиво, неверно, не то — о любви лучше молчать. К тому же всякий разговор о Марке — для меня разговор о себе, а первые годы после его смерти, да и сейчас, все еще якобы важно, исходя из частных и не имеющих отношения к делу соображений, создавать легенду, продолжать подбрасывать в этот костер хитро отобранные поленья. Мои поленья и мой жар другого сорта.

”Мы с тобой в лагере Добра — прирожденно, — написал мне Марк на Сахалин, — и это во всяком случае предопределяет все наши раздумья и поступки...”

С легкой руки В. Лакшина, опубликовавшего это письмо в ”Новом мире” без указания корреспондента Щеглова (оно называется в журнальной публикации ”Письмо другу” — некое литературное произведение) эти слова эксплуатируются кем ни попадя. И вот уже редактор ”Комсомольской правды” пишет статью, вынося их в заголовок, кто-то еще и еще. И все запутывается, потому что дело даже не в том, что редактор ”Комсомольской правды” — человек мне, скажем, чужой, это мы с Марком в лагере Добра находимся прирожденно (так он полагал, пища это письмо ко мне)! Это существенно прежде всего для нас с ним, выражает, быть может, самую изначальную, к тому времени уже осознанную ступень в собственном развитии, мироощущении и приложении сил. Осознать это было невероятно важно, мы начинали буквально ни на чем, оторванные в силу общих для нашего поколения причин вообще от культуры и традиции, передвигаясь в пустоте, ощупью, а, обозначив главное — разговор об элементарностях, как говорил Марк, или, как я счастливо сформулировал — (никак не банальность тогда для нас!) об а з а х, мы и двинулись дальше, имея за спиной нечто реальное, почувствовав Добро своим лагерем, крепостью, в

которой мы отсидимся при случае, куда всегда можно возвратиться, а вылазки в мир и есть наше дело — как рыцарей, гарольдов и провозвестников этого самого, не до конца осмысленного, всего лишь прочувствованного, но добра.

Это было уже кое-что, но сформулировалось, собралось и сложилось оно не сразу. Все-таки десять лет, с перерывами на то время, что Марк лежал в больницах, а я болтался на Дальнем Востоке, мы терлись друг об друга. А в дни разлук были письма, делавшие порой даже больше явного общения.

Наверно, было серьезной ошибкой публиковать юношеские дневники Марка Щеглова и отрывки из его писем ко мне, или делать это следовало иначе, тщательно, глубоко — серьезно их комментируя. А я, устранившийся от этого, передоверивший мое дело, — несу за него ответственность. Явление Щеглова в нашей критике, литературе пятидесятых годов (с 53-го по 56-й) было феноменом, который не только объяснить не могли его дневники и слащавые о нем воспоминания, они вообще смазали и отбросили его значимость. А мы не так богаты, чтоб швыряться явлениями подобного рода, а с другой стороны, не так оно по масштабам русской культуры значительно, чтоб могло на такую, скажем, неудачную аранжировку не обращать внимания и не реагировать. Не говоря о стороне этической — все о тех же элементарностях.

При всякого рода публикациях, коль они состоялись, при разговоре о Щеглове важно было дать возможность читателю, прежде всего, разобраться, как стало возможным, что молодой человек, бряцающий порой (даже в собственном дневнике) бессмысленными комсомольскими словами и пустенькими, хоть и литературно оформленными чувствами, юноша, чья инфантильность, оправдываемая, впрочем, тяжким недугом, грозила превратиться в слащавое пустозвонство — как случилось, что вся эта, скажем, милая поверхность обернулась

зоркостью и глубиной, бескомпромиссностью, четко сформулированным неприятием всего, что, складываясь, и создает структуру нашей жизни. От статей об Осипе Черном и Грацианском до разговора о реализме современной драмы. И это тем более сильно, что до конца не было им осознано и осмыслено — отсюда ощущение органичности сказанного, таланта, прозревающего истину, еще не понимая ее.

И это было бы правдой о Марке Щеглове, коль решить, что она важна. Тогда как в восклицаниях об инвалиде на костылях, провалившемся всю свою тридцатилетнюю жизнь на больничной койке, виртуозно игравшем на балалайке, к которому, не считаясь со временем, советские профессора ездили на дом принимать блистательно сдаваемые им экзамены, а потом сочинившем несколько громких статей — в такого рода напоминаниях есть нечто нестерпимо фальшивое, порочащее жизнь и судьбу моего товарища, а говоря объективно, искажающее сделанное Щегловым в нашей литературе.

Меня оправдать может только то, что оглушенный полученной из Новороссийска телеграммой о смерти Марка и всем, что за этим последовало: появление в Москве его безумной матери, поселившейся на первых порах у меня, а потом ее одна, другая, третья психиатрические больницы, годы в Кащенко, в отделении для хроников, безумные старухи, смеющиеся и плачущие вокруг при каждом нашем свидании, и сама Неонила Васильевна, культивирующая в себе болезнь и истерику... И понятное, еще юношеское — все-таки был только 1956 год, самое начало — желание хоть что-то сказать о Марке, напомнить, увидеть напечатанным, а потому радость и благодарность к самому из нас молодому, по-деловому энергичному, трезво и спокойно взявшемуся за этот непростой труд — и на здоровье, пусть, побольше бы страниц, тем более Неониле Васильевне радость и деньги... Забвение о том, что у покойного существовала собственная воля, которой было так просто

проникнуться, логика своей судьбы, которой он всегда оставался верен, завещая друзьям по крайней мере уважать ее.

Тон наших отношений с Марком с самого начала был взят такой высокий, что, оставаясь ему чуть не до самого конца верными, мы порой не выдерживали и давали петуха. Была некоторая условность в нашем обозначении мира, которая не столько отражала его восприятие, сколько оставалась верной понятной только нам, однажды усвоенной стилистике. Отсюда невозможность такого рода публикаций, искажающих облик корреспондента, увеличивающих в конкретном случае вполне законное недоумение от такой резкой метаморфозы — от высокопарных писем к трезвым статьям. Непонятное в таких публикациях ощущение счастья и полноты жизни от обретенной радости осознания самой возможности такого общения и дружбы, о которой каждый из нас только мечтал, не веря в мыслимость ее осуществления в предложенных нам обстоятельствах.

“Как бы это, дорогой, подвиг совершить, дабы очиститься, оправдать существование? Какой-нибудь, знаешь, картинный, праздничный и верный поступок! Что-нибудь не меньше, чем спасение отечества или смерть за жизнь!..” — это Марк писал мне на Сахалин. А я ему: “Понимаешь, как нужно дьявольски много сделать, успеть, хотя бы отдаленно, но главное стараться встать вровень с людьми, с которыми мне вот здесь пришлось столкнуться. Ты и вообразить не можешь себе истинную нравственную высоту, на которую мы карабкаемся, задыхаясь, а для них она естественна, да и не высота она для них вовсе, а просто жизнь...” Этот тон и пафос, порой чуть ли не экзальтация, могут вызвать сейчас улыбку недоверия, насмешки, тогда как они всего лишь свидетельство естественного, нормального проявления человеческого существа, или, скажем иначе, определенной ступени его развития. Говоря словами Герцена о дружбе, следует “благословлять судьбу”, пославшую мне именно

в ту пору столь близкого товарища, общение с которым, научившее открывать сердце, давало опыт подлинной духовной близости, свидетельствовало одновременно о душевной щедрости и о счастливо удовлетворяемой ответной потребности в сердечном тепле и близости.

Писем этих множество, мы словно специально разъезжались, чтобы забрасывать друг друга словами, которые говорить бы, наверно, постеснялись. Когда-нибудь надо будет издать эти письма (опубликованы только обрывки, на что-то там намекающие), это должно быть интересно — распахнувшаяся форточка в том затхлом и жутком мире, где все мы задыхались.

Впрочем, коль речь о наших письмах, неверно представлять их только восклицаниями или, по преимуществу, объяснениями в любви, в них много ироничности, горечи, порой даже отчаяния. Но все это как-то светло, несмотря ни на что, была надежда, молодость, убежденность в собственных силах и предназначенности, и так все сходилось, хотя Марк много писал о смерти, постоянно о ней думал, а я подбавлял ему житейского материала — для радости словно бы совсем не оставалось места.

Помню наши нескончаемые разговоры в комнате у Марка, начинавшиеся днем, а кончавшиеся далеко за полночь, сначала, в первые годы, трезвые, а потом все более откровенно пьяные. И то, как он умел радоваться — расцветал и потирал руки: выпивке ли, хорошо зажаренной яичнице, стихотворению, книге, красивым глазам, шутке или музыкальной фразе. Поездки к нему в больницу, в санаторий за Подольском: мокрый лес, грязная дорога и еще долго не замолкавший во мне его голос, забытый аргумент в споре, который надо бы кинуть, уже в поезде начатое письмо, открывающееся с этого найденного "на лестнице" аргумента. Никогда не забыть его щедрости в дружбе, столь полно выражавшей незаурядный, прежде всего, человеческий талант, ощущение полноты и радости от каждой встречи с ним, ожидание

такой встречи, будто, щелкнув, менялось само восприятие жизни, стоило свернуть с Грузинского вала, пробежать всегда темным переулком под арку ворот и взлететь по загаженной лестнице. А там, в комнатухе, где ходить можно было только боком, совсем становилось славно — комната куда-то плыла, наш несчастный город исчезал за окном — все у нас еще впереди! Было поразительное обаяние в его щедрости, магнитное поле, попав в которое уже нельзя было точно так же не проявляться. Помню удивительную ночь — Марк уезжал в очередной санаторий. Он был совсем плох, не мог ходить, мы вдвоем с товарищем кое-как втощили его в вагон, приехали поздно — в темноте, на санках уже ночью добрались от станции до места, а там, распрощавшись с Марком, до утра ждали поезда. Забылось название санатория, станции, даже железной дороги, по которой мы ехали (может быть, Белорусская?), но вижу — ночь, потом синий рассвет за окном служебного помещения. Марк давно в своей палате, мой товарищ спит, а я спать не могу, сочиняю письмо, которое оставляю Марку, потому что мы уйдем рано; такое редкое, щемяще-счастливое ощущение, становящееся в письме особенно четким, вбирающим в себя сразу и этот рассвет, и скрипучий снег за окном, и потрескивающие дрова в печке, и ласковую улыбку сестрички, бросившей мне второе одеяло, вот, может быть, это главное — улыбку, блеск глаз! — и то, что так славно делиться всем этим с товарищем.

Но это все не о Марке, а скорее о моих собственных ощущениях рядом с ним — о радости и счастье от такого общения. А между тем, он был человеком живым, страдающим, вполне естественно, без натуги сильным, с такой редкой, чтоб не сказать невысказанной в наше время, гармоничностью мироощущения. Помню, мы встречали однажды Новый год за городом. У меня оказались приятели, пригласили — своя дача, станция рядом, снег, живые елки — настоящий Новый год. И Марк загорелся: тройки, русские крестьянки деревни Соколовка, мы с тобой про

все позабудем!.. И вот электричка, у Марка гитара, (в Москве она была еще в новинку — все магазины забиты этим неходовым товаром), подключение для Марка уже началось; потом Соколовка, темень, наши приятели, спортивные ребята и девицы в свитерах, становятся на лыжи, исчезают, а мы бредем по тропинке между сугробами, проходит минут десять, и я понимаю, — нам этой дороги не одолеть, — глубокий снег, Марк идет боком, попискивают не то костыли, не то он сам. Наконец он останавливается, швыряет костыли в разные стороны и падает в снег, на спину, раскинув руки. "Пусть меня убьют..." Я падаю рядом, слава Богу, мороза нет, помаргивают звезды, рядом гремит поезд; неплохо. Но нужно что-то придумывать. "Слушай, — говорит Марк, — давай хвастаться, кто главней? Давай свои часы". А нам — ему и мне, только что подарили часы: мне сестра, ему Неонила Васильевна — одинаковые, со светящимся циферблатом, у него светло-коричневым, у меня черным, наверно, это были первые часы в нашей с ним жизни. "Ого! — кричит Марк. — У меня лучше — гляди, как мерцает, летит моя стрелка, а твоя — жалкий пунктир!" Стрелки совершенно одинаковые. Но Марк уже стоит, костыли под мышками, мы ползем дальше, еще десять минут — и силы кончаются. Это для них станция была рядом! "Самое страшное, — говорит Марк и схлебывает заливающий глаза пот, — если выскочат сейчас эти милые девицы с оленями на грудях и притащат санки — я помру от ужаса, потому что больше всего хочу дернуть этих оленей за хвостики..." Девицы, действительно, показываются, я бросаюсь им навстречу, отправляю обратно, через час мы добираемся, а там уже дым коромыслом, дача ярко освещена, дрова трещат в печке, стол накрыт, никто не обращает на нас внимания — мы ничуть не хуже остальных! "Дошли сами, зачем нам было торопиться!" — шепчет Марк, а глаза уже блещут, в них горят и эти бутылки, графинчики, олени у девиц на грудях...

Литература как-то сразу стала для Марка жизнью, даже бытом. Ему перепечатывала статьи машинистка в переулке у Чистых Прудов. Мы однажды встретились там и долго стояли под окнами большого дома — она должна была выглянуть в окно на шестом этаже, Марк подавал ей условный знак, и тогда она выходила, вынося рукопись в хозяйственной сумке, — боялась, что соседка донесет "за левую работу". А потом сидели на бульваре возле пруда, и Марк, развернув рукопись, читал куски — "Реализм современной драмы", и страшно гордился, так все это было еще горячо: "А?.. А вот еще... Ну что, могу, да?.. А еще хочешь?.." Снег еще лежал на бульваре, тротуары уже подсыхали и ветерок шевелил страничками — Марк раскладывал их на скамейке. Только-только начинался 1956 год — последний в его жизни.

Это последние мои о Марке воспоминания, но и тогда, в начале, не все было у нас одинаковым — я никогда не прятался, да и не смог бы спрятаться от жизни, не мог ее забыть и от нее отмахнуться. Помню, как загорелись глаза у Марка, когда у них, в Электрическом, я рассказывал об отце, маме, лагере, как Неонила Васильевна прикрывала плотнее дверь, они с Марком переглядывались, а я только много лет спустя узнал, что и им было чем поделиться со мной. Но собственного опыта ему не доставало, да и информации не было — что могло разрушить идеальный, однажды сконструированный мир? Срабатывало, очевидно, раз навсегда принятое, неосознанное, впрочем, решение об этом молчать и забыть, оборачивающееся инстинктивной самозащитой от жизни.

И если высокопарность наших писем была искренней — формой выражения чувств подлинных, то дневник Марка, несмотря на то, что о публикации его когда-нибудь он, разумеется, не помышлял, был условностью, литературой, которая выражала не его истинные ощущения, а вымученное желание спрятаться от самого себя и оправдать свое существование. И все это при

том, что в нем бродило, зрело, ждало своего часа знание истинное — прозрение таланта, которое может быть выше конкретного понимания.

Помню, как меня удивила в 1957 году встреча с братом отца Марка — дядей Юрой. Я никогда не слышал о нем от Марка, а он позвонил мне, вернувшись после многих лет лагеря в Москву, узнав, что Неонила Васильевна в больнице, а я у нее бываю, могу порассказать о ней и о Марке, помочь раздобыть кое-какие нужные ему бумаги.

Мы встретились в комнате у Щегловых в Электрическом. Небольшого роста, коренастый, седой — до слез похожий на Марка: та же порода, крупное, открытое лицо, добрые, ясные глаза и — улыбка. Я открыл нежилую комнатку, куда мы время от времени заходили вытереть пыль, мы долго разговаривали: я рассказывал о Марке, о нашей жизни, искали бумаги, смотрели семейные фотографии, потом договорились встретиться на другой день на почтамте. Я предложил ему деньги — из тех, что были получены после смерти Марка за изданные статьи и по договору за будущую книгу: кому-кому, а дяде, вернувшемуся из лагеря, Марк был бы счастлив помочь — так решил я.

А потом уже поздно шли пешком по Москве: он остановился у своих знакомых в районе Красных ворот, а всего собирался остаться еще на день-два — ему не было разрешено жить в Москве, он следовал дальше, в Ташкент, остро чувствовал свою "нелегальность", было ему явно не по себе, неуютно в столице. Уже отгремел, между тем, XX съезд, все катилось в прекрасную неизвестность, и я пытался расшевелить дядю Юру, уговаривал остаться в комнате Марка, чувствовать себя уверенно, добиваться в Москве всех своих прав: "Теперь у вас, да и вообще все в прошлом, сказано публично с трибун — зачем прятаться..."

— Это верно, — сказал дядя Юра и улыбнулся, посмотрев на меня из-за поднятого воротника, — в прошлом. Только, знаете, ведь... озорники!

Марк так и не повидал дядю Юру, не узнал всего, что началось для нас после 1956 года. Только-только приоткрылась дверь, потянуло свежестью, мы еще ничего толком не успели понять — что может быть, лишь почувствовали. Правда, и он почувствовал все это крепко, готов был к такому, раскрылся естественно, а потому так сильно начался именно тогда, выказав истинное дарование. Успел сказать в непостижимо краткий отпущенный ему срок (в то время, когда все мы еще только-только просыпались!) Но еще больше сказать не успел. Поэтому годы 1953—56 это и есть Щеглов, а все прежнее, чем пытаются сегодня проиллюстрировать его статьи, уводит в сторону, вбок, ничего не может объяснить. Проживи он больше, завершись, все было бы объяснено — и дневник, и письма, и вся судьба. А так не получается, не сходятся концы с концами.

К статьям 1953—56 годов — к Щеглову я еще вернусь во второй книге, когда о том времени пойдет речь. Сейчас скажу лишь о том, что относится к Марку. А вернее — к Марку и ко мне.

Я жил тогда на даче, и телеграмму мне принесли только вечером, в день похорон. К тому же была перепутана фамилия: "Седов Марк скончался похороны Новороссийске..." Я разглядывал телеграмму со всех сторон в электричке, бросившись в Москву, придумывал все возможные варианты — что это могло бы быть?

Но сестре, Иде, позвонил сразу, ночью, и она на другой день выехала в Новороссийск, благо жила в ту пору в Ростове. Она еще застала там Неонилу Васильевну, свела ее со своими друзьями, взявшими потом и до сих пор не оставляющими заботу о могиле Марка, сделав то, что мы тогда никак не могли, а что Неониле Васильевне было так важно.

Я поехал в Новороссийск через месяц, взобрался на гору, на кладбище, к самому краю, где была не огороженная могила с деревянным крестом, глядел оттуда на голые серые горы, холодное, зеленоватое, чужое море, не

умея понять, какое все это имеет отношение к Марку, глотал пыльный колючий ветер, перебирал и раскручивал ощущение собственной вины, недосказанного и недоговоренного, того, что быть могло, если бы было что-то не так, а по-другому. Тем более, и кладбище у нас с Марком было свое, мы там встречались, столько там было сказано для нас дорогого и важного — мы легко могли представить себя оставшимися там, во всяком случае говорили об этом.

Смерть Марка так тесно перепутана с моей судьбой, что мне так или иначе снова придется вернуться к ней, говоря о годе 1956 — тогда, в сентябре, в связи с его гибелью начались более чем коренные изменения в моей собственной жизни. Время было таким, что я не мог оставаться неизменным, ощущать себя в нем, понимая невозможность всякого раздвоения, живя уже в литературе, впервые ощутив свое дело своею жизнью, а потому и слово — делом. Было это не умоглядным, не полемикой — я проверял на себе правильность логических построений и искренность собственного пафоса. Но кроме того, были вполне конкретные обстоятельства, их реальность, внезапно пронзившая меня, принявшая облик доселе невиданный и даже не вымечтанный. Это тоже связано с Марком: его именем, 5 сентября, через несколько дней после его смерти, я позвонил по телефону, по которому мы звонили вместе перед самым его отъездом в Анапу — душным июльским вечером. Тогда не дозвонились. "Вот я вернусь, — сказал Марк, — а ты пока подумай..." Прошел месяц — Марк не вернулся. А я позвонил.

Но это совсем иная пора, другая — вторая книга, то, что и открывает для меня наше новое время.

А пока — год 1949, декабрь, Новый год, суета, закупки, складчина — у Марка; нас мало — мала комнатушка, Люся дуется, ей хочется танцевать, а там не разойтись

вокруг стола, перелезаем через стулья, да и не принято у нас — никто не танцует, а ей хочется, она кончила университет, работает в техническом издательстве, в Рыбном переулке возле Красной площади, латынь и греческий по боку — они никому не нужны, аккуратные тетрадки-словарики, переводы из Ксенофонта и Корнелия Непота засунуты в сундук. Наша комната незаметно для меня превращена в цветущий сад — занавесочки "ришелье", вязаные скатерки, нет только большой кровати с подушками, но все это не противно, смешно, Люсю радует чистота, сверкающий пол, но она хворает и через силу встает каждое утро на службу.

А у меня пятый курс, предпоследняя сессия, хочется скорей сдать, освободиться, я уже обошел сокурсников на целый год, — а там... Но этого я не знаю, мы строим с Люсей и Марком нелепые планы — ощущения реальности ни у кого из нас нет.

Хотя пора бы. Год 1949 завершается, он достаточно определен. Но уже существует некая идеальная конструкция, в которой любовь, дружба, легкое юношеское бражничество, студенческие песни, гитара, литература, как нечто жизни противостоящее, попытка найти в ней возможность своеобразной материализации эстетического идеала — маленький, не от хорошей жизни бунт, нащупывание выхода — неосознанная попытка сохранить искренность, уйдя от окружающего в прекрасный и вечный мир искусства.

Неонила Васильевна напекла пирогов, была водка, помню высокий голос Марка, занесшегося в изъявлении любви ко всему окружающему, и то, как я перекрикивал его, нескончаемость наших монологов-гостов о предстоящем нам подвиге, о смерти за жизнь, о литературе, о снеге, о том, какие мы все хорошие, сколько еще всего сможем. Так все стройно у нас получалось, крепость была на славу, еще чуть-чуть укрепиться в ней, а там и до вылазок рукой подать... Мы даже танцевали в коридоре, между старой рухлядью, вытащенной

соседями, и Люся примирилась с убожеством нашего новогоднего пиршества, тем более, столько было шума, любви, искреннего веселья.

А потом дни полетели с такой стремительностью, что я их не упомяну: я сдал один экзамен, потом второй, сидел ночами над третьим, переворачивал горы книг — норма — тысяча страниц за день. Да и прошло всего две недели, семнадцать дней.

Ночью Люсе стало плохо. Она вернулась с работы усталая, была простужена, перемогала себя, а тут оттепель сменилась за ночь лютым морозом, мы поужинали, легли спать, но я не мог уснуть, встал, сел за стол добивать свою тысячу страниц.

Была глубокая ночь, Люся дышала тяжело, потом захрипела, и было страшное мгновение, когда пришло ко мне, непостижимо как, подуманное когда-то о дедушке: "Скрипит еще..." Потом я поднял теток, без пальто бежал в аптеку, обратно с кислородной подушкой, а у подъезда машина с красным крестом, в распахнутых дверях белые халаты, и мы выносим Люсю, и я думаю про себя: "Вперед головой — значит все обойдется..."

А время сжато, сгустилось, несется, хотя отсчет на минуты, но так плотно — через два переулка машина влетает во двор Склифосовского, я держу Люсю за руку, что-то шепчу, мы уже в палате, она на высоком столе, вокруг несколько человек в растерянности, и я внезапно вижу, чувствую, понимаю эту их растерянность — и тогда прихожу в себя.

"Вы берете на себя такую ответственность?" — говорю я. Врачи разводят руками, я требую главного, ловлю его в коридоре, спускающегося к нам с непостижимой медлительностью. Мы возвращаемся вместе — и это все происходит здесь, тут же, на глазах, передо мной, а я столько болтал, что могу и смогу все, что никогда не позволю, не допущу, пусть она ничего не боится.

Они все были потрясены там, в больнице, хотя, надо думать, навидались всякого. Очень быстро и неожиданно —

молодая она была совсем: когда-то детская болезнь сердца, а тут усталость, простуда, осложнение, какой-то сдвиг...

И повезли по коридору, под простыней, и оставили в комнате, перед тем как отправлять в морг, — так положено. Но выставить меня не сумели. В глубине длинного помещения сидели четыре бабы, громко болтали о своем, а у меня из рук уходило живое тепло — сначала руки и ноги, голова, грудь, а живот все еще теплый.

Мне казалось, я все успел сказать ей при жизни — был говорлив с людьми близкими, но тут договаривал, а может, повторял прежнее, najważнейшее, без чего нам обоим нельзя было б остаться. Все-таки враз, в одну ночь сгорела сооруженная мною крепость, в которой я думал отсидеться. И успел, уложился, сказал все, пока они меня подняли — у них был свой срок, не однажды проверенный и установленный по процедуре.

Я еще вернулся к врачам, жгла мысль: не мог ли и я подтолкнуть ее к этому, чувствовал, что должен все до конца пройти и знать точно.

Потом пошел домой: чуть светало — синие пустые переулки. Не знал, куда теперь идти. Но был не один, это меня тогда спасло, — с мужем сестры, он так много сделал для меня в те дни и потом, и жизнь с ним — вместе или поврозь, но достаточно тесно в течение чуть ли не семнадцати лет — значила немало в моей жизни. Важно это и сейчас — в этом разговоре.

Мы шли с ним переулками, он вел меня, я не знал — зачем и куда. Я и сейчас схватил, держу его за руку, чтобы перевести дух.

Это один из самых интересных и сложных людей, которых мне довелось встретить. К тому времени было ему за пятьдесят — ровесник веку, а пожились они с сестрой за пять лет до того — он на девятнадцать лет ее старше, и я называю цифры, потому что они существенны в таком разрезе характера.

Из семьи потомственных православных священнослужителей (его деду, поступавшему в семинарию, блестяще сдававшему экзамены, была дана фамилия Пробатов: "Probo, probavi, probatum, probare" (одобряю), — прогудел председательствующий в комиссии, узнав, что у сына попа из Темирева еще нет прозвания), из поколения в поколение дававшей сельских священников на Тамбовщину. Но постепенно входили в силу, уже в семье свои академики, люди просвещенные, а он четырнадцатилетним мальчиком убежал из дома на войну — ту еще, германскую, был ранен, получил Георгиевский крест, в госпитале ему приносила конфеты императрица Александра Федоровна, — и потому юному герою была уготована другая стезя. Он и двинулся было по ней — юноша одаренный, натура сильная, активная, но успел получить только специальное среднее образование, а тут революция, гражданская война, молодость, азарт — путаница и катастрофа. Он хлебнул всего, что было, много в его рассказах нашей живой истории и географии (материала тут на настоящий русский роман из того времени, да я и не знаю пока такой книги), и вынырнул в родном селе как раз в Антоновщину, когда приехавший наводить порядок вооруженный отряд в красных бантах посадил в холодную старика-отца, а заодно и сына.

Утром их повели расстреливать, и тут мужички, почитавшие отца — человека всегда доброго и справедливого, — оказали ему последнюю услугу: вымолили сына. "Мальчишка, щенок, никогда ни в чем не замешан..." — "Тогда пусть смотрит, жеребьячья порода!" Командовал еврей в кожанке. Сын смотрел, а ночью, тайком — было запрещено строжайше — принес домой изуродованное тело отца...

(Вспомнились ли мне, когда слушал этот рассказ, похороны дедушки и пьяный мужик у его гроба, быть может, тоже имевший к тому, в кожанке, свой счет; подумалось ли о том, как может отозваться в нашей общей жизни каждое наше слово и поступок? Нет, наверно, а если

вспомнилось, и подумалось, то всего лишь как еще одно свидетельство поразительного многообразия жизни, фантастичности ее непридуманных сюжетов. Я только поглощал, много должно было еще произойти всякого, чтоб научить меня связывать и понимать сюжеты собственной биографии).

...Дальше у Александра Николаевича путаница. А я, когда слушал его рассказы (рассказчик он великолепный, язык его настоящий, сочный — он знает ему цену), то думал об убогости и примитиве бесчисленного множества наших книг о событиях той поры, о ничтожности лучших из них, о беспомощности подцензурной беллетристики, ломающей в угоду конъюнктуре и сюжету горькую правду о том времени.

Он выныривает в Москве, в Тимирязевской академии, поняв трезвым крестьянским умом необходимость образования, бумаги, коль он остался живым и хочет в этой стране выжить. Он кончает академию, пройдя невредимым сквозь бесчисленные чистки бывших — поповских детей в первую очередь, бесконечно скользит над пропастью, сдает и сдает экзамены и, будучи однажды, под самый конец, вычищенным, благодаря страстной настойчивости, все-таки получает бумагу, но спасается только тем, что в конце двадцатых годов исчезает из Москвы в дальние экспедиции — на Крайний Север, Дальний Восток; в тридцать с чем-то лет становится доктором наук (он ихтиолог), профессором и продолжает все ту же жизнь на самых дальних окраинах, удивляя чудачеством коллег и ровесников, организуя тем временем свою карьеру.

Он появился у нас дома в 1945 году, летом, — зашел перед очередной экспедицией на Север познакомиться с матерью своей новой сотрудницы, а она спросила его с лукавством: со всеми ли мамами участников экспедиции он, ее начальник, считает нужным знакомиться. Он уже тогда был лысым, с бритой, как бильярдный шар, головой, грузноватый, хотя по-военному подтянутый — в

самой силе человек с крупными чертами волевого лица и острыми глазами. К весне сестра вернулась с Ямала — рожать, началась катавасия с его женой, громкий, как почти всегда бывает в подобных случаях, грязный бракоразводный процесс, а потом шумная безалаберная жизнь: дальние экспедиции, огромные деньги (он заставил сестру защитить диссертацию, и вместе, скажем, на Сахалине, они получали в ту пору действительно бешеные деньги). Они приезжали в Москву, вваливались в тихую квартиру теток, загромождали ее остро пахнущими ящиками с рыбой, бочонками красной икры; разговоры под водку были всегда романтическими: о штормах, рифах, путине, о дальних странах и ничтожной министерской склоке.

Мы сходились все ближе, он очень к нам привязался, его увлекала коллизия: сын расстрелянного священника, без двух минут белый офицер — и дочь одного из тех горлопанов в кожаной тужурке с наганом — картавого еврея. А еще жива его мать — глубокая старуха в тихом Воскресенске, где хорошо помнят их многочисленную родню; к ней, в комнатунку, увешанную иконами, ее Саша однажды привел мою сестру Иду. Лихо все это закрутилось, нарочно не придумать, хоть такая на первый взгляд слишком литературная несовместимость ситуации, типично российская путаница в человеческих судьбах, выражает существо того, что происходит у нас вот уже пятьдесят лет.

Я вынужден только обозначать встречавшихся мне людей, Александра Николаевича, в частности, подробный разговор о них всякий раз уводит в сторону, хотя отдаю себе отчет, что он, быть может, более интересен и заслуживает внимания. У меня своя задача, я боюсь сбиться на что-то другое — важно довести до какого-то завершения историю своего героя, порой и мне самому неясную. Я не могу отделаться от ощущения, что, говоря о себе, пишу о человеке мне только знакомом, иногда известном очень хорошо, близко, а порой чужом, непонятном. Хотя

в тех изменениях, что во мне происходили, во многом зависящих именно от встреч с людьми, можно проследить некую закономерность, все объясняющую собственную логику. Впрочем, об этом я и пишу, иначе рукопись грозит превратиться в собрание фактов, интересных лишь моим близким, а у меня иная задача.

Я очень любил Александра Николаевича, порой он был мне отцом, во всяком случае, старшим братом, меня восхищала в нем истинность характера — нелегкого, иногда неконтролируемого, да и то сказать, жизнь с сестрой, в которой было у него, наверно, много радости — очень он ее любил, — не сделала его счастливым. Меня поражала натура — сильная, способная к глубокой, даже изощренной тонкости и деликатности, безо всяких видимых переходов становящаяся безудержно грубой, одним махом обрубающая самые близкие контакты, с темнотой и жутью, поднимавшейся со дна души. Мне долго казалась невозможной подлинность таких переходов, в которых главное именно натура, а не разум, страсть, а не соображения, возникающие потом. Трудно было поверить в их естественность — недоверие, идущее скорее всего от литературы, так часто эксплуатирующей "натуру", всего лишь экзотику в напрочь лишенном подлинности цивилизованном мире.

Мне еще придется вернуться к завершению наших отношений — вполне трагическому, но это в следующей книге: видит Бог, то, что я потерял Александра Николаевича — одна из самых тяжких потерь в моей жизни. Но иначе я поступить не мог.

Тогда я держал его за руку, а он, переполненный в ту пору собственной тяжелой душевной сумятицей, был со мной без сюсюканья внимателен, по-мужски спокойно и трезво. Мне именно та кой помощи и надо было. К тому времени я оставался в Москве один — мама с сестрой на Сахалине, все, что пытался собрать по крохам, в одну

ночь разлетелось, все остальное было зыбко и само по себе несостоятельно.

Рано утром я бросился искать Стасика, но на Стромынке его уже не застал, в университете никто не знал, где он, я поехал домой, оставив над дверями его факультета записку: "Приезжай сразу".

Я ждал его у подъезда, не было сил идти в дом. Он появился через полчаса, и мы молча шагали еще с полчаса по переулкам, пока я смог ему все рассказать, он повел меня в какую-то столовую, заставил выпить, и я постепенно пришел в себя, даже поел.

Похороны были страшные, как и должны были быть, многолюдные, с чудовищной панихидой в Склифосовском морге, долгими речами, а моя несчастная тетка Зося произнесла пламенное слово о комсомольском секретаре, получившем в годы войны личную телеграмму от Сталина — благодарность за собранные в Ухтинской школе деньги в фонд обороны. Зосе тогда не пришло в голову, что родители, дававшие своим детям деньги на этот фонд, жили в Ухте не по своей воле, и как все это сошлось в Люсиной жизни, и нужна ли здесь перед лицом этой непостижимой смерти сталинская телеграмма. Но Зосе к тому времени оставались считанные дни до больницы, а телеграмму я подсунул ей сам, разбирая накануне похорон люсины бумаги и фотографии.

Все было как в бреду: толпа народа, дикие речи, рвущая нервы музыка и острый приторный запах белой сирени (сам вылил в гроб два флакона, подаренных Люсе незадолго перед тем из соображений мистических и совсем безумных), промерзший автобус, и дальше, мимо Ваганьковской церкви, а там — чернеющая в снегу свежая могила под большим деревом.

Уже дома я вспомнил Неонилу Васильевну, подошедшую ко мне в морге, нащупал в кармане записку Марка: "...где бы ты ни был, о чем бы ни думал, чувствуй или помни хотя бы, что я — может быть ни на что другое не сгодившийся, — тебе пара в одном: в неуловимом

каком-то чувстве, и в том еще, что хочу тебе радости и жизни. Поэтому еще я так рад был Люсе — милой, незабвенной...” Завершающий аккорд той жизни — те самые наши с Марком слова; потом к ним все труднее стало возвращаться.

Через две-три недели мы с Александром Николаевичем уехали. Наутро после похорон он вывернулся передо мной, рассказал дикие подробности собственной жизни, и тут же, безо всякой видимой логики, предложил поехать вместе на Сахалин: “Ты все равно заочник, отложи университет на полгода”. И мы уехали.

Это было спасением для меня. Я каждый день ходил на Ваганьковское, оставлял на могиле цветы, конфеты, что-то еще. Стасику рассказывали потом кладбищенские нищие, как они ждут, пока я уйду, чтоб обогреть могилу. Я разыскал старика-могильщика: он жил там же, в ограде кладбища, мы пили с ним, а я глядел на его руки и до сих пор их вижу — корявые огромные ручищи и неожиданно голубые глаза на иссеченном морщинами коричневом лице. Он всю жизнь проработал на кладбище, и уже во вторую встречу они с женой рассказали свою историю. В 1937 зашла женщина, приходила навестить могилку, попросила посмотреть за ребенком — нужно, мол, поехать на вокзал за билетом, она проездом, — и не вернулась. И никаких следов. Мальчик не знал свою фамилию, поняли только из его лепета, что они откуда-то из-под Москвы, что ночью приходили какие-то люди, он проснулся от того, что мама плакала, чужие люди ушли вместе с отцом. Мать сразу его схватила и они уехали из дома. Все.

Парню было лет шестнадцать, когда я его увидел — красивый, высокий, явно чужой в этой маленькой комнатке (больше половины занимала кровать, накрытая цветастым лоскутным одеялом) посреди кладбища с деревянными крестами, заглядывавшими в низкое оконце...

Мы ехали поездом, долгая — в десять суток — дорога до Владивостока мне в тот раз не запомнилась, я все

копил в себе и собирал свои крохи: вину, обиды, весь небольшой багаж враз распавшейся жизни, выходил из нее, как из скорлупы. А кроме того, писал письма Марку, кому-то еще, продолжая существовать в инерции прежней жизни, хотя она пошла уже явно иначе.

Во Владивостоке Александра Николаевича ждала пачка писем от сестры — у них был очередной конфликт, драма, он читал мне их ночью в гостинице, совершенно пьяный, жуткий, а вокруг был совсем иной мир, и я отходил, пьянел от этого города, порта, пришедшего вдруг ощущения, что, может быть, не все кончилось, а жизнь еще впереди. Все-таки было мне только 22 года, а замороженность развития имела и свою положительную сторону — сохраняла душевные силы неистраченными.

Потом все так и пошло: старый пароход-калоша, полученный еще во время войны по лендлизу, огромные, как коты, черные корабельные крысы, прыгавшие по каюте как белки: продукты мы подвешивали в мешке под потолком, и этот раскачивающийся мешок с дразнящим запахом интересовал их прежде всего, они забирались наверх по шпангоутам и тяжело падали оттуда; тяжкий шторм в проливе Лаперуза и такой накат, что не могли подойти к Корсакову, стояли в Анивском заливе двое суток, продукты были съедены, кончалась вода, трюм забит вербованными, какая-то женщина рожает... Помню: в нашу каюту входят трое — представители от пассажиров, подписать телеграмму-петицию на имя секретаря сахалинского обкома, копии секретарю владивостокского крайкома, кому-то не помню еще и — в Москву, Кремль. Поскребышеву. В телеграмме говорилось, что злодей-капитан нарочно стоит на рейде, ему за это идут "полевые", что-то еще — на сто слов. Радист отправил "представителей" к капитану за разрешением — с борта без его визы ничего посылать нельзя, а тот, стреляный воробей, сказал: "Пусть передает, только сначала оплатите телеграмму по радиотарифу и все копии". Когда "представители" отправились с

подписным листом в трюм, их и слушать не стали: подписать пожалуйста, а деньги платить, нет уж!.. Так лопнуло первое гражданское начинание — подписная кампания! — в которой я участвовал.

А дальше — пьяный город Корсаков, где нас встречали сотрудники рыбного института — милые, молодые ребята, чуть старше меня; японский Сахалин: фанерные домишки с раздвижными стенками, железные круглые печки — пока топишь, жарко, а снег, набившийся за ночь в окна, не тает на этом железе, оно тут же остывает; железная дорога — узкая колея, японские вагоны с такими же железными печками — гудят, подпрыгивают, готовы вот-вот сорваться со своего основания и двинуться по вагону, разбрасывая жар; неправдоподобно красивая дорога на западное побережье — с туннелями, висячими мостами, вырывающаяся к морю, — а там теплее, снег тает, и на открывшихся взгорбках желтые цветы — белокопытник. Дальше поезд идет у самого моря, лагуна метров в двадцать шириной, за ней гряда черных рифов, на них вскипает, бешено бурлит море, ветер несет клочья пены — в Татарском проливе весной постоянно штормит. Так и идет эта дорога вдоль всего западного побережья, мимо городов в распадках: Горнозаводск, Невельск, Холмск, а еще дальше — Чехов, Углегорск... Справа дорогу поджигают сопки — голые и поросшие лесом, слева, у самой кромки берега — улица, фанерные дома с высоко торчащими над ними трубами, один поселок сменяет другой без видимого перехода, и где-то там в двенадцати километрах от Холмска филиал Тихоокеанского рыбного научно-исследовательского института, где Пробатов — директор, Ида — старший научный сотрудник, а у самой воды домик в три комнаты — и там мама с сияющими глазами, пышной шапкой седых волос, ее маленький внук Миша, кривоногая японская собака Кутька, Верочка Шварц и какие-то новые, неизвестные мне люди, но все меня уже любят, ждут, раздвигают стол, водка, спирт, жареная рыба, свежая икра со своего

рыборазводного завода, а за окном на рифах гремит море, у Александра Николаевича сильный глубокий голос, поют старые русские песни — и я затихаю, опминаюсь, прихожу в себя.

Я прожил там полгода, вернувшись в Москву к сентябрю, к началу занятий. Сестра сразу пристроила меня к делу: лаборантом-гидрологом и матросом на их экспедиционное судно, а когда оставался на берегу, ходил на большой плоскодонке брать ежедневные наблюдения в прибрежье — в миле от берега; хлебнул настоящего моря — не того курортного, что понюхал в Крыму, а моря серьезного — холодного и злого. Мне хорошо было — на палубе, в рубке или в кубрике слушать непременною матросскую травлю или сообразать в порту, когда весь экспедиционный спирт бывал выпит. Уже через две недели я бесконечно любил этих людей, поражаясь их человеческой талантливости, открытости, легкости, с которой они жили. Видел я, разумеется, только одну сторону, не понимал (не успел, тогда и не воспринял бы), что остается у каждого на берегу, а здесь, на палубе, стоило судну отвалить, дела-заботы забывались, оставались где-то там, берег стремительно удалялся, вахта сменялась полным бездельем, и взрослые мужики становились как бы детьми. Это все романтические разговоры о сугубой тяжести моряцкой жизни, вся тяжесть остается на берегу, а известно — с глаз долой из сердца вон! Все поделено между всеми, приходит узаконенное, освященное вековой традицией право ни о чем не думать, тебя кормят, за тобой убирают... Наслушался я всяких историй, зубоскальства, мне становилось легко, когда поднимался ветер, судно прыгало с волны на волну, капитан, немногим меня постарше, со мной подружился, ставил к штурвалу, холодные брызги на поворотах летели в рубку, и мне казалось, я никогда не уйду отсюда, Бог с ним — с университетом, придуманной жизнью и всем, что осталось в Москве.

Я наплавался в те полгода. Мы ходили на самый юг западного побережья острова, лазили по сопкам среди

гигантских сахалинских лопухов, в зарослях бамбука; на остров Манерон (японский Кайба-то) — черная глыба, едва видневшаяся на горизонте против Невельска, слушали, как звенят, прыгают с камня на камень ручьи; на рыбопроизводный завод — еще дальше на юг, надо было подняться по нерестовой речке вглубь острова по распадку между сопками; на северный — на ш Сахалин, в Александровск, где не было ни железной дороги и вообще дорог, ни бетонных пирсов-ковшей, в которых можно отстояться в любую волну, а только старенький, чеховских времен, разломанный причал, открывающийся сразу за Тремя братьями — серыми большими камнями у входа в открытую бухту.

”Надо было отдать японцам и Северный Сахалин на полсотни лет”, — сказал кто-то. И верно, очень разительно отличались части острова, разделенные пополам по пятидесятой параллели пограничной просекой, зараставшей в мое время молодыми елочками. На юге — оживленная, индустриализированная, хотя и экзотическая страна: вполне современные целлюлозно-бумажные и рыбные комбинаты, железная дорога, туннели в сопках, искусственные морские порты; а на севере — сонная, как где-нибудь в Липецке, патриархальная заводь с курами, гуляющими по кривым, пыльным улицам.

Я глотал все это не жуя, захлебываясь, мои письма в Москву сплошь состояли из названий и восклицаний, Марк в ответ только охал и, радуясь за меня, немного охлаждал мой пыл. Я упивался дружбой с капитаном, казавшимся воплощением морских добродетелей: как он стоит на палубе, пьет спирт, ходит, разговаривает, смеется; еще был старый боцман — гуляка, поразивший мое воображение бесконечными историями о своих похождениях; старый рыбак Григорьич, которого я полюбил так, что, казалось, не смогу расстаться, был убежден, что наши чувства взаимны, а он позабыл со мной попрощаться, когда мы расставались. А еще японец — сотрудник-наблюдатель в пробатовском институте — мой ровесник, мальчик с драматической судьбой, оставшийся на

Сахалине из соображений романтических, быстро погрязший в нашем фантастическом быте. Он был сыном одного из директоров сахалинских рыбных концессий: большая, благополучная, видимо, довольно состоятельная семья японских промышленников. Когда наши танки вошли в Южно-Сахалинск, отца не тронули — он вводил наших специалистов в курс рыбного дела, достаточно грандиозного в ту пору на японском Сахалине; судя по рассказам, у них был роскошный дом, непонимание того, что произошло, какое-то время оставался прежний размах. Высокий, красивый мальчик, старший сын, заметил секретаршу отца, маленькую блондинку откуда-то из Днепропетровска. Ходила к ним в дом, ей было занятно и лестно; потом мне призналась: отец нравился ей больше сына — крупный человек — не мальчишка. Но сын уже горел, любил, и когда отца арестовали, увезли в Хабаровск, а всю семью, как и всех японцев на Сахалине, отправили в Японию, он остался. Мать ничего не могла с ним поделать — проклинала, предупреждала и грозила. У них должен был быть ребенок, он, наверно, быстро понял, что наделал, но уже поздно. Он работал инженером на рыбозаводе за Невельском; она тосковала, сразу исчезла роскошь, веселье, рядом был непонятный японец, глядевший с тоской в море — он писал стихи, играл на скрипке; друг другу они были не нужны...

А тут еще на меня обрушилось увлечение; казалось, даже любовь. Наверно, и должно было произойти что-то подобное: срабатывал все тот же защитный механизм, да и романтичность окружающего требовала именно такого завершения. Еще в пути на Сахалин, растравляя и убивая себя, одним ухом прислушивался, ловил рассказы об удивительном существе, живущем на Сахалине, на севере, о том, какая она и какие вокруг истории, и как она, тем не менее, одинока. Так все и было, когда мы встретились в Александровске: стройная блондинка с серыми глазами, с улыбкой, как у модных в ту пору американских киноактрис; портовые рестораны, луна в белом тумане, залив

де-Кастри на той — материковой — стороне, куда наше судно уходило на несколько дней, а потом бесконечные письма, телеграммы — она пела под гитару песни, какие гитаристу Марку Шеглову и не снились. Прав был Александр Николаевич, вздумавший спасти меня таким простым, чтоб не сказать примитивным, образом.

А потом я уехал. Тридцать шесть часов летели тогда до Москвы с четырьмя пересадками. Я еще до отъезда знал, как все будет в Москве в день моего возвращения, вернее, знал еще в поезде туда, уже тогда все задумал, а всю обратную дорогу в самолете только уточнял, расписывал по минутам: вещи домой на Кировскую, к теткам, сразу в такси (деньги были) на Ваганьковское, по пути на рынок — цветы, такси ждет меня у ворот кладбища; мимо церкви до домика, где живет мой приятель-могильщик, направо по широкой дорожке, а там слева у большого дерева... Но я знал и то, что будет дальше: опять в такси и, уже не сворачивая, через Пресню, по улице Герцена, к Манежу, и где-то там, возле университета, я встречу Люсину сестру — Лену, она училась на втором, что ли, курсе биофака — единственный в ту пору в Москве человек, реально осуществлявший для меня связь с моим прошлым. Впрочем, здесь я сомневался, оставался вариант на случай, если Лены не будет в тот момент на улице: выйти из машины на углу и подойти к железной ограде, где это должно было бы произойти непременно.

Что это было? Что-то, чем мог я перед самим собой утвердить собственную верность, и в то же время оно — это что-то — завершало для меня прежнюю жизнь, отпускало, прощая прошлую и будущую вину; предел, который я сам себе поставил, не думая об этом сколько-нибудь отчетливо, но зная, что уйду дальше и ничего не вернуть.

Лена переходила улицу, когда такси затормозило у светофора перед Манежем, и я даже не удивился: все сходилось, сошлось — не могло быть иначе.

ПЕТИ-ЖЕ (САХАЛИН)

Мы уже три дня бродили по Южно-Сахалинску, и было совсем не весело: очень мы оказались далеко — двенадцать тысяч верст, на краю света, никого нет, с кем бы поговорить-посоветоваться, деньги кончаются, ночевать негде. Зима, мороз, особенно холодно оттого, что некуда зайти погреться: переодевались в камере хранения, высиживали по два-три сеанса в кино; ничего не получалось с работой. А так, лишь бы куда ткнуться, — стоило ли киселя месить в такую даль, в конце концов, можно было бы пристроиться и в Москве.

Я толком не знал, зачем мы сюда приехали. Хотя и на сей раз такое неосмысленное решение спасло меня: едва ли я бы продержался в Москве в 1951—52 годах: пытался бы устраиваться на работу, везде заполнял анкеты, толкался в разные двери... На Сахалине, говорили нам, работы непочатый край, нужны люди с университетским образованием, в газете с руками оторвут, можно будет писать, печататься, складывать деньги в банку, а через сколько-то лет обратно... Тем более, мне Сахалин известен, связаны с ним самые романтические ощущения; тем более, на западном побережье сестра с Александром Николаевичем, мама, теплый дом у самого моря... Но приехали мы лютой зимой, вся экзотика под снегом, а в доме на западном побережье жил один кривоногий Кутька — наши торчали в Москве, уехали в долгий отпуск и застряли. Да и зачем на побережье — нельзя всю жизнь работать лаборантом или матросом, зачем нужен был университет, да и хотелось другого.

Прошло два года с тех пор, как я был здесь. Я успел защитить диплом, женился, написал десяток рассказов, пьесу — и все о Сахалине, пережевывая ошеломившую меня экзотику, себя в ней, купаясь в придуманном мире, ритмической прозе, штормах, высоких страстях, запутавшись в романтических судьбах людей придуманных или однажды встретившихся. Реальность проплывала мимо меня, во всяком случае, в моих сочинениях я ухитрился не заметить даже происходящего в университете — заочник! — сдавал зачеты, мне было довольно. Высмотрел себе (хоть и заочник!) самую хорошенькую девушку на курсе и женился, заморочив ей голову рассказами о Сахалине, о том, как мне там было, как нам там будет, и она поверила, оставила вполне благополучный дом, не знавшую забот, раз и навсегда налаженную, спокойную, интеллигентную жизнь...

В ту пору я едва ли задумывался над тем, что такое наша так называемая интеллигенция, хотя материала было много: встречи, общения, дружба, простые или сложные отношения, рядовые или крайние ситуации — мы жили общей жизнью. Люди, усвоившие сумму приемов, обеспечивающих даже не просто сносное, а более чем приличное существование, в котором непрменные атрибуты — хорошая квартира, дача, машина, а теперь обязательные заграничные путешествия — туристские и командировки, валюта... И при этом — люди милые, добрые — порядочные, признающие ответственность только за личную деятельность, а потому никакого душевного разлада. "Весь порядок вещей", как говорили когда-то, никак не тревожит: это, простите, другое дело — у каждого свое.

Целая домашняя философия, позволяющая с аппетитом пользоваться земными благами, испытывая чувство превосходства и легкого раздражения к неудачникам, лишенным всего этого, хотя личная порядочность в конкретном деле, способствующая такому нерушимо-мировотворенному состоянию, не может не обернуться

равнодушием, лицемерием перед самим собой, несомненной договоренностью с собственной совестью. Можно ли иначе смаковать честно заработанное, зная, что творится за стеной, и может ли оставаться спокойным человек нравственный, обезопасив себя формальным непричастием к самоочевидному общественному преступлению?

Но я говорю о лучших, добрых по природе, готовых помочь и даже поделиться. Чаще всего мы сталкиваемся со вполне циничным усвоением немудрящего правила: с волками жить — по-волчьи... Бездарному и примитивно-грубому разбою противопоставлен разбой изящный, талантливый, во всяком случае легкий, которым можно при случае похвастаться: отнято у бандитов... Нравственный нигилизм, ведущий к духовной деградации.

Позади был десятидневный, знакомый мне поезд до Хабаровска, потом самолет, все это еще в отъездной горячке, азарте — все-таки мы только что поженились, кончили университет, защитили дипломы; во мне еще гудели, перекачивались фразы из Герцена — я писал работу по материалам самых блистательных его книг конца сороковых годов прошлого века, но его пафос, который, разумеется, не мог меня не затронуть, воспринимался вполне абстрактно-исторически, не соотносясь с реальной жизнью. Пора политических иллюзий, как правило, возникает объективно, едва ли я мог в 1950—51 годах воспринимать горечь "С того берега", как нечто относящееся к нам с неменьшей остротой, чем к современникам автора. К тому же руководитель моей работы, известный ныне Эльсберг, для нас в ту пору всего лишь преуспевающий, блестящий профессор, — умело и незаметно отодвигал меня ото всяких возможностей направленного подтекста.

"Нет, друзья мои, — цитировал я, — я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого

замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту...” Но это Герцен писал своим друзьям о невозможности ему — Герцену — возвращаться в Россию; это он и его друзья испытывали на себе последекабрьскую мглу и цензурный гнет, губивший литературу. “Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, — безнравственно...” Но мог ли я хоть как-то соотносить эти слова с современностью — была ли хоть какая-то возможность неповиновения, да и хоть сколько-нибудь четких убеждений у меня, разумеется, в ту пору не существовало. Я с восторгом читал и цитировал все из той же книги: “На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека”. Или дальше: “Свобода лица — величайшее дело, на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе”.

Такого рода подтекст или, скажем иначе, современное переосмысление цитаты возникает чаще всего произвольно, благодаря особому нервному настрою, духовной близости, общности размышлений, готовности к восприятию именно такого. Но мог ли я в ту пору хоть как-то соотносить со своими тогдашними ощущениями романтические слова Герцена о борьбе, невозможности двоедушия, бесплодности молчания — думать о свободе лица? Это был фантастический роман, только проецированный не вперед, а назад: “В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но

и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни...”

Ощущение подтекста, несмотря на всю, казалось бы, естественность его возникновения в конкретном случае, не появлялось у меня, прежде всего, потому, что это было слишком остро — мне не доставало неких промежуточных звеньев, надо было привыкнуть, закалить и настроить все органы чувств, должна была возникнуть инерция такого направленного восприятия, сформироваться собственное, уже сознательное и вполне отчетливо-критическое отношение к собственной реальности. “У нас нет ничего подобного, — продолжал Герцен. — У нас лицо всегда подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу...” Здесь действовал какой-то чисто математический закон: какими бы привлекательными ни казались Герцену судьбы Спинозы и Лессинга и далекими от российской гнусности “гнусности тогдашних немецких правительств”, соотношения там были значительно более близкими, чем, в свою очередь, наше и герценовское. Там различие было количественным — у нас оно стало качественно иным. Потому, кстати, Герцен после своей высылки мог, тем не менее, оказаться в Лондоне, а не в местах географически противоположных.

Степень подавления и поглощения была несоизмеримой. “Тайна” направленного подтекста — в кажущейся на первый взгляд парадоксальной мысли о его естественной произвольности. Просто, когда приходит пора, человек совестливый не может не переосмыслить такого рода материал, даже не думая об этом специально, — истинный и сильный подтекст совершенно органичен, он в душевном настрое автора, передающемся его читателю.

“Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под

безнадежным гнетом и уцелели кое-как. Но не мало ли этого? не пора ли развязать себе руки и слово для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра — все стало невозможным в России. Остается только личный труд в тиши или личный протест издали...” Сегодняшнее восприятие каждой строки в этой герценовской странице — лучшее доказательство справедливости рассуждения об объективно приходящей поре подтекста. Нужно было осознать и то, что “мы выросли”, и то, что “изуродованы”, чтоб понять сердцем необходимость развязать себе руки и слово для действия, для примера; надо было целый ряд лет говорить шепотом, дальними намеками, чтоб получить право на прямое слово и личный труд. Да и свое 14 декабря, на своей площади — у нас тоже уже есть. У нас даже есть, повторившаяся как чудовищный фарс, писательская эмиграция и обращение из Лондона к русским читателям — Кузнецов, вместо Герцена: человек, севший писать роман в Ясной Поляне, заложивший друзей — лишь бы выхлопотать заграничную визу, тревожащий тени Толстого и Достоевского, чтобы оправдать перед всем миром жалкую растленность собственной души!.. Но это уже сегодня, спустя два десятилетия, а тогда был год 1951.

Надо ж мне было писать диплом у Эльсберга, попасть в руки к этой лисе, на совести которого не только, как говорят, Бабель или, что известно совсем достоверно — Пинский и кто-то еще из вернувшихся из лагеря его коллег по университету, но и целая группа верных ему учеников — талантливых людей, моих ровесников, изящно сочетающих ныне принципиальное общественное

равнодушные с несомненными знаниями — это в лучшем варианте; или откровенную циническую спекуляцию, преследующую цели и вовсе безнравственные, — с показной смелостью, якобы реабилитации гонимой русской культуры... Но сколько должно было пройти лет, чтобы все это как-то отстоялось и выкристаллизовалось! Будем считать, что мне повезло и на сей раз: я был заочником, виделся с Эльсбергом в общей сложности раз пять, отдавая ему очередные главы своей работы.

Пока что был занесенный снегом по самые крыши, промерзший Южно-Сахалинск, в котором нам предстояло, как минимум, добиться немудрящего жилья и хоть какой-то работы — уехать обратно (а такая заманчивая мысль, надо сказать, приходила мне в голову) было стыдно, да и практически невыносимо. Чтобы поднять такую фантастическую дорогу, мы завербовались через сахалинский рыбаколхозсоюз, получили деньги на проезд, а здесь, устроившись на работу, механически перенесли бы свои договорные отношения в другое учреждение. Иначе ехать сюда было невозможно: дело было не только в проезде (деньги огромные), но и в северных льготах, распространявшихся только на тех, кто приезжал с договором в кармане. Продумано было все, кроме одной малости — мы оказались здесь не нужны.

Отчаявшись и уже не зная, что дальше делать, мы брели мимо областного театра, как положено, с колоннами и фронтоном, только без коней наверху, и я подумал: в театре всегда нужна какая-то литературная работа... Мы зашли. Директор внимательно нас выслушал — и развел руками: "Нужны только актеры". Актерами мы не могли, хотя в тот момент я был согласен и на это.

— Знаете что, — пожалел нас директор, — в нашем театральном управлении есть милая женщина, она вам обязательно поможет — она любит москвичей.

Что значило для него слово "москвич", я тогда не понял, но деваться нам было все равно некуда и мы отправились в Управление театрами. Там сидела молодая и очень милая женщина: она все поняла с первых же слов.

— Чепуха, в газете есть места — им нужны люди, — она куда-то уже звонила и бросила трубку. — Только что ушла. Ладно, приходите завтра, в это же время, у меня будет зав. отделом культуры из газеты. Мы все организуем. А где вы ночуете?

Я соврал, что с ночевкой в порядке. Нас как раз выставили в то утро из общежития рыбтреста, но комендантша обещала разрешить переночевать на кухне, на лежанке. Не мог же я приставать к человеку со всем сразу!

Мы потопали в кино на очередные сеансы, а я подумал, впервые столкнувшись с таким мгновенным пониманием и точной реакцией, как дорого такого рода внимание, как важно, когда сквозь опутывающую всех нас паутину бессилия, бесправия, равнодушия и страха проникают волны обыкновенного человеческого участия, сколько могут они принести добра и как практически невозможно с этим ничего поделать.

Мы не подружались потом с Г. А. К. — мне казалось неловким напоминать о себе, надоедать, хотя время от времени сталкивались, у нее была своя жизнь, да и не в дружбе дело, но все вокруг помягчело от этой встречи, хотя тот же мороз и деваться по-прежнему некуда — только в кино.

На другой день мы застали у нее средних лет женщину, деловую и немногословную — В. В. С., она все уже знала и разговор не занял пяти минут: ей нужен был сотрудник, нужен был человек и в отдел писем, она тут же договорилась с редактором, а мне казалось, тому неловко будет смотреть мне в глаза: накануне он вполне категорично сказал, что мест в газете нет.

— Надо ж, — смеялась Г. А. К., — ходят по Южно-Сахалинску красивые да столичные, а работы нет — так не бывает.

Газета называлась "Советский Сахалин" и занимала два этажа в самом центре — против обкома и почты. Мы тут же сняли комнатку в японской развалюхе против обшарпанного здания Корейского театра — глубокую нишу за занавеской. Пожилая хозяйка взялась нас кормить. Это было лишним, но отказаться боялись — сгонит с квартиры, а была неприятна: с густо нарумяненными дрожащими щеками, вьедливостью и навязчивостью, повышенным интересом к нашей жизни. Но все это было ерундой — главное свершилось.

Это, конечно, была настоящая удача — отличная школа для меня, не умевшего поначалу написать информацию о приезде в город какого-нибудь самодеятельного коллектива или ответить читателю; мои ответы и заметки безжалостно правились, и при всем мертвящем шаблоне газетчины она учила меня элементарным профессиональным навыкам, а я был ученик благодарный, безоглядно полюбил газету и помню, как торжественно становилось на душе, когда ночью, в дежурство спускался в типографию с подписанной мною полосой, там уже ждали, отливали с матрицы, из машины вылетали первые — в макулатуру — жирные газетные листы, и я шел домой, когда уже светало.

Меня тут же послали в командировку по другому — промышленному отделу, людей действительно не хватало. Я ничего не понимал, не умел, отчаянно робел разговора с любым начальством, специалистами, оказался на лесоучастке, в сахалинской тайге, пытался разобраться в непостижимой мне склоке местного начальства с областным управлением, в низких расценках чокеровщикам, невыполнении планов, постоянном пьянстве, самоуправстве бригадиров, нерегулярном подвозе продуктов, антисанитарном состоянии барачков, в которых лесорубы жили неделями, слабой политико-массовой работе, аморальном поведении киномеханика и в чем-то, уже не помню, еще. Оглушенный всем этим, замерзший, но исполненный самоотверженного желания разобраться и

действительно в чем-то помочь, впадая в отчаяние от непосильности этой гомерической задачи, я метался между бригадами, забирался в чащобу, где гремели электропилы, обрубали сучья, хлысты ползли вслед за тракторами к реке... Вечером бригадир напоил меня спиртом, я совершенно обеспамятел — целый день на морозе, не жевамши, и на утро до следующего лесоучастка полз чуть ли не на четвереньках, плутая по тайге, пытаюсь разобраться в собственном нравственном праве писать теперь правду обо всем увиденном, коли не смог отказаться от угощения. Не знаю, каким образом, но о моих подвигах стало известно редактору: едва я успел вернуться, на ближайшей летучке он рассказывал назидательную историю о молодом корреспонденте, которого лесорубы учили уму-разуму.

Я прижился в газете. Меня печатали, мои заметки самому мне казались самыми живыми в мертвом газетном листе, да и Сахалин оказался иным, увиделся с другого боку, и, как всегда в газете, возникало обманчивое ощущение значения, действительности нашей ежедневной толкотни, завершавшейся выпуском очередного номера, оно переполняло меня, во всяком случае, на первых порах, даже некоторой гордостью — дело само пришло в руки.

Я упивался им, совершал ежедневные открытия, и з у ч а л ж и з н ь, как говорят в газете, шпыняя молодых газетчиков ее незнанием. Я на самом деле не знал ее, потому что вся она укладывалась, как выяснилось, в гигантскую, разработанную до мелочей систему, в которой колхозы, промышленные предприятия, школы, больницы, культурно-просветительные и научные учреждения, порты, почта и телеграф, аэродромы и пожарные команды были перепутаны густой сетью хитро переплетенных между собой сельских, поселковых и городских советов, комсомольских и партийных комитетов, сходящихся в большом доме напротив нашей редакции. Я прозревал эту стройность постепенно, сталкиваясь с тем или иным житейским

или производственным конфликтом, поражаясь всеобъемлющей продуманности и слаженности всех частей этого механизма, потому что, несмотря на чудовищную безалаберность, бесхозяйственность и путаницу в простейших вещах, сразу же очевидную даже мне, всякое отклонение от предназначенного становилось тут же явным, дергало одну из веревочек, и напротив нас, в сером доме с милиционером у входа, звенел соответствующий колокольчик.

Это вызывало почтительное уважение, внушало робость, а мне, приобщившемуся к этому высшему миру через газету, теперь уже своему в нем, давало к тому же ощущение причастности: перестал быть только свидетелем происходящего, разделял ответственность, радостно подставлял плечо, в своей горячке не понимая навалившейся на меня тяжести.

Какая там тяжесть! Вокруг замелькали рыболовецкие колхозы, лесоучастки, шахты, железнодорожные депо, целлюлозно-бумажные комбинаты, клубы, театры, школы; десятки, сотни людей, каждый из них смотрел на, казалось бы, простейший факт по-разному, но тем объемнее складывалась картина, и я был убежден, что ежели сам чисто относишься к делу, то непременно разберешься, поймешь: главным критерием всякого газетного материала должно быть прочтение его глазами людей, о которых он написан — стыдно будет вернуться туда же и с теми же людьми встретиться! По сути дела мое романтическое мироощущение ничуть не изменилось от того, что я видел теперь так называемую прозу жизни — я и раньше ее знал, а всякого рода житейские тяготы только повышали ценность вымечтанной за ними красоты. Что-то коробило в газетной нивелировке и казенной липе? Я относил это за счет собственной литературной неумелости, бездарности моих сотоварищей, перестраховки начальства, а также соглашался, понимал требования момента, в угоду которому порой можно поступиться и правдой. Уже вызревало пренебрежение

и чувство превосходства над столичным интеллигентным чистоплукством: что вы там знаете, обложились книжками, годными лишь для схоластических упражнений, абстрактными категориями, сюда бы вас, под свежий ветерок, в путину, когда море в прибрежье кипит косяками подошедшей сельди, до горизонта бело от молоки, вот-вот шторм, ветер в клочья рвет сети, огромные невода, разбивает суда о камни — а рыбонасосов не хватает, а морозильные установки не работают, а хлеб не успели выпечь!.. Я упивался конкретным разговором о жизни — о самом главном, прокрикивал себе, придумывал в поездках, в машинах, где-нибудь на палубе сейнера разоблачающие письма Марку Щеглову в Москву, с особенным удовольствием поносил наш образ мыслей, никак не учитывающий того, что виделось мне теперь основой и содержанием жизни.

Я возвращался в редакцию — переполненный и счастливый, что-то писал, печатал свои заметки, иногда очерки, доставлявшие радость и гордость. Конкретность дела, которого всегда так мне не доставало, теперь обступала меня, приглашая утонуть в ней, погрязая все глубже в изматывающей, одуряющей, ведущей к цинизму газетной "борьбе" за микроскопические, не стоящие ломаного гроша победы, или оправдываемые "моментом" и "соображениями" поражения, горечь которых постепенно уже не воспринимается.

Впрочем, не все было у меня гладко. Исподволь вызревало раздражение против невозможности сказать хотя бы однажды правду, пусть по конкретному поводу, скажем, о хищническом вылове, последовательном и планомерном варварстве — уничтожении молоди сельди в заливе Анива: из года в год добавляли в план миллионы центнеров непромысловой рыбешки, заходившей на нерестилище в залив, подрывали уже никогда не восполнимые запасы. Все это понимали. Но напечатать, скажем, статью Пробатова, безуспешно бившегося на Сахалине и в Москве за эту самоочевидную элементарность, не

удавалось, а когда в конце концов получилось — напечатали — все в ней было сглажено и сведено к разговору о научных исследованиях. Приходила ли мне в голову неконкретность этого дела, открывавшего проблемы общие, их связь с тем, что казалось всего лишь частными недостатками людей, с которыми жизнь свела меня в газете? Приходила, мы даже говорили об этом, не заходя, впрочем, дальше определения бездарности министра, конкретного рыбного (или лесного) хозяйствования, пороков (опять же частных) легкомысленного планирования. Помню возникновение другого, пока что тоже конкретного интереса: я пытался хотя бы однажды выловить номер газеты, в котором не было бы ни одного упоминания имени Сталина, вымарывал во время дежурства стилистически бессмысленные, пародийные упоминания, пока однажды не прекратил этой "борьбы", поняв ее бесперспективность: в контрольной читке редактор непременно вставлял имя вождя, разбрасывая по полосе, и я успокоился, почувствовав дуновение высшего соображения.

Мир нашей газеты был совсем иным — безо всяких следов романтического энтузиазма и каких бы то ни было сомнений: заскорузлые жлобы, заведующие отделами, правили кое-как отчеты о совещаниях, сдабривая их "зарисовками" — оживляем, пили потихоньку, но в газете никто об этом не знал, утром являлись с постными чинными лицами, до редакторской планерки вынюхивали центральные газеты и пытались понять сегодняшнюю обкомовскую конъюнктуру. Я их не интересовал — видели таких желторотиков, мое будущее было предопределено: или наивность и восторг должны были улетучиться, сменившись здоровым и естественным цинизмом, или газеты мне не видать. Третьего здесь не было дано. Всякое человеческое слово почиталось ненужным — они все наперед знали и спокойно дожидались, кем я стану, чтоб тогда уже отнестись ко мне соответственно. Такими они и остались в моей памяти: сонные, равнодушные

люди, бездушное орудие пропаганды, готовой на что угодно. Разумеется, я могу ошибаться — просто эти люди были напрочь закрыты для меня: что я мог тогда понять в том, что происходило в них и с ними, как их перемальвала жизнь, и надо ли удивляться, что у нас не возникало никакого душевного контакта?

Но у меня были и друзья: я должен был с кем-то делиться переполнявшей меня радостью. Художник из Хабаровска — И. Г., человек в годах, предыдущего еще газетного поколения, к которому газетное начальство относилось пренебрежительно, а он был весь в том — своем времени: Арсеньев, Диковский, "Тоз", он знал всех и все на Дальнем Востоке, наша газета его не интересовала, и по внутренней небрежности он совершал фантастические газетные ляпы, врал и путал, а заведовал отделом информации — работа как раз для такого, как он, человека! Но к нам тянулся, его сердцу была близка наша наивность, отсутствие равнодушного цинизма — неперемное качество внутреннего мира газетчиков новой формации, для которых И. Г. был уже фигурой устаревшей, живым анахронизмом. "Кеша" — презрительно звали его в газете, но его, думаю, такое пренебрежение не задевало, у него был свой мир, свой интерес, настоящая любовь к краю, который он знал не понаслышке — всю жизнь здесь прожил. Иногда от Кеши требовали карикатуру для воскресного номера или литстраницы. Это всегда бывал акт отчаянной редакторской смелости — обычно тискали только "тасовские" карикатуры, своя была свидетельством зрелости газеты, но уж и глядели ее: переворачивали, смотрели насквозь, а что он там мог изобразить — милый человек, добрый недотепа!

Но И. Г. все-таки был много старше, теснее сошлись мы с В. А. — ровесником, рыжим, спокойным паренком, газетчиком по природе, именно таким, какой нужен: он не стремился к "живописи" и болтовне — трудовая лошадка; рос постепенно, это был настоящий

газетный кадр, в газете сразу поняли, увидели: этот малый задержится и их всех пересидит.

Я не видел его много лет, встречаю порой имя в центральных газетах под статьями, написанными тем же твердым, уверенным пером: штамп ложится рядом со штампом так простодушно, что это даже не безвкусица, не противно — нет пошлости, у автора такая задача: условным, примитивным языком, на нужном уровне сказать нечто, имеющее конкретное значение, — кому-то крепко "выдать" или поддержать. В мое время В. А. был славным товарищем, спокойно-веселым, по-студенчески щедрым, с готовностью учившим меня азам газетной работы; я был ему благодарен — появившись в газете, не знал ничего, абракадаброй звучали слова: досыл, шпона, подверстка, полоса...

Эту мою, мягко говоря, некомпетентность все понимали, и нижеследующая история с устроившей меня на работу В. В. С. была, так сказать, моей наивностью и продиктована: В. А. она бы никогда не предложила пойти с ней на задание. А мне предложила.

Однажды утром она сказала строго и, как показалось, значительно: "Часов в 11 пойдем на одно задание".

Я подсобрался, было что-то необычное в таком предупреждении, в том, что не говорит куда и зачем, но главное, в ее очевидной таинственной заинтересованности. Всегда что-нибудь небрежно роняла, и я шлепал выполнять.

Мы вышли, и пока шагали центром, она спокойным голосом учительницы объясняла, что всякое редакционное задание — тайна, следует о нем всегда молчать, как бы ни казалось оно незначительным.

Потом посвятила в суть дела. Был де в газете какой-то автор, сейчас он себя странно ведет, не ходит на работу, говорит, что уехал, а сам сидит дома, что-то еще.

Я ничего не понял.

Тем временем мы прошли чуть не весь город, и она сказала: "Дальше я с вами не пойду, не нужно, чтоб нас

видели вместе. Зайдите вон в тот дом, спросите, дома ли такой-то, если да, спросите его... ну, что хотите. И все". "А что спросить?" — тупо сказал я, больше всего напугавшись, что он может все-таки оказаться дома. "Ну, не знаю, придумайте, вы ж в газете работаете, — ударила она в самое больное место. — Спросите у него... где материалы совещания культпросветработников, он, кажется, их брал у нас", — добавила В. В. С., явно не веря в мою "газетную" находчивость.

Я пошел, мечтая лишь о том, чтоб его не оказалось. Мне повезло: "Нет дома, уехал в командировку. А кто такой?" — "Из редакции", — это мне было разрешено сказать.

Она казалась очень довольной итогом моей разведки, очень горячо меня благодарила и еще раз напомнила о редакционной тайне.

Прошел месяц, а может, два или три, я забыл об этом.

Однажды меня вызвали к заместителю редактора. Там толпились все наши жлобы и Кеша среди них, как цветков, страшно взволнованный.

"Вы знаете такого-то?" — это мне прямо с порога. "Никогда не слышал фамилии", — я ответил искренне, действительно забыл. "Ну как же, вспомните", — все явно разочарованы. "Не знаю, не могу вспомнить. А в чем дело? Может, подскажите, я соображу..." — "Вы ходили с В. В. С. на задание, вам говорилось, что это редакционная тайна, о которой нельзя никому говорить: проверяли, дома ли такой-то?" — "А! — вспомнил я с облегчением. — Конечно, у меня просто выскочила из головы фамилия. Ходили. Но его не оказалось дома, и я ушел". — "А она что?" — "Ничего, поблагодарила, и дело с концом..." — "Видите! — закричал Кеша. — Какая мерзость!" Жлобы одобрительно загудели. "А в чем дело?" — встревожился я, совсем ничего не понимая. "Потом объясним, ничего особенного, надо было кое-что уточнить. Только вы ничего не говорите В. В. С." — сказал мне зам.

Я вышел и сразу же направился в наш отдел: "Дудки, тут уж я молчать не стану". Она была у себя, и когда я во всех подробностях передал разговор, переменялась в лице, побледнела: "Вы даже не понимаете, Феликс, что вы наделали!" — "Но ведь вы мне ничего не объяснили. Я и сейчас ничего не понимаю — если редакционная тайна, почему я не мог говорить о ней в кабинете редактора, к тому же они все знали?.."

— Да, да, — сказала она, потухая, и совсем сникла, — конечно, дело не в этом. Но теперь все, все пропало...

Суть этой истории не так интересна: у В. В. С. был роман с женатым человеком, дело, видимо, шло к концу, он пытался от нее отделаться, врал и морочил голову, в тот раз ей нужно было проверить, дома ли он. Конечно, свинством было, в свою очередь, морочить голову мне и ставить в глупейшее положение. Я б с удовольствием выполнил ее просьбу, так сказать, неофициально. Но на это она не решилась, не так мы были близки, а потом сама, в счастливую минуту, рассказала обо всем своему герою, они вместе, наверно, посмеялись надо мной, а когда его жена, оказавшаяся более ловким детективом, их выследила и поймала на сей раз за руку, то он, спасая шкуру и партбилет, изложил в покаянном письме в обком все обстоятельства своего падения, естественно упирая на ее — В. В. С. — в этом деле активность, вплоть до злоупотребления служебным положением, то есть мной.

Ее чуть было не исключили из партии, — особенно активен, как мне рассказывали, был Кеша, оскорбленный за меня, жаждавший ее крови, — отправили в Северо-Курильск в районную газету, и там она едва не погибла в то страшное землетрясение, когда город был смыт, цунами вынесла в море даже печатную машину, а спаслись те, кто успел добежать до господствующей над городом сопки и смогли продержаться до подхода наших кораблей. Американцы подошли раньше, но нашим было запрещено принимать их капиталистическую помощь, и десятки

людей погибли, выполняя до конца свой патриотический долг.

История с В. В. С. характерна для понимания степени моего тогдашнего идиотизма, который, по-видимому, чувствовался на расстоянии. Как бы то ни было, но я, оказавшийся невольным орудием гибели моей благодетельницы, был, кроме того, награжден: нам дали ее освободившуюся комнату — хозяйка, как уже говорилось, отправилась в Северо-Курильск.

Была в этом, конечно, неловкость, и когда В. В. С. передавала нам ключи, я что-то промямлил, но человек она была славный, тогда несчастный, никак не злобный, и все понимала.

Комната показалась нам сказочной. На втором этаже, в японском фанерном доме, с отдельным входом — дверь внизу, за которой сразу же начинался крутой корабельный трап, а там мансарда со стеклянной раздвижной стеной, оклеенные чистой белой бумагой потолок и стены, посреди железная печка и ослепительно блестящие белые с желтизной доски пола.

Мы быстро загваздали комнату. Никак не могли управиться с печкой — топили углем, когда задувал ветер, дым шел обратно, а утром, в мороз, стряхивали с головы снег, набившийся сквозь стеклянную стену, выпрыгивали из-под одеяла, лишь бы скорей разжечь — Бог с ними, с правилами, с чистотой, да и народу к нам ходило много, на потолке расписывались, сообщали, кто куда ушел, а грязь в Южно-Сахалинске после дождей неимоверная, едва доплывали от дома до редакции. Но было хорошо: свой дом, книги, зеленым глазом моргал приемник, японская музыка — Япония рядом, и ощущение своих собственных стен, пусть и фанерных, рабочей усталости, заработанных денег. Мне было хорошо.

Б. Ф. появился в нашей редакции поздней осенью 1952 года — очередной выпуск журналистов из ленин-

градского университета. Их приехало четверо, со всеми сложились разные отношения, по-своему любопытные, но Б. Ф. был персонаж, увиденный мной впервые. Сухоощавый, бледный, с большой головой-черепом, с гладко зализанными черными волосами, широко расставленными темными глазами, всегда чисто выбритый, аккуратный, при галстукe. Уже его облик был вызовом нашей редакции — кондово-жлобской в главной своей части и студенчески-безалаберной в другой. Но помню, тем не менее, не ему, а мне становилось неловко своих грязных сапог, расстегнутого ворота, никогда не чесанной головы. А он, назначенный сначала скромненько — литправщиком в секретариат, в первый же день, замещая отсутствующего ответственного секретаря, бесстрашно вступил в конфликт с начальниками основных отделов — партийного строительства и пропаганды, наглядно доказав всей редакции их полную непрофессиональность, неграмотность, чем доставил, разумеется, удовольствие прежде всего своему шефу — ответственному секретарю, который по тупости еще не учуял опасности.

Б. Ф. действовал осмотрительно, четко, но времени не тянул. В первый же вечер нашего знакомства, когда мы с В. А., узнав о приезде ребят из Ленинграда, потопали к ним в общежитие знакомиться, точно поставленными вопросами вытащил из нас полную информацию о каждом сотруднике газеты и тогда же составил свой план.

Был еще в редакции некто Л. Х. — шумливый еврей с бешеным темпераментом, этакий Дантон из местечка — безо всякого журналистского образования, в прошлом работник промышленности. Но газетчик он был отличный, не в пример другим грамотный, не без способностей, а кроме того, неглупый и ушлый в промышленно-партийных интригах. Наверно, он хорошо работал бы, куда б его ни поставили — министром, директором рыбозавода или завмагом. С ним Б. Ф. было потруднее, но его он заставил замолкнуть, навалив невероятно много работы, рассчитывая на самолюбие и вспыльчивость, а в присутствии

редактора легко доказал его пустозвонство, провалы в важнейших областях (в любой газете они непременны), некомпетентность при показном всезнайстве. Л. Х. кричал так, что дрожали стекла, но когда передыхал и пил воду, Б. Ф. успевал сказать все, что ему было надо. И Л. Х. умолк.

Теперь перед Б. Ф. оставался его собственный шеф — здоровенный громада из ростовского "Молота", гордившийся неожиданно свалившимся ему помощничком, так лихо разделавшимся со всеми, особенно с главным его недругом Л. Х., издевавшимся над Ш. на каждой летучке. Ш. Б. Ф. скинул совсем просто: тот никак не соответствовал занимаемой должности ответственного секретаря такой высококвалифицированной газеты, находившейся к тому же на самом рубеже страны, да и в столь ответственное время, в эпоху XIX съезда партии. Редактор не мог с этим не согласиться — рядом с Б. Ф. Ш. выглядел монстром. Б. Ф. стал ответственным секретарем.

Все это произошло так стремительно, Б. Ф. был при этом так спокоен, как пишут в газетах — "улыбчив", с таким же безукоризненным пробором и галстуком. Только металл иногда появлялся в голосе и глаза еще больше темнели, когда кто-нибудь осмеливался ему перечить.

Через несколько месяцев у нас была совершенно другая редакция: все оглядывались на двери, говорили вполголоса, никто уже не играл в шахматы и боялись друг друга. А Б. Ф., как-то шелестя ногами, проходил по коридору, выбирая очередную жертву, или вызывал к себе в кабинет и говорил тихо, ровно, но улыбка у него была нехорошая.

Нас он не трогал — не принимал всерьез, хотя сразу, подчеркнуто вне редакции, установилась чуть ли не дружба. А мне было невероятно интересно, я понимал, что человек он скверный, с горящим, неутолимым честолюбием, сломанный своим еврейством и тем, что в 1952 году пришлось уехать из Ленинграда, да и на Сахалине

не мог сделать ничего больше того, что сделал в первые два месяца — выжить Ш. А силы у него были и страсть была. Начинал он в свое время блестяще: на войне служил в контрразведке, был связан с органами, намекал на что-то загадочное и темное, нацеплял на праздники ордена; кое-что рассказывал про университет, где тоже по-своему блистал: громкая в Ленинграде связь с известной балериной — все как надо. Он и на Сахалине попытался повторить, но вышло фарсом, да и что-то жалкое было в нем, устал, наверно, к тому времени: через несколько месяцев женился на милой женщине — жене главного режиссера областного театра, наделав переполоху в городе, но все было четко, заручился поддержкой редактора и в обкоме, знал, что у режиссера дела плохи. И победил всех в газете.

Следующей жертвой намечался заместитель редактора, мы ждали этого, даже азарт появился, как на бегах — я впервые видел, только читал во французских романах о таком активном честолюбце, глядя на него, можно было представить себе охоты, которые происходят в Москве, при участии людей покрупнее, Впрочем, лишь занимаемым положением.

Но я не просто любопытствовал — я ненавидел его, хотя с самого начала и до конца он не сделал мне ничего дурного, наоборот, вне стен редакции подчеркивал свой интерес и заботу. Смертельно жалко было изменившуюся газету, как старожил и абориген, я вспоминал патриархальную тишину, домашние конфликты, отеческие внушения, которые делали мне жлобы или Ш., в первую очередь. Злая сила исходила из Б. Ф. — безжалостная и беспощадная, и я понимал, от нее не спастись, он прекрасно знал все, что было или могло быть у меня своим, какой-нибудь Ш. до этого бы никогда не додумался. Может быть, впервые посетила меня тогда ненависть — в чистом виде, редкое и высокое чувство, его не следует путать со злобой или сопутствующими ей всякого рода мелкими ощущениями;

едва ли я понимал, как она, в свою очередь, разрушительна.

И все-таки мне было хорошо. Я начал писать, — дома, для себя, своя собственная, недоступная даже Б. Ф. жизнь, в которую можно было уйти от всего и ото всех, была благом. Хотя странная это была попытка литературы — прежде всего не имевшая никакого отношения к тому, как и чем я жил. Не понимал, что только реальность может стать интересной, и если я смогу когда-нибудь написать, то лишь о том, что знаю; или так примитивно защищался от жизни, готовой вот-вот затоптать, но мое стремление хоть как-то заявить себя выливалось в инфантильную болтовню, никак не касающуюся собственного опыта — только мелькавший вокруг меня фон, в который трансформировались литературные ситуации, не пережитое.

А Сахалин, между тем, становился домом, Москва уплывала все дальше, я накрутил себя против всего, что там происходит и может произойти.

Куда-то я все время ездил: помню огромный целлюлозно-бумажный, японской еще постройки комбинат, с восторгом первооткрывателя изображенный мною в последовательности процесс, начинавшийся в устье впадавшей в пролив реки, где вылавливали бревна — до огромных рулонов бумаги, от которых мне небрежно отрывали куски. Или рыбные морские порты, где чувствовал себя своим человеком — моряк в прошлом! — выходил на день-другой в море, ходил за крабами — огромными зверями с двухметровым размахом клешней и нежно-розовым мясом, — которых тут же варили, стоило вытащить сети с копошащимися чудищами на борт, и ели их — теплыми и душистыми.

Иногда удавалось заскочить к сестре и маме — в домик у постоянно гремящего на рифах моря, поговорить с Александром Николаевичем, отогреться, передохнуть и уехать дальше, укрепившись в прекраснородушно-роман-

тическом ощущении жизни — сил было много и, казалось, дело в руках.

Мой последний в газете очерк никак не удался, а может, был он не хуже других: знаменитый на Сахалине рыбак-капитан выполнил два годовых плана, в начавшемся 1953 году намеревался взять три плана сразу, ходил в море зимой, когда все припухали на берегу, что-то еще. Я поехал к нему на рыбозавод, возле города Чехова, в самом начале января: пуржило, мороз, суда плясали на волнах, отстаивались в неглубокой бухточке, в море мы так и не вышли — штормило.

Очерк мне вернули. Б. Ф. был тут ни при чем, хотя хотелось, было заманчиво свалить вину на него. Впрочем, мне самому не нравилось то, что я написал, — поделом.

А перед самым собранием — вполне заурядным в редакции, хотя готовящимся необычно торжественно, ко мне забежал бойкий паренек из молодежной газеты: "Держись, старичок, будет плохо, сегодня в тебя вцепятся..." Я не понял. Дел-то — неудача с очерком, другие и вовсе ничего не пишут, в лучшем случае информации... "Подождем тебя, интересно, чем кончится, — продолжал паренек, — пока тебя не трогают — жить можно, у тебя полный джентльменский набор, а у нас у каждого то одно, то другое..." Тут я сообразил, но отмахнулся: эти разговоры пока не укладывались в мою стройную систему мира.

Выступали начальники отделов, но я привык, что в газете все друг друга грызут — это называлось профессиональным отношением к делу, — не сразу понял необычность охоты, даже лестным казалось, что мне столько внимания. Говорили только про меня, припомнили один из самых первых моих протоколов: я очень рьяно ругал героиню одной из премьер в областном театре, назвав фамилию по программке, она играть в тот вечер никак не могла — рожала, а дублершу

в программке забыли отметить — не знает жизни! что-то еще. Потом на трибуну забрался Ш., к тому времени он уже совсем сник, вконец забитый Б.Ф., но тут ему несомненно было уступлено место: Б.Ф. сидел в заднем ряду, ни в чем не участвовал, скучал. А Ш. дорвался, да и дело было по нем. И тут я опомнился, очередной раз проснулся и сопоставил: газетные статьи, далекие имена, общую ситуацию и совсем близкое — то, что случилось на днях в ресторане. Мы обедали с В.А., пили пиво, а за одним с нами столиком подполковник глотал водку и злобно глядел на меня. Он и завел разговор о последней статье в "Правде" — о романе Гроссмана, вызывая на ссору, злясь и не веря в мое непонимание. Но когда стал разъяснять, и я услышал... ("Что ж, — говорил я, еще не понимая, — может, и верно, слабый роман, я не читал...") "Да какой там роман! — заревел подполковник, брызгая слюной мне в лицо. — Кому нужна эта вонючая литература! Гроссман кто? Что, не знаешь или, думаешь, я не вижу, кто ты?.." Но я, и теряя сознание от бешенства, был спокоен, рядом сидел мой товарищ — В.А. Я взял графин за горлышко: "Подбери губы, штабная крыса, здесь тебе не от Гитлера убежать, пришибу на месте..." У него отвисла челюсть, я тоже хорош был — на его уровне, я победоносно скосил глаза на В.А. и почувствовал, что ладони сразу вспотели: тот сидел, опустив глаза в стакан с пивом, отвернувшись от нас, и уши пылали под цвет огневой шевелюры — он ничего не слышал. Я бросил на стол графин и ушел.

А Ш., между тем, вошел в раж: "Я уже давно приглаждаюсь к работе Фридлянда, — гремел он, — Фридлянд не умеет работать, не любит работать и не хочет работать!.."

Земля качнулась подо мной, я беспомощно оглянулся: Б.Ф. сидел у самой двери, готовый вот-вот выскочить, Кеша глядел в окно, вспоминал, наверно, уссурийскую тайгу и усатых тигров, идущих по тропе к

водопою, а может, В. В. С. он вспоминал, на которой оттачивал свое красноречие, благородно защищая меня от нее; на красные уши В. А. я не стал смотреть.

В перерыве ко мне подошел Л. Х.: "Надо выступить, — сказал он, — бей себя в грудь и говори, что любишь газету".

Я так и сделал. Газету я любил на самом деле, именно здесь научился всему, а раньше не знал ничего. И всем за науку благодарен.

Но говорил я, наверно, не так, как надо, потому что Л. Х. не выдержал, выбежал на трибуну и что-то прокричал, не называя, впрочем, меня — абстрактно: о том, как надо беречь молодых способных людей, как важно вырастить газетчика в собственной газете, что на ошибках учатся. Слова его, помноженные на одесский акцент, казались дикими, после собрания его сторонились, он хватался за сердце и что-то глотал, запивая водой из графина.

Утром меня вызвал редактор.

Это занятая фигура — наш редактор, А. Л. А., мне в ту пору он очень нравился: красивый, спокойный, умный — крупный человек, понимавший значительно больше, чем положено было ему — редактору областной газеты и члену бюро обкома; мне казалось, между нами было понимание, хотя мы никогда не разговаривали, но я чувствовал — он это знает. Мы потом виделись с ним, уже в Москве, он был у меня дома — из газеты его выставили, он отсиживался в Академии общественных наук, отчаянно пил — надрыв человека и раньше все знавшего, а потому вдвойне ответственного.

Но это потом, а тогда на Сахалине — чувство-чувством, но отношения между нами складывались вполне официальные, я робел, да и бывал в редакторском кабинете всего несколько раз.

Он что-то читал — наверно, полосу, — пригласил меня сесть и долго молчал, размашисто вычеркивал и вписывал. Потом расчистил перед собой стол. А мне все

в нем нравилось: широкие жесты, глубокие складки, идущие от носа к подбородку — суровое лицо с умными глазами.

— Что думаешь делать? — спросил он. Еще под обаянием собственного ощущения от только нами понимаемой близости, я ответил вполне искренне:

— Ругали меня вчера за дело, конечно, очерк не получился, надо поехать, выйти в море дней на десять, чтоб все понять изнутри, знаете, А. Л., газетный штамп до добра не доведет — за ним пустота, как бы не пропасть...

Он уставился на меня, ни чего не услышав.

— Тебе надо работу искать, вот что.

— Какую работу, — на сей раз я не понял. — Я ведь и говорю...

— Вот-вот, подумай, а я, может, чем помогу, позвоню куда или еще что.

— Да я не хочу другой работы! — до меня что-то стало доходить, хотя было смертельно жалко, главным образом, своей любви, которую я только что лелеял. — Не стану я ничего искать. Я с таким трудом нашел газету, себя в ней...

— Вот так, — у А. Л. А. был усталый, но уже жестковатый голос. — Подумай, а надумаешь, заходи.

Он вызвал меня через день и спросил прямо с порога, не приглашая сесть:

— Надумал?

— Да я и не думал — о чем?

— Тогда пеняй на себя.

К тому времени мне объяснили ситуацию вполне отчетливо: мы с женой, Л. Х. и Б. Ф., кто-то еще — нас было многовато, а я к тому же не только еврей, но и сын репрессированного — первая кандидатура ("полный джентльменский набор" — как сказал паренек из молодежной газеты). Но у нас с женой был свой вариант.

— Может, дело в том, что мы с женой работаем в одной редакции? — сказал я, подсказывая ему казавшийся мне приемлемым для него выход. — Мы посоветовались и думаем: из нас двоих мне в газете работать

важнее, да и газете лучше, я человек более пишущий и подвижный, а у нее здесь в городе сколько угодно работы, причем по специальности — с языком...

Но он уже сделал для себя самое трудное, решился, а мой домашний вариант сулил новую отяжку, согласования, а на него жали в обкоме — мне потом рассказывали подробно, да и не "вариант" это — я был нужен для увольнения, а он исчерпал собственную порядочность.

На следующее утро, явившись в редакцию, я прочел на стене приказ: "Уволить как не справившегося с работой..." И когда распахнул редакторскую дверь, он спросил, подняв голову от стола: "Не нравится формулировка? Изменим", — и тут же вызвал секретаршу, наглядно продемонстрировав мне отеческое обращение с трудовым законодательством: "Переделайте приказ — "по сокращению штата".

Помню, как через час, побегав по коридору, я стукнулся в дверь к заместителю — коротышке-педанту, чья скрупулезность, подчеркиваемая тщательность в работе, всегда меня раздражавшая, вдруг увиделась добродетелью по сравнению с безответственным размахом и обаянием главного. К тому же К. П. О. всегда упирал на необходимость особого внимания к молодым сотрудникам редакции: "Почему никогда не обращаетесь, приходите с любым вопросом, сомнениями..."

Я пришел.

Он стоял посреди кабинета, один, в несколько шагов оказался у двери, распахнул пошире и сказал громко, на весь коридор:

— Вы читали приказ? О чем может быть у нас разговор?..

Был вариант: уйти на полгода в траловый флот, его только что создали на Сахалине, жаль, что это не осуществилось — было бы за плечами еще одно дело, хотя страшновато — море я уже знал, не в новинку. К тому же, несмотря на беспомощность, находился в горячке, в азарте — пошлепал в обком, жаловаться на самоуправство

редактора, члена их бюро, рядовому инструктору — женщине. Она была внимательна, далеко все-таки — Сахалин; волна, докатившаяся из Москвы лишь в начале 1953 года, силы не успела набрать, скорей растеряла, ощущение безнадежного московского ужаса казалось нелепостью, хотя и вполне реальной.

— Идите на радио, — сказала женщина-инструктор, глядя на меня с сочувствием и пониманием.

— Идите! — я был уже в запале, да и обещанное мне твердое место на палубе траулера прибавляло уверенности. — Кто меня теперь возьмет — носом не вышел.

— Пусть вас это на заботит. Идите прямо сейчас к председателю комитета.

Так я оказался на областном радио и объездил еще года за полтора весь остров вместе с со сланным туда же из молодежной газеты, но за дела "аморальные" В. Х. — славным пареньком чуть постарше. Я прозревал: как только улеглась злость и все стало входить в берега, мое газетное знание жизни подсказало понимание механики произошедшего. Мудрая централизованность механизма, восхищавшая своей всеобъемлющей гибкостью, была способна сжевать и выплюнуть меня в одно мгновение. И никто бы не заметил — может быть, В. А. меня бы защитил или Б. Ф., достигший к тому времени предела своих возможностей!

Еврейский "сюжет", начавшийся для меня на похоронах дедушки, так блистательно продолженный в недавнем разговоре с подполковником и в красноречии Ш., не был в состоянии, тем не менее, целиком меня поглотить, я вспыхивал, сталкиваясь лицом к лицу, ощущал себя евреем только потому, что мне напоминали об этом. Мог же я жить, зная уже тогда о судьбе крымских татар или чечено-ингушей. В антисемитской сталинской истерии не было ничего принципиально нового. Это было всего лишь ближе, совсем рядом, наконец ударило меня непосредственно. Но почувствовать случившееся со мной — своей судьбой, уйти в нее, копить обиду

и ненависть — я просто не мог, мешало воспитание, вся моя жизнь, язык, литература, любовь, родная страна. Не было надрыва, комплекса, не было и чувства вины. За что? за распятого моими единоплеменниками Христа? А Божия Матерь? Мог ли я в ту пору воспринимать это хоть сколько-нибудь серьезно, пускай метафорически, а не всего лишь литературно — для разговора, как аргумент в полемике, условно, как некий символ, способный быть понятым только посвященными?

Но это еще не вся правда, я не берусь выяснить ее здесь, но хочу, тем не менее, продолжить.

Я пишу о себе, стараясь с доступной мне скрупулезностью восстановить ощущения той поры, полагая их интересными в конструировании облика героя и его эволюции, понимая ее характерность, не подразумевающую, однако, типического единообразия. Моя жизнь сложилась так, что я мог и совсем не замечать своего еврейства — в конце концов моя личная драма 1953 года была не столь уж серьезной, у меня бывало пострашней, да и здесь решающую роль сыграло иное. Но рядом были другие, и то, что происходило с ними, а я уже не мог этого не знать, всякий раз заставляло вспоминать свою принадлежность, это уже не могло быть просто нашим общим позором, как в истории с татарами или чеченцами: взгляд со стороны и только литературные эмоции — становились преуспеянием примававшего, грозили равнодушием, мироощущением коллаборанта. Я не теоретизирую, едва ли здесь, не в специально об этом написанной книге, я смогу сказать что-то новое о проблеме, столь разработанной в русской литературе людьми не только талантливыми, но и больными этой мыслью. Я всего лишь пытаюсь зафиксировать тогдашние ощущения, объясняя их, впрочем, опытом последующим.

Меня спросил недавно близкий и дорогой мне товарищ: не бывает ли мне страшно, скажем, в толпе — в электричке. Я ответил отрицательно, сказав, что дело

не в моей личной храбрости, но в отношении к этой толпе. Не могу же я бояться, а значит — ненавидеть пьяного мужика в Чебоксарах у гроба бабушки или дурака Ш. — я могу их только жалеть, понимая собственную ответственность, вину за их жизнь, способную довести до такого.

Мы долго разговаривали, я упирал на свои чувства жалости и любви, из которых, разумеется, никак не может произрасти ненависть и нечто, способное нас разделить. А потом, оставшись с собой наедине, поймал себя на неискренности. Я действительно боюсь толпы в электричке, действительно чувствую себя напряженным и собранным — несвободным, потому что вижу себя их глазами, а значит, в каждую минуту готов услышать, а стало быть, вынужден реагировать — всегда.

Может быть, самое трагическое в этой стороне нашей русской жизни — даже не живучесть антисемитизма, вечно тлеющего в каком-то душевном подполье, главным образом, — я убежден, в душе обывателя, выбившегося или не выбившегося "в люди", независимо от занимаемого положения, подсознательно понимающего шаткость, так сказать, незаконность своего преуспевания; и, тем более, не в его — антисемитизма — государственности, попытке вытащить эту вонючую идею на потребу конъюнктуры для неофициального оснащения более чем несостоятельной теории. Чему тут удивляться и на кого негодовать? Самое тяжкое — столкнуться с этим в человеке близком или хорошо знакомом, уважаемом, интересном, дорогом — вдруг увидеть воочию и ощутить. Нечто почти неразличимое — в блеске глаз, в прорвавшейся, даже самому себе не высказанной, пусть неоформившейся мысли о собственном превосходстве или отличии — "все-таки другое".

Здесь не должно быть жалости. В нашей русской жизни это может стать началом любого поворота, свидетельством способности на что угодно при известных

обстоятельствах, ущербной душевной узости при демонстрируемом размахе и неперемнной национальной русской широте (хотя, разумеется, возможны ошибки, пережест в иную сторону, болезненная восприимчивость несущественного, вполне объяснимая, впрочем. Но каким счастьем становится осознание собственной т а к о й ошибки, а стало быть возвращенная любовь и близость!).

Областное радио на Сахалине было заведением убогим: домишко в несколько комнаток со скрипучими половицами, колченогими столами, обшарпанными, как шарманки, ящиками записывающей аппаратуры. И люди — "второго сорта", не газетчики с полетом и надеждами на карьеру и судьбу: проштрафившиеся или неудачники с самого рождения. Но меня и В. Х. встретили хорошо — мы были помоложе, работа нам давалась легко, да и не дорожили мы ею; через полгода испуг окончательно прошел, времена стали смутными, но явно помягче.

Вот тогда-то на радио и появился знакомый мне К. П. О. — по решению обкома перевели из газеты на укрепление, заменив милого и беспомощного человека — прежнего председателя. Встреча не предвещала лично мне ничего доброго, но он был со мной сух, официален, сделал вид, что не знаком.

Эта фигура уже тогда казалась мне законченной — готовой для изображения в сатирическом фильме. Педант и зануда, принципиально не делающий различия, скажем, между планом добычи угля и п л а н и р о в а н и е м искусства. В радиокомитете воцарилась атмосфера госкливого казенного цуканья, мелочной регламентации, узаконенного и поощряемого штампа. Мои новые товарищи, давно смирившиеся с чем угодно, стонали, выходя из кабинета председателя, хватались за сердце, жадно пили воду из графина на столе у секретарши.

"Товарищ О. слушает", — говорил О., снимая телефонную трубку.

Я был брошен на отдел сельского хозяйства и помню, как однажды зашел к О. подписать командировку, может быть, это было нашей первой встречей в новом его кабинете.

Он едва виднелся из-за стола, наставил на меня роговые очки, всем видом являя поразительную энергию.

— План вашей командировки.

— Какой план? — удивился я. — Я еду писать очерк о знатном трактористе, сначала с ним нужно познакомиться, увидеть, что за человек, где живет. Тогда можно и план... Может, о нем и вовсе не стоит писать.

О. испепелил меня взглядом и нажал кнопку звонка.

— Заведующего сельхозотделом ко мне! — бросил он робко заглянувшей секретарше.

Мой заведующий тоже не сразу понял глубину своей политической беспечности, но не возражал, и еще через полчаса они совместно сварганили для меня шпаргалку: О. вдохновенно диктовал, меряя кабинет короткими ножками, а мой робкий зав печатал на машинке, предлагая некоторые, казавшиеся ему возможными, варианты.

Я до сих пор храню эту шпаргалку: "План очерка о знатном трактористе" ("ке" — стояло в скобках, это был "вариант", предложенный моим непосредственным начальником). Дорога в деревню — колхоз (совхоз), пейзаж, погода, небо, земля; усадьба колхоза (строения, парк машин). Встреча с героем (героиней), разговор — сначала о том о сем (погода, политическая обстановка), потом сегодняшние производственные дела. Краткие биографические данные, обязательства, радость труда. Заключение: обратная дорога, мысли об увиденном".

Председатель и мой шеф были возбуждены совместным творчеством; О. потер руки, крепко уселся в свое кресло, победоносно поглядел на меня и, довольный собой, смягчился: "Видите, товарищ Фридлянд, а вы пренебрегали плановостью — теперь ничто не ускользнет

от вашего журналистского зрения и все ваши литературные способности будут направлены в нужное русло”.

Я отправился к В. Х., два дня мы пили, не выходя из его дома, а утром третьего, в день ”возвращения” из командировки, разыскали в газетной подшивке заметку о знатном трактористе (ке), колхозе (совхозе) и тут же заполнили шпаргалку. О. не скрывал удовольствия: все-таки он тоже был соавтором этого замечательного произведения.

Теперь мне кажется, что без О. мое образование было бы неполным, какой-то краски недоставало в видневшейся мне уже достаточно четко картине нашей жизни. А он не менялся, хотя время тогда летело стремительно, и помню, как мне стало его жалко, когда мы встретились в Москве: я не хотел возвращаться из отпуска, а он не освобождал меня, требовал, чтоб я лично явился на Сахалин для переговоров, грозил судом, еще какой-то карой, но времена изменились, руки были коротки. Он сам приехал в Москву в командировку, мы встретились, разговаривали, словно бы по-хорошему. Но он по-прежнему называл меня ”товарищ Фридлянд” и казался в Москве особенно нелепым, закостеневшим: восковой фигурой из того мира — в широких штанах и раз навсегда принципиально взятой на себя роли.

Однажды его разыграли совсем жестоко. Дело было под Новый год, с утра никто ничего не делал, потихоньку выпивали, договаривались, бегали в магазин. А перед концом рабочего дня, за час, только было собрались потихоньку сматываться, секретарша обнесла все комнаты приказом, требуя расписываться в ознакомлении: ”После рабочего дня не расходиться. Сопещание в кабинете председателя”.

Все оторопели, а я просто натянул куртку и ушел.

Я сидел в редакции газеты, играл с В. А. в шахматы, дожидался жену, она дежурила по номеру, собиралась куда-то встречать Новый год, но тут меня разыскал вахтер: ”Звонят из радиокомитета, срочно приходи, все

сидят у председателя, он грозит страшными наказаниями". Я поворчал, но потопал, все-таки напугался, да и других жалко — сидят уже из-за меня.

Я успел только открыть дверь в кабинет председателя, увидел весь наш коллектив на стульях по стеночкам: О. привстал за столом и привычно начал: "Товарищ Фридлянд, я должен на сей раз прибегнуть..." Но в это мгновение зазвонил телефон, вбежала секретарша: "К. П., Москва!.." Он схватил трубку. Я по-прежнему стоял у двери, не зная, может, уволен. Все молчали, а председатель держал трубку обеими руками: "Да, да, слушаю, да, да!.." — и прикрыв трубку: "Как имя-отчество председателя всесоюзного радио?" Никто не знал. "Ах ты, Господи, он меня по имени-отчеству... Да, да, слушаю вас... Спасибо, спасибо, — и в сторону: — Поздравляет весь коллектив с наступающим... Готовимся ли к встрече?... Да, то есть нет — работаем... Сколько времени? Двадцать... двадцать пятьдесят пять... Да, конечно, по-нашему, по-сахалински, а по-московски другое дело... Рабочий день кончился, конечно, тут у нас небольшое сове... То есть... Почему задерживаюсь?... Знаете, товарищ председатель всесоюзного радио, дела всякие, мелочь, отчетность... Коллектив?... — отчаянный взгляд в нашу сторону. — Нет, никого уже нет, все давно дома, как же — Новый год, семейный, так сказать, праздник... Спасибо... Спасибо..."

Он положил трубку, сел и долго вытирал голову и шею огромным, как полотенце, платком. Потом сказал:

— Какое внимание, товарищи, сколько у него комитетов, а меня по имени-отчеству. И знаете, очень напирал, что нельзя задерживаться после рабочего дня. Так что, товарищи, не будем задерживаться. Счастливого праздника, товарищи!..

Когда я вошел в редакцию газеты, В. А. катался по дивану, захлебываясь от хохота. Они позвонили, рассчитав точно мое прибытие в комитет, жена говорила голосом междугородней, а В. А. был председателем всесоюзного радио.

Я дежурил следующим утром на студии. О. приехал, поздравил с Новым годом, а потом, глядя в сторону, сказал: "Извините меня, товарищ Фридлянд, я был, конечно, не прав, тем более, видите, какое теперь веяние — нельзя задерживаться после работы, а тут еще Новый год, как нарочно..."

Но это было спустя почти год, я по привычке к радио, многое изменилось на свете, а это "мелкое хулиганство" может представлять интерес, характеризуя некое изменение самой атмосферы жизни.

Помню первые — шепотом чьи-то слова о болезни Сталина, потом подтверждение официальное, потом — вроде бы уже, и, наконец, на углу, на здании почтамта-обкома потащили вверх гигантский портрет в форме генералиссимуса.

На радио все рыдали, я стоял, отвернувшись к окну, и думал о том, что вот всю жизнь мечтал быть в этот день в Москве, и надо ж, оказался так далеко.

Мы возвращались как-то с двоюродной сестрой — поздно вечером, году в пятидесятом было дело, зимой, шли мимо мрачного здания на Лубянке, о чем-то к месту шел разговор, и я сказал: нам все равно лучше, чем ему — он уже вот-вот, ну еще год, ну, пять лет, а мы без сомнения будем тому свидетелями. Такие и были у меня ощущения: жаль, нет меня в эти дни в Москве, очень интересно и жутковато — был убежден, теперь станет совсем невмоготу.

Нас разослали по предприятиям для отчетов о траурных митингах, я был на вагоно-ремонтном заводе, стоял в холодном цехе, передавали митинг из Москвы. Страшно стало, когда услышал голос Маленкова и Берии, да и Молотов не оставлял надежд: казалось, теперь не спрячешься, плутала, несмотря на все, мыслишка: он еще мог бы в конце концов что-то приостановить, а эти молодцы без сомнения потащут дальше.

Потом что-то сдвинулось, со скрипом, но все убыстряя, полетело время: освободили врачей, потом, как говорит Солженицын, — баховский удар: Берия. Кто-то прибежал из обкома, рассказал, еще Москва не передавала. Я позвонил жене по телефону в редакцию, мы встретились на полдороге между редакцией газеты и радио: был ясный весенний день, все таяло и текло, а я не мог остановиться, придти в себя, опомниться, вроде бы и раньше все знал-понимал, но тут официально, открыто, на весь мир сказали о том, кто был человек, столько лет олицетворявший нашу законность: "Убили отца, — кричал я. — Теперь совсем ясно — ни за что, просто убили, мерзавцы!.."

Жизнь стала налаживаться, время пошло повеселей, ветром сносило что-то, прикрывавшее небо, таяла провинциальная заскорузлость, и сквозь смуту и неясность проглядывала возможность осознать себя, почувствовать, проявиться. Я по-прежнему ездил, опять начал печататься в газете, помню свои очерки: опять про рыбаков, путина, море, потом почему-то о норках в тайге — целая была история о том, как заведующий норковой зверофермой, замещавший директора совхоза, скормил им совхозное стадо: зверьки погибали, а были страшно прожорливы, он и решил, что за них ему нагорит больше, чем за коров — валюта; о чем-то еще. Помню наши пьянки-гулянки — денег стало больше, печатался, пошли с е в е р н ы е надбавки: мы входили во вкус журналистской жизни — по-студенчески, без детей, свободно.

У В. Х. был приятель — инструктор обкома партии, они вместе учились, кажется, кончали в свое время Центральную комсомольскую школу, а потом встретились на Сахалине в разных ролях: В. Х. в молодежной газете, а потом, погорев, оказался со мной на радио; его приятель в обкоме. У них дружки в райкомах, в горкоме комсомола, они вместе пили, и я, попав к ним однажды,

был ошеломлен: они и пили иначе, разваливаясь на ходу, на глазах превращаясь в животных. Помню похмелье: утром зашли с В.Х. в райком к одному из наших вчерашних собутыльников — в секретарский кабинет. Он начальственно говорил по телефону: "Слушаю вас... полагаю, комсомольские принципы обсуждению не подлежат... — и нам, прикрыв трубку. — Блядь отчаянная, могу привести хоть сегодня, сейчас — комсорг с телеграфа... — и в трубку: — Хорошо, заходите в райком, обсудим, а в конце недели поставим вопрос на бюро — компрометировать наши принципы не позволим. У меня все". Бросил трубку и вытащил из стола початую бутылку, стаканы... Помню, как сгорел главный дружок В.Х. — из обкома партии: в девять часов утра, когда обкомовский чиновный люд, скапливаясь у входа перед милиционером, проходил, предъявляя партбилеты, с тротуара напротив сошла женщина, подошла к нашему приятелю и выплеснула ему в лицо полную чернильницу. Замять такой террористический акт было мудрено — сразу не отмоешься! — отправили его в Москву в ВПШ. Такие личные впечатления просвещали меня в знании жизни лучше любых теоретических рассуждений и даже обстоятельств собственной судьбы.

Чуть позже приехала на Сахалин киногруппа — московские хроникеры, развеселые ребята, лихие, свободные, богатые, без наших местных проблем и провинциальной скованности. Им не нужно было: снимали пейзажи, сопки, рыбаков, снежный буран, засыпавший в мае расцветший уже молодой зеленью город, так что домой пробивались сквозь метель и сугробы — экзотика! Повяло от них столичным — размахом, простотой, забытой уже небрежностью, легкостью — все ерунда: Б.Ф., О. — живем, о чем говорить, когда Сталина будто и не бывало!

Хорошо помню этих веселых, красивых ребят — прекрасная была группа, один к одному: всюду они побывали, ходили в американских ботинках, курточках, с утра начинали пить — надо было протратиться, фильм стоил

миллион! Снимали все подряд, пели под гитару, у нас с ними дружба — не разлей водой, отношения сложные, я даже отчаянно страдал, но понял: жизнь здесь подходит к концу, надо ехать, все равно: еще год или прямо сейчас. Да и срок подходил: кончалась договорная трехлетка — полгода отпуск, а там будет видно — Москва или снова сюда.

Но было все не так просто — не так, как в хроникальном фильме о Сахалине, снятом нашими новыми приятелями. Мы увидели его год спустя на экране: экзотическая красота, производственные, как в нашей газете, моменты, липовый театрализованный отдых, геологи шагают с гитарой по горной тропе... Все было иначе, и моя жизнь была столь же непохожей на их жизнь, как наш Сахалин — место, где мы жили, — на их Сахалин, ими же лихо отснятый.

Я никогда не думал писать о том, что сейчас напишу. Но пришедшая однажды мысль не уходила, бродила подспудно, что-то выплывало в сознании, услужливо затянувшем эту историю, казалось, совсем стершуюся — не было такого, зачем вспоминать. Но однажды вспомнив, снова и снова возвращался к ней, пока не понял, что без нее — нет первой книги, что именно этой историей, моим позором и стыдом, все затягивается в узел внутренним сюжетом, отсекающим случайное, не идущее к делу. Могу промолчать, никто б не узнал, но внимательный читатель поймет мое лукавство, умолчание сделает лживой дорогую и важную мне мысль, цель же книги — уяснить ее, представить живой, не просто же я излагаю свою биографию, развлекаясь воспоминаниями, и хвастаюсь подробностями мне дорогими, а другим всего лишь любопытными.

Человек живет и живет, не столько совершает поступки, сколько их не совершает. Но к чему-то он должен быть готов, полагал я, для чего-то родился, не просто же

так: прокоптить, съесть и сказать положенное — и исчезнуть. Сложность в том, как узнать — пришла ли уже твоя пора, тот ли это поступок, к которому ты всю жизнь шел, твоя ли это проба?

Как-то примерно так я и думал тогда, теоретически объясняя себе себя же. Думать думал, но не заметил, не узнал своей поры, не понял, что это уже проба, а потому не совершил поступка. А между тем, его следовало тогда совершить. Замерзание, о котором, начиная книгу, я думал, как о некоем термине, объясняющем мое состояние, замедленность и заторможенность развития, как о явлении вполне объективном, проявилось в моей биографии конкретно и дало плод естественный в своем уродстве. Едва ли это меня, впрочем, оправдывает, во всяком случае — объясняет.

Знаменитое пети-жё в "Идиоте": каждый рассказывает что-то о себе, но "такое, что сам он по искренней совести считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!" Странная мысль, пришедшая Фердыщенко в голову — "хвастовство особого рода", "вещь совершенно невозможная и нелепая". Люди литературные играют в такую игру, особенно модной она стала одно время после фильма Пырьева, который у нас многих познакомил с Достоевским. И такое начинается возбуждение, каждый, подсобравшись, вспоминает анекдот из собственной жизни, в меру сил обработав его литературно. Всегда, кстати, и получается, как в "Идиоте": кто-нибудь — обычно самый бездарный, рассказывает действительно мерзкую историю, как Фердыщенко, укравший три рубля и сваливший на Дарью-служанку, — "промах дурного тона". Остальные рассказывают свои новеллы "с особым литературным удовольствием", надувая очередного Фердыщенко.

Такая же гусарская история была у меня: прямо как у погубителя Настасьи Филипповны — Афанасия

Ивановича. И помню, меня охватывал азарт, некоторое приятное смущение от собственной, не Бог весть какой интересной, но романтически меня приподымавшей отчаянной ситуации, когда подходил мой черед хвастовства в этом не высокого разбора стриптизе.

Я перескажу эту историю. Дело было на Сахалине в первый еще мой приезд, когда я надрывно пил, а еще больше делал вид, что пью, купаясь в своей новой жизни, хвастал резиновыми до пояса ботфортами, твердил, как стихи, экзотические названия сахалинских мысов и бухт — как в книжках Стивенсона, и был влюблен в каждого из команды маленького катера, на котором мы ползали вдоль западного побережья.

В тот раз мы шли к острову Манерону — милях в тридцати или чуть больше от Невельска, а потом должны были зайти в город. Мой новый приятель, с экзотической судьбой и непростой романтической историей, — на нее я и упирал, рассказывая, — в результате которой он застрял на Сахалине, женился, обзавелся ребенком, — а больше у него совсем ничего не было! — попросил зайти, когда буду в Невельске к его жене и дал записку. Я развернул ее ночью в кубрике, вернувшись с вахты, вспомнив про Гамлета и Гильденстерна с Розенкранцем: "Это мой друг, сделай все, ты сама знаешь, чтоб ему было у нас хорошо".

Мы пришли в Невельск под вечер, и я, еще чувствуя тошноту, (штормило), звон в ушах, еще не остыв после ошеломившего меня экзотического острова — таинственного и безлюдного (где-то, невидные в сопках, жили на нем пограничники), проплутав по заросшим бамбуком скалам, наглотавшись ветра на палубе, сразу же отправился по адресу, прихватив в одном магазине бутылку, а в другом игрушку для ребенка.

Надо было пройти весь город, далеко вытянувшийся вдоль берега, солнце садилось, небо над морем было красным, ветер стих, я гремел сапогами, по дороге хлебнул стакан для храбрости; неделю я уже не брился — считал, что у меня борода, — был готов к предстоящему.

Так и было, как быть должно. Маленький домик у самой воды, смешной япончонок, беленькая хохлушка, жаловавшаяся на мужа: сядет у окна, глядит в море, зудит на скрипке — сил нет, хоть топись.

Мы сидели на крыльце, пока окончательно не стемнело, море плескалось у самых ног, над самой головой мерцали звезды, из лагуны чуть затхло пахло водорослями; мальчонка заснул, посвежело, я наколол в темноте дрова, совсем поздно бегал еще за бутылкой в ресторан, как раз закрывали, едва успел, пробившись сквозь пьяную, галдящую толпу — там была драка, подогнали милицейскую машину с решетками на окнах — дверь в дверь, хватали всех — облава.

Я проснулся на рассвете в полном смятении — все было нехорошо, отчаянно стыдно самого себя и невысказанно представить встречу с приятелем. А потом тащил мальчонку в детский сад — километра три вдоль побережья, еще дальше на юг — за город, вместе обратно, проводил ее на работу.

Пети-же приносило мне неизменный успех: море, таинственный остров, несчастный японец, милая женщина, легкий успех и предательство не из самых тяжких — он мне и товарищем не был, встретились — разошлись.

И конечно, я "надувал Фердыщенко", если он оказывался при том и рассказывал о себе пакость — жанр требовал не столько откровенности, сколько литературы.

А между тем, если "искренно, чтоб не лгать", надо бы вспомнить историю, которую я и вовсе забыл, да так прочно, что ее, словно бы, совсем не было.

И на этот раз Сахалин, только во второй мой приезд. Два месяца, как меня выкинули из газеты, я еще не пришел в себя, все не мог понять, почему меня все-таки пожалели — взяли на радио. Умирает Сталин, на здании почтамта гигантский портрет — во весь рост, уверенно и твердо, хоть и в трауре, шагает вождь навстречу каждому, кто на него смотрит: я-то знал — затопчет.

Всеобщая скорбь, о своих сложных чувствах лучше помалкивать — сгоряча разорвут на куски.

А у нас на радио паренек — славный, совсем мальчик, имени его я не помню, на меня он всегда очень добро поглядывал, казалось, ищет знакомства, сойтись поближе, но все не получалось. Но был он вполне самостоятелен, без искательства — открытое лицо, светлые, помню, глаза; у него была своя жизнь, работу явно отсиживал, да и не получалось — не журналист.

В день всеобщей скорби все у нас старались быть вместе. Мы уже сошлись по-журналистски — такая бывает поверхностная, но словно бы прочная дружба, а он — исчез. Не обратили внимания, не заметили; потом три дня не являлся, искали, найти не могли, а еще через пять дней пришел — опухший и рваный — беспробудно пил.

Такого только и ждали, скорбь явно ждала выхода, нуждалась в реализации: где-то там за двенадцать тысяч верст люди получили возможность давить друг друга, калечить и рвать зубами, а тут — только портрет на здании почтамта.

К собранию готовились, как к исполнению гражданского долга — наконец-то можно было искренно и смело говорить, что думаешь, что ж, что это сошлось с мнением начальства, да и перед лицом такой смерти — не след думать о мелочах.

Ко мне подошла партсекретарь, мне явно сочувствующая, и сказала, что я должен выступить, что мне это нужно, подчеркнула она, учитывая ситуацию. И я почувствовал холодок и дуновение неизбежности. И собственное бессилие.

Но был убежден, что выступать не стану: мне его было смертельно жалко, смущало в этом пареньке что-то, чего я не понимал, а может, я просто сам себе не нравился и придумывал все остальное, чтоб свести концы с концами. Перед собранием он поглядывал на меня, порывался что-то сказать, но смолчал. А на собрании

держался вызывающе, даже нагло, быть может, надрыв, но откровенно: плевать ему на наше решение, осуждение и на то, что мы про него думаем, апил потому, что хотел напиться, и не нам ему указывать.

Все его поочередно клеймили, не очень, впрочем, азартно, всех что-то смущало в этой истории и пыл исчез, едва собрание началось. Подошел мой черед. Сначала он глядел на меня, как всегда — с интересом, ждал чего-то, а когда я открыл рот, усмехнулся, поскучнел и больше на меня не взглянул. А мне ведь он к тому же помог, если бы так себя не повел, было бы в нем сожаление, тревога за комсомольский билет, я бы и рта раскрыть не сумел, а раскрывши, себя б сам и заплевал, — а тут мог и искренне возмутиться. Ладно что напился, пять дней прогулял, мало ли у кого какая реакция на такого рода события — он даже дал мне возможность остаться благородным! — но ведь и сегодня, сейчас, он считает себя правым, нисколько не огорчен, более того — ему плевать на наше отношение к нему, его не тревожит и то, ради чего мы здесь собрались, а мы еще волнуемся — решаем его судьбу! Что тут говорить и обсуждать?..

Все проголосовали. Он швырнул комсомольский билет и ушел, не поглядев ни на кого.

Больше мы не встречались, он исчез с Сахалина, ему было тогда, думаю, лет двадцать, все у него, быть может, и обошлось, да и наверно — жизнь впереди, уехал, никто и не узнал ни о чем.

Но мне было скверно, и долго еще, все позабыв, даже имя, стерев в своей душе все воспоминания об этом, я помнил и знал эту его усмешку и сразу погасший ко мне интерес.

Надо ли удивляться, что мне тогда не подумалось, какие у него могли быть собственные счета с усопшим вождем, что не пришла в голову мысль о сюжетной завершенности на этом собрании собственной, уже моей судьбы — что не вспомнилась хотя бы толстушка Зина Гольцман, проголосовавшая в 1936 году против исключения сестры

из комсомола? ”Я бывала в их доме почти ежедневно, — сказала маленькая Зина, — я знала и любила Идиного отца, как же я могу голосовать за то, чтоб ее исключили за потерю бдительности? Может, я что-то не понимаю, но этого я сделать не могу...” Что это было — чувство товарищества, мужество, верность собственной жизни или просто естественная невозможность участия в очевидной, скажем мягко, несправедливости?

Как бы то ни было, но едва ли Зине Гольцман было легче, чем мне, спустя семнадцать лет: ее отца, авиационного наркома, тогда уже не существовало, а дощечка с его именем на кремлевской стене, даже если ее к тому времени еще не сорвали, вряд ли могла ощущаться в середине тридцатых годов реальной защитой. Но у меня-то был собственный и словно бы такой большой и разнообразный опыт, или как раз в этом все дело — душевное замерзание, о котором я толкую, зашло слишком далеко, убивая постепенно всякие реальные представления о вещах элементарных.

Я многого не рассказал здесь о Сахалине, что-то еще, наверно, было бы интересно, важно и может добавить к сказанному обо мне в ту пору. Но сейчас, когда написано то, что написалось, — я добавить уже ничего не могу. Все так тут сошлось и завязалось, что другое станет неправдой, литературой — будет всего лишь очередным — пети-же.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПЕРВОЙ КНИГЕ

Книга написана, на нее ушел год жизни. Я начал ее в сентябре 1968, едва опомнившись, она была необходима как глоток воды. Я кончил ее 21 августа 1969, не подгоняя к дате — так совпало, она завершилась сама собой.

Такой же был день, как и год назад: уходило лето, свет мягкий, воздух прохладный, кричали гуси и петухи, а с горы, где мы жили над оврагом, как в раме, вид на излучину реки, на тот берег, лес и луга...

Я опять жил в Тарусе: до Москвы полтораста километров, до Праги — все те же 1 200.

Год назад все это казалось невозможным: еще день, два — что-то обязательно прояснится, пускай будет хотя бы как накануне! Мы приехали тогда из Москвы — все те же полтораста километров! — поздно, ночью, жужжали приемником, не верили и шумели, перебивали друг друга — не понимали.

Но ничто ничему не помешало, не изменило. Сегодня перед нами те же километры.

Мы изменились за этот год: постарели, устали. Все определилось — та самая ясность, которая приходит однажды при свете костров. Хотя и стыдно говорить об этом — всю жизнь вокруг нас что-то пылало, а мы до сих пор прозреваем и прозреваем.

Но это наша жизнь, наш опыт, наша судьба. К тому же за этот год разве мы только старели и уставали?

Теперь книга написана и я чувствую, как уже отдаляется от меня, начинает жить собственной жизнью. Про это говорят красиво: книги имеют свою судьбу.

Я не знаю, как она у нее сложится, но думаю, наступит момент, когда сам я не сумею хоть как-то на ее судьбу влиять. Наверно, это неизбежно. И не знаю, смогу ли написать книгу вторую, хотя она очень важна мне, продумана, к тому же написанное всего лишь начало разговора.

Ощущение важности нашей работы не оставляет меня, как и чувство того, что каждый день может стать последним, а потому и должен быть прожит хорошо — мы столько напутали все и каждый, оставляя расчистку на когда-то. У нас нет на нее времени. Я писал об этом год назад, а теперь стало совсем несомненно.

Мне посчастливилось. Эту часть работы я завершил и благодарен друзьям, постоянно и ежедневно ощущая поддержку, интерес, сочувствие и понимание. Мне посчастливилось еще больше: я прочел книгу маме — всю, от первых страниц. И видел слезы на ее глазах: это было как исполнение самой заветной мечты. А какой мне еще искать награды?

1969, октябрь.

КНИГА ВТОРАЯ

О Т Т А Я В Ш И Е

ЛИТПРОЦЕСС

1.

Балкончик-площадка висел над грязным пустырем, и казалось — мы плывем над ним, а навстречу нам всплывает шум огромного города — вечерний, уже успокаивающийся, но все равно мощный, неразъединимый на памятные по детству элементы, и вспоминался океан, длинные ленивые волны, с грохотом падавшие на берег, а сзади была дорога в десять тысяч верст через всю страну, эти версты как бы подпирали меня, они и тащили наш балкончик, не давали разъединить и понять шум родного города: внизу наискосок на таком же балкончике паренек тренькал на гитаре, галдели гоняющие мяч ребяташки, визгливо кричала женщина, ухватившая за руку басом ревившего мальчонку, и все ближе и ближе к нам победно гремела песня двух разгулявшихся мужиков, отсюда, с высоты, видно было, как им хорошо, как на все наплевать — так славно шли они посреди мостовой, шараясь от одного тротуара к другому...

— Милая сердцу картина. Россия-мать и дым отечества... Хорошо в краю родном... Что там еще есть к такому прекрасному случаю? Гнусно, конечно, и никакой перспективы. Так и будет и еще через пятьдесят лет. И через сто пятьдесят.

— Перестань, — сказал я. — Попробуй спустись, войди сквозь стену в каждую из этих квартир, поговори и почувствуй — поймешь. Неужели не видишь, как все

это сдвинулось, тронулось — плывет. Смотри — наш дом, он как корабль...

— Слабовато пьешь — на стихи потянуло. Какой там корабль — старая калоша. А на мостике кто, на капитанском? Какая у всех радость — Лаврентия Палыча застрелили! Радуйтесь. А кто в него стрелял? Ты взглядишь в их лица — что он, больше их, что ли, виноват?

Мудрено было с этим спорить, да и верно — кого защищать? Но спор был не об этом, и сейчас, спустя годы, вспоминаю мой первый разговор после приезда в Москву: сразу с вокзала, обалдев от десятидневной дороги, в жару и вагонной тесноте, измученный ежедневным, прямо ритуальным пьянством — Сахалин, деньги, их нельзя было не пропивать, традиция! Шумная родственная встреча, обильная московская пища... А во мне гремели все эти десять тысяч верст, в кармане были заработанные — и немалые — деньги, значит, можно жить в Москве первое время. Стоит ли задерживаться здесь, в этой мною же презренной суете, а там ждет работа, там меня знают, чуть ли не ценят, там друзья, свой собственный, самостоятельно построенный дом, что нам — море по колено! Но разговор, тем не менее, начался, он продолжался годы и завершился не словами — драмой, путаницей, судьбой, кровью завершился тот пьяный светский треп.

Все наметилось уже тогда. Я и теперь не верю в ранние прозрения, готовые с юности концепции, холодный анализ фактов, которые вопиют. Не та была пора, не те обстоятельства, не верю я такой трезвости, и не трезвостью она обернулась, а равнодушием, цинизмом, принципиально оправдываемым правом на компромисс и гнусность, подлым расчетом, а в конце концов цинической приспособляемостью. И не ум был в холодном, подчас веселом и самоуверенном анализе страшных фактов: отсутствие чувства, ответного страдания выдавали плоскую гибкость, способность рассчитать, безо всякой попытки уяснения отвергаемого с порога существа произошедшего.

Это очень существенно, и я постараюсь сразу объяснить, потому что так или иначе, но жизнь пошла так, что я должен был конкретно, самому себе доказывать собственную правоту и верность своим словам. Чем больше проходит времени, тем мне все яснее правота такого состояния, тем дороже сердечная инфантильность — естественность моего запоздалого прозрения.

Да, он был прав, мой приятель. Едва ли можно было углядеть хоть какую-то надежду на тех лицах, а что застрелили обер-палача, было, разумеется, всего лишь сведением собственных счетов. Но его тем не менее, прости меня, Господи, застрелили, старая калоша сдвинулась, со скрипом, оставаясь все той же старой калошей — но сдвинулась! Ветер подул в наши слабенькие паруса, наполнил их свежестью. Это ведь тоже было правдой — столь же объективной, как и безнадежная правда о невозможности хоть что-то всерьез изменить. А то, что за пятнадцать последующих затем лет я, казалось бы, пришел к тому, о чем спокойненько пророчил мой приятель тогда, никак не свидетельство его правоты.

Впрочем, едва ли имеет смысл все это сейчас заговаривать, важнее попытаться непосредственно прочувствовать этот опыт, дать возможность увидеть и только тогда понять.

Мой приятель и ровесник за годы, проведенные мною на Сахалине, успел, казалось бы, не так много: журналистская работа где-то в ТАССе, что-то среднее между грошовой дипломатией и журнализмом, контрпропаганда; но зато вращение в сферах, близких к большой политике. Путь был прямой: институт международных отношений, чистенькая анкета, способности, сообразительность, энергия, разумеется, партбилет, как пропуск на службу...

"Кругом мерзость и все мерзавцы!" Что происходит, когда такого рода "трезвое отношение к действительности" становится мировоззрением? Если проскочить промежуточные, существующие всегда оправдательные

звенья, оно сводится к простому: все позволено, нечего наивничать — все попутаны, больше-меньше, разница только количественная. А если так — не все ли равно? Не я, так другой, — может я, как человек порядочный, принесу меньше вреда, а, глядишь, и какую-то пользу... Вот оправдание любой карьеры... Но ведь верно — справедливо. Тогда как мое романтическое отношение к работе на Сахалине: газета, радио, люди, драматический конфликт, очевидное потепление, надежды, освобождение врачей и т.п. — все это, на самом деле, стоило три копейки!

— Ты лжешь в своих заметках в газете, пишешь то, что хочет редактор, а его натаскивают в обкоме — тоже мне корабль!

Я знал, что это так, что придуманные мною очерки — условная игра в никогда не существовавшую жизнь, "поставленные проблемы" высосаны из пальца — нужны только для отчета, "спущены" сверху, что люди, которых я видел и, как мне казалось, знал, живут иначе, думают не об этом и больны другим.

— То же самое здесь. О чем я пишу и о чем могу написать на Англию? — он говорил весело, зло, развлекаясь моим огорчением, с приемами столичного дуэлянта, привыкшего к застольному трепу.

Несколькими годами позже, в 1956 году, он, так же похохатывая, рассказывал: "Премия получил — довольны, удивляются, откуда, мол, пафос, страсть, а я, когда пишу про Венгрию, думаю о войне в Израиле, а когда про Израиль — у меня перед глазами наши танки в Будапеште — вот она, искренность чувства!.."

Все было логично, и я еще долго не понимал, как совместить это с личной, как мне казалось, порядочностью, готовностью помочь, словесным радикализмом такой крайности, что бывало не по себе даже в то с каждым днем становившееся все более либеральным время.

Мне долго представлялось это бравадой, стремлением специально обострить разговор, типично журналистским

юмором, цинизмом чисто словесным. Студенческая инфантильная убежденность, что все мы хорошие люди ("какие мы все хорошие люди!" — под водку восклицали мы с Марком Шегловым), действовала безотказно: мы друзья-приятели, жизнь сложна, трудна, порой ветвиста, но нас она никогда в этом смысле задеть не может...

Я задумался всерьез над тем, кто же такой мой приятель, значительно позже — года через два. Мы гуляли с ним по заросшей лесной тропинке в подмосковном дачном поселке. Был все тот же разговор и все то же распределение ролей: я — неисправимый оптимист-романтик (XX съезд, реабилитация, восстановление норм, подземные толчки все сильнее — казалось, все разъехалось, не удержать), а он — эдакий Мефистофель из ТАССа.

— Ты все толкуешь о верности, о том, что мы не такие, как они, что с нами ничего не смогли бы поделать. Хорошо. Допустим. Но вон, видишь, впереди движется организм? — а перед нами по тропинке смешно косолапила прелестная маленькая девочка — дочь моего приятеля. — Что б ты мне тут ни говорил, а если надо будет ради нее, я тебя, не задумываясь, продам — и ты поступил бы так же на моем месте!

Я, помню, остановился и как-то оглох. По-дачному детскими голосами шумел лес, хорошо было — не жарко. И разговор такой привычный — теоретический: поговорили, чаю с вареньем напились, а можно на станцию сгонять — выпить пива... Но меня вдруг взяло за горло, я понял: не мое здесь все — и дача, и варенье, и эти разговоры — не для меня.

Впрочем, наверно, преувеличиваю — не только в этой его фразе было дело.

Сложность наших отношений завязывалась все туже и неожиданнее, хотя мы редко встречались, однажды только крупно и тяжело разговаривали; я узнавал случайно, стороной о его продвижении по службе, о заграничных

поездках, о том, что по-прежнему более чем радикален в разговорах. А потом услышал, узнал прорвавшийся сквозь треск и жужжание свободный голос по радио — в августе 1968 года мой приятель вел репортаж из Праги, въехав туда на танке, и, как говорят, получил поощрение за смелое и находчивое поведение, оказавшись среди оголтелых ревизионистов, вздумавших что-то там о свободе. Тоже, наверно, писал о Вацлавской площади, а думал, что въезжает на Красную.

Но это потом — пятнадцать лет спустя. А тогда мне бы и в голову не пришло, что жизнь так далеко нас разведет, поставит лицом к лицу, что мне так тяжело придется заплатить за годы дружбы, что выкуп, который я должен буду внести, чтоб вырваться оттуда, будет таким невероятным — куском сердца, что слова, которые я долго еще не умел принимать всерьез, и есть суть дела. А для нас, занимающихся этим делом, они становятся жизнью. Что все это уже всерьез.

Нам не дали тогда долго стоять на балкончике: "Мужчины, как всегда, уединились, решают международные проблемы..." Мы вернулись в забитую дорогими вещами квартиру, к столу, уставленному роскошным питанием, я был бенефициантом и еще много дней с восторгом наслаждался: удивительная, кипящая в масле картошка, пироги и торты разных сортов, теплая ванна среди бела дня — будничность сытости и благополучия.

Еще была дача — вдали от станции, среди тишины и сосен, можно было лежать, уткнувшись носом в собственную клубнику, отвалившись от нее, набив оскомину кисловатыми яблоками, вишней, выплевывать сливовые косточки.

Еще был юг — традиционная поездка "дикарями" к теплому морю: сонное переползание с места на место, отвратительные потные города в ярких купальниках, ленивые разговоры — ни о чем.

Можно было жить так годы, постепенно вползая в эту жизнь, разнообразя ее невинными удовольствиями,

адюльтерами, чистенькими и не слишком связизшками, острыми разговорами после сладкого. А почему, собственно, нет? Все мерзость — и все мерзавцы!

Но надо было что-то решать и конкретно. Числился я все еще на Сахалине, приехал в отпуск, председатель нашего областного радио вызвал перед отъездом к себе и, недоверчиво поглядывая сквозь очки остренькими глазками, предупредил: "Попробуйте сбежать — обещаю крупные неприятности. Все хотят в Москву..."

Но я-то не хотел! Я и тогда, в разговоре на балкончике, потому был так смел и уверен, что чувствовал за спиной гудящие тысячи километров, придуманную важность своей сахалинской жизни со всей ее романтической бесшабашностью и неустроенностью. Но что-то треснуло во мне в пору моей газетной драмы и, как после этого ни налаживалось, наладиться не могло, хотя меня печатали в газете, ласкали, был я уже старожилом и чему-то действительно научился.

Было к тому же нечто завершавшее ту мою жизнь, то, чему я поставил точку накануне отъезда, утверждая себя, главным образом, перед самим собой.

Порой и сейчас мне приходит в голову, хотя всего лишь как воспоминание, пришедшая однажды в детстве тревожная, сладко-щемящая мысль о нереальности нашего существования. Однажды я проснулся в своей кровати с сеткой, в Третьем Доме Советов, глядел на солнечный луч, разрезавший комнату, в нем плясали мириады пылинок, и мне подумалось, что ничего этого на самом деле нет, что я сплю, мне снится этот луч, эти пылинки, дерево, шелестящее за окном, трамвай, что дребезжит стеклами другого окна в переулок. И даже мама, которая вот-вот подойдет пожелать доброго утра, спросит, как я спал, поможет одеться — все это не на самом деле, а сон, он будет длиться еще, может быть, очень долго, но однажды, Бог весть когда, кончится — и

тут уже я проснусь по-настоящему. Где-то, кажется, я читал, что такого рода ощущения кому-то приходили, что они не так уж редки, а, значит, тем более вероятно, что они справедливы, во всяком случае, способны объяснить нечто в том, над чем сам я никогда не давал себе труда задумываться.

Как бы то ни было, но сахалинская жизнь порой кажется мне существовавшей только в моих ощущениях, на самом деле все было не так, а совсем иначе, просто, раздражив себя и взнуздав, чувствуя потребность в таком бешеном ритме и темпе, я восполнял ими недостаток чего-то более существенного, чего и быть не могло со мной в ту пору.

Так вот, чужими глазами, вижу я, как мы выходим из подъезда на Ярославском вокзале, измученные долгой дорогой, бледные, жалкие, неспособные вписаться в московский пейзаж, с дурацкими чемоданами, отягощенные и повязанные сложившимися уже в дороге (десять дней) бытом и отношениями с соседями по купе. Выполняя заранее заданную себе программу, я бегу в магазин за коньяком, сам собой продолжается ритм уже выбранной жизни, хотя на самом деле никуда не нужно бежать, никто не хочет моего коньяка, да и мне он не нужен, а хорошо бы с дороги помыться и отоспаться.

Но все было задано еще перед отъездом из Южно-Сахалинска. Дружба со столичной киногруппой стоила мне кровавых терзаний, впервые пережитого душевного ада, я пытался залить его водкой, забыться в жалкой браваде и вполне литературных сценах. Очень было красиво: японские дома с раздвижными бумажными стенами, японский ресторан с русской водкой, цыганские романсы под пьяную гитару — должна была быть компенсация, не мог же я решить хоть что-то еще более красиво: выбрав пистолеты. Но запал был именно такой, на такое тянуло раздражившееся, пустое, впрочем, воображение. Надо было разрядиться, чтоб

я мог уехать, чувствуя завершение, к которому, скорей всего, потом не смог бы вернуться.

Мне передали, что Л. Х. мне очень сочувствует, и, любя, жалеет, негодует против всех, кто портит мне жизнь, пользуясь, так сказать, моей чистотой и наивностью. Его я и наметил жертвой, точно выбрав момент, понимая, что этот турнирный боец и местный Дантон будет ошеломлен моим напором, сразу ничего не поймет, а когда поймет, я уже выиграю дело.

Я подстерег его в одном из кабинетов, когда вся редакция была в сборе, а он, как всегда, держал площадку — травил очередную баланду, прервал его на полуслове, сказав, что не могу уехать, не попрощавшись с ним отдельно и особенно, он начал ласково улыбаться, а я выпалил ему, что он мерзавец, что никто не уполномачивал его заниматься моими делами, никто не давал права высказывать его гнусные сожаления и что если еще попробует хоть раз вмешиваться не в свое дело, я перелому ему ноги. Надо было поглядеть на этого крепкого спортивного еврея, на всеобщее в связи со всем сказанным ошеломление, на всю невозможность такой ультра-интеллигентской надрывной ситуации в нашей жлобской газете! Но самое главное — это было совершенно невозможным для меня, и решившись на это, я шел против собственной природы, ощущая, что падаю головой вниз, дух захватывает, но уже все равно не могу остановиться.

На другой день мы уехали: надо было лететь самолетом через Татарский пролив в Хабаровск, а потом поездом десять тысяч километров, чтоб отдышаться и придти в себя, перевести дух.

По приезде в Москву я безропотно проделал все традиционные процедуры: поехал на юг, валялся на пляжах, тащился по жаре в Сочи и Хосту, ездил в "международном" вагоне, плыл на "России" в "люксе", валялся на даче и приобрел роскошный приемник. Денег мы привезли, как ни странно, много: отпускные за полгода,

зарплата была к тому времени двойная — пошли сто процентные надбавки, были постоянные гонорары — вот и собралось, несмотря на безалаберность.

Жизнь продолжалась в сахалинской инерции: ни к чему не обязывающий треп, светское застолье — пустота, веселость от только внешних раздражителей, Сахалин уплывал, становился болтовней о нашей героической юности.

Но должно было быть обеспечение под такое пустое прожигание жизни, а вернее, убивание времени. Деньги, естественно, таяли, следовало добиваться положения.

Новые родственники через своего именитого приятеля привезли меня однажды в Переделкино, на дачу преуспевающего мерзавца, имени которого я к тому времени еще не слышал.

А все было просто и логика была своя, не однажды выверенная жизнью: ты мне — я тебе. Приятель моих новых родственников, крупный в свое время чиновник, чуть не министр, со связями и размахом — застолье, охота, широкая жизнь и вполне естественный круг знакомств в мире литературы: а тут приехали дети, все чисто, славно — три года на Дальнем Востоке, теперь сам Бог велел пристроиться в столице.

И вот машина мчит нас в неведомый мне подмосковный поселок, шофер знает дорогу, у них с хозяином своя феня, обменялись непонятными мне репликами, куда-то заезжаем за коньяком, уже вечер, темно, свежо, конец лета, под шелестящими деревьями, по шуршащим асфальтовым дорожкам — тормозим у глухого забора: собаки, радостные голоса, ворота настезь.

Принимают в саду, под яблонями, разговор пустой, светский, льстивый; вельможный гость рассказывает о последних достижениях отечественной хирургии — о пересадке головы у животных, о том, что и людям скоро можно будет что-то там с головой делать и пересаживать, и, вкрадчиво, наша дама: "Голова нашего милого хозяина

не нуждается ни в каких самых современных манипуляциях над ней". И величественный наклон седой головой в знак того, что комплимент принят. Потом хозяин выдает литературные новости. Цель приезда — организация нашей карьеры — решена в два счета, я отчаянно робею, в углу сада вполголоса толкую с шофером об охоте на медведя, которого никогда в тайге не видел... И вдруг слышу: "...Какая гнусность, троцкистская демагогия — и с к р е н н о с т и, видите ли, захотелось! Для них искренен только разговор о нашей беде, о нашей боли, а реальность, во что перелился наш пот и кровь — железные конструкции наших заводов-гигантов, для них, видите ли, лакировка! Вы прочтите омерзительные статьи в "Новом мире", они выбивают почву из-под наших ног, все, что строили на века, гигантское здание нашей литературы... И какая наглость, ишь, рваные аристократы, нигилизм, замешанный на белогвардейщине..." И пошел, пошел — это хозяин. Гости неуверенно поддакивали — не спорить же: "Да, конечно, вы вон как смогли широко взглянуть, но, знаете, с нашей узко-специальной точки зрения... мы, было, заколебались, мы люди практические, а здесь, так сказать, духовная сфера..." — "Помилуйте, мы все должны бить в колокола, помяните мое слово, дай воли, это завтра же обернется именно практически, я знаю этих вчерашних семинаристов, аристократов духа, у них все наготове, весь набор ультра-искренней демагогии, а на самом деле мечта только о том, чтоб схватить нас за горло..." А в свете красивой, затененной зеленью лампы — благородная седина над интеллигентным холеным лицом, мягкие пальцы цепко держат рюмку — вот они, пот и кровь, перелившиеся в железные конструкции наших заводов-гигантов!..

Машина выскочила на шоссе, небо горело над городом, огни приближались, а я был совсем трезв, было жарко от стыда, и мое молчание стало, видимо, тягостным, потому что мои спутники, возбужденные светским приемом и успехом миссии, примолкли.

Машина резко затормозила на перекрестке.

”Отсюда сворачивали к х о з я и н у, — бывший министр кивнул на темный поворот, а шофер поддакнул. — Страху бывало! Свернуть-то свернешь, а вывернешь ли обратно, Бог весть”. — ”Зато порядку было больше”, — буркнул шофер. — ”Много ты знаешь про порядок, — хозяин машины вдруг обозлился. — На кладбище заводить тот порядок, — он зябко шевельнул тяжелыми плечами. — Сейчас тоже ничего не поймешь. Непривычно и страшновато. Мало ли куда вывезет”. — ”А вам приходилось туда сворачивать?” — спросил я. Он не ответил, долго молчал и, наконец, заговорил, продолжая свое: ”А этот святоша... писатель, крепко напугался — глядишь, дом отнимут, забор поломают, а без забора он писать не умеет. Вон сколько слов знает: демагогия, троцкизм. А страх великий. И там был страх и тут страх. Только к тому успели привыкнуть, приспособились — ври себе, глядишь, вывезет. Ну, а не повезет — пеняй на себя. Здесь страшней — не знаешь чего бояться, а отовсюду рожи, как во сне, прости Господи!..”

Тоже было непросто у приятеля моих новых родственников. И погорел он не случайно: кто-то из особо ревностных друзей обнаружил в его анкете несоответствие — умолчание об отце, сгнившем в Сибири еще в пору великого переселения русского крестьянства на рубеже тридцатых годов; и пронесенная через всю жизнь удивительная любовь к моей новой родственнице — не чиновное это было чувство при живой жене и вполне пуританско-партийном облике. Пей, гуляй, но чтоб через всю жизнь, но — л ю б о в ь, а не что-то веселенькое, что всегда позволено... Существовал и к тому времени начал окостеневать неписанный, но, тем не менее, вполне четкий морально-нравственный кодекс, раз навсегда установленный — ”пошитый” мундир, надел его — не снимай, чтоб никто не заметил хоть одной расстегнутой пуговицы, позволишь — пеняй на себя.

Быстро это произошло, какие-нибудь три десятилетия и такое превращение: из вихрастых семинаристов, очкас-

тых, горластых интеллигентов с тонкими шеями — в ражих чиновников, у которых на годы расписан каждый жест и слово, чья внешность — свидетельство благонадежности и возможности дальнейшей карьеры, взгляни — сразу увидишь, далеко ли пойдешь. Правда, если быть и буквально справедливым, здесь не было превращения, эволюции — это не семинаристы сменили тужурки на кителя, а потом на цивильные пиджаки сначала с клешами, а потом натянули благопристойно-узкие брючки, это не очкастые интеллигенты стриглись под ежик и нажрали шею, процесс был более простым — всего лишь замещение одних другими: справедливость дарвиновского закона можно демонстрировать здесь прямо лабораторно, значительно более наглядно, чем собрав пауков в банке.

Утром чуть свет я кинулся на вокзал, в электричку, к Марку Щеглову. Так вышло, что по приезде мы не повидались: замотался, сразу на юг, потом узнал, что его нет в Москве, снимают дачку. Да и не мог сразу: путаница, обозначившаяся во мне в разговоре на балкончике, о котором упоминал, неспособность решить — что же я хочу на самом деле, усталость, инерция, требующая непрямого исполнения сахалинской "традиции", траты денег... Но главное, конечно, не знал — кто я теперь такой? Уеду ли обратно, там ли моя жизнь, а верность ей так громко декларировал в письмах к Марку... А может быть, перевернуть страницу, начать все сызнова, хватит, может, Москва — мой город, а то, что начинается в нем, имеет прямое отношение ко мне...

Так ничего я и не решил — не на то тратил время, а поездка к перепуганному литературному делегату запутала меня еще больше: уж не причастен ли я его страху?

Еще на Сахалине я хватал Новый мир, статьи Померанцева и Щеглова, очерки Овечкина — не могли не произвести впечатления на провинциального газетчика, привыкшего с особым вниманием читать центральную

прессу. А тут статьи, написанные Марком — и сразу легко, свободно, будто не открыли окно, а выбили, да прямо с рамой — и потянуло! А еще Эренбург со своей "Оттепелью", "Литературная газета", давшая в майском номере целую страницу стихов о любви — майский официальный номер, и вдруг — птицы, листья, чувства, поцелуи! И верно — оттепель. Я посылал телеграммы Марку, поздравлял его с каждой статьей, в "Литературную газету" — гневные письма, когда стали грызть Померанцева. Поэтому так удивил меня разговор с приятелем на балкончике, такой странной показалась откровенность перепуганного писателя.

Я долго плутал в скучных улочках дачного поселка, презирая его — у нас на Дальнем Востоке не было нужды городить эти хлипкие лабиринты, отделять одну чахлую грядку от другой. Марк лежал на раскладушке, жевал приготовленное для него Неонилой Васильевной: все как всегда в их убогом хозяйстве — все в упор, абы не помереть, только-только. Марк был чуть рассеян, чуть утомлен, чуть небрежен.

Он изменился, а я был так нервно-напряжен, что сразу в нем это отметил. Все-таки у него за плечами целая кампания, его первые три-четыре статьи так прочитались, уже не только слава, но и опала, ясная позиция, а не один лишь профессиональный навык, который давался мне с таким трудом. Впрочем, была ли это позиция — может быть, лишь попытка чистого отношения к тому, что уже давно стало материалом конъюнктурной спекуляции и демагогии? На самом-то деле чистое отношение к этому "предмету" объективно не могло не быть тоже фальшью, отношением наружным, выдуманном — "предмет" требовал только лжи. Но это следовало еще понять, дойти до этого, разбив предварительно лоб, пока что наивная принципиальность, бывшая демагогией по сути, становилась смелым голосом правды, расшевелившим заледеневшее море сталинизма.

”Новый мир” Твардовского никогда не выходил за рамки возможностей, предложенных XX съездом, был воплощением такой наивной демагогии — отсюда и его правда, и так раздражавшая нас спустя десять лет от начала ловкость компромисса, огромная популярность и топтание на месте. Журнал исчерпал себя в первые десять лет, а дальше накапливал нечто количественное, забуксовав, объективно стал вреден, уже морочил молодым людям голову мифом о возможности подцензурного сопротивления в рамках узаконенного либерализма. То, о чем мы столько потом спорили, долго отказываясь понимать, что искусство непременно умирает, остановившись хоть в чем-то, начав топтаться на месте, а прогресс за казенные деньги стоит не больше выделенного на него фонда заработной платы. Но конфликт между ”Новым миром” и Самиздатом обозначился много позже, это разговор особый, в финале книги.

Марк был, конечно, находкой для ”Нового мира”. Я думаю, его статьи — самое высокое из того, что сделано журналом в нашей критике, хотя его смелость может показаться детским лепетом рядом с позднейшими статьями Лакшина и других авторов критического отдела. Да и талант его был несомненен, не столько рассуждающий, сколько чувствующий — дерзость ничего не боящегося дарования. Щеглов (может быть, еще Померанцев) первым попытался взглянуть на происходящее в литературе всего лишь открытыми глазами, и это явило поразительные возможности, а то, что он клялся при этом навязшими в зубах идеалами, на первых порах никак не отвращало, не казалось политиканством, ловким публицистическим ходом, тем более, это было действительно искренне: никак не попытка обмануть цензуру заставляла его писать о ”величавых” планах социализма и находить в несоответствии с ними объект для своих критических суждений и пафоса. Поэтому его статьи и являются классическими рядом с позднейшими работами других авторов ”Нового мира”. Щеглов

противопоставил узколобой лжи — искренность, а спустя десять лет в "Новом мире" блестяще овладели искусством виртуозной демагогии.

Здесь-то и кроется мое с ними расхождение, которое потом развело нас так резко, расхождение глубоко внутреннее, при общности позиции до определенного предела, но уже на нем стояло табу, а снять его Твардовский не смог, да и никогда не сможет.

В письмах на Сахалин Марк рассказывал мне о начале своего сотрудничества в журнале, о новых друзьях, о захлестнувшей его литературной жизни (с юмором, но достаточно звонко), из дружеских разговоров двух мальчиков, из романтических писем она стала для него уже подлинной жизнью, фактом литературы, выплеснулась на журнальные страницы и еще через год обернулась постановлением о журнале "Новый мир".

Было от чего стать чуть небрежным, чуть рассеянным и чуть усталым. Конечно, в ту нашу первую встречу в Москве мы говорили о разном и мудрено было друга друга понять. Мы и не поняли, удовлетворились отношениями чисто приятельскими, с оттенком горечи из-за очевидного непонимания. Мне надо было пробежать пройденное им, почувствовать своим то, чем Марк уже жил (в свете реальной сахалинской жизни, которой я полагал себя причастным, мне это казалось суетой и московским топтанием на месте). Но торопиться я не мог, был не в состоянии проскочить промежуточные звенья — мой опыт требовал собственного усвоения, последовательности в эволюции и созревании.

Никогда ни с кем не было у меня такой полной душевной близости, способной откликаться на всякое чувство, не стыдящейся его проявления. Инфантильность, о которой я столько пишу, кормилась нашим общением друг с другом, распускалась пышным цветом, когда мы встречались и, не обращая внимания на окружающих, могли говорить друг с другом только нам понятными знаками. Наверно, это была молодость, наверно, не

бывает такой второй встречи, но порой в той щедрости товарищеской любви и участия, которыми я, кажется, жив, я так остро ощущаю нехватку этого, всегда со стороны смешного самораскрытия, подразумевающего и ответную потребность в столь же полной распахнутости. Ирония — одежда, а скорее униформа времени, сколько она съедает таких душевных движений, нисколько не выражая, а всего лишь скрывая истинную сущность человека.

Разумеется, не было случайности в появлении Щеглова именно в "Новом мире" (как потом и Солженицына, хотя эта проблема стала предметом ожесточенных споров: "Самое высшее, что было в вашем "Новом мире", Солженицын, появился на его страницах по чистой случайности: отнесли бы его в "Октябрь", Кочетов бы тут же опубликовал, а потому Солженицын не имеет никакого отношения к Твардовскому..." — я еще вернусь к этому разговору), хотя внешне могло показаться, что это было случаем, стечением пустых обстоятельств.

"Я уже давно заметил, — рассказывал Марк, — когда ковылял обычно по Тверской из университета, вывеску — "Знамя", против книжного магазина, чуть выше Моссовета. А есть ли другие журналы, не знал. Однажды потащил туда рукопись — курсовую работу о сатире Толстого. Прихожу, рукопись в трубочке, привязана к костылю. Встречает мрачный тип: "Что же вы, — говорит, — не перепечатали, мы в таком виде не читаем. И переписано небрежно, с помарками. Занимаетесь классикой, а нет у вас уважения к традициям русской журналистики". — "Русская журналистика никогда не занималась чистописанием, — сказал Марк, — и каллиграфия не ее добродетель". На этом его отношения со "Знаменем" закончились, а Гудзий, его научный руководитель, пожурив за самодеятельность, сам отдал работу Твардовскому, разумеется, предварительно перепечатав.

И тем не менее, конечно же, не случайно статья Щеглова "Особенности сатиры у Л. Толстого" — первое его

печатное слово — появилась в "Новом мире"; дело было не в том, что в тот раз в "Знамени" его так лихо завернули, по-своему были правы — мало ли заносчивых графоманов сворачивало с улицы Горького под арку, следуя указателю, ведущему их в журнал Кожевникова, — а в том, что новому журналу Твардовского нужен был такой автор: свободный, азартный, талантливый и чистый. А Кожевникову он был именно не нужен, потому что каждого из этих качеств в "Знамени" смертельно боялись, на дух не принимали никакой самостоятельной мысли, а последующие попытки перетащить Щеглова в "Знамя" были данью все тому же непониманию, что в литературе кончается игра, начинается жизнь, в которой у людей, этим делом занимающихся, должна быть позиция, любовь, презрение, гнев, а не просто витиевато изукрашенная служба по литературному ведомству, которая требует всего лишь умения складывать буквы в слова, а потом в фразы, заполняя страницы болтовней, непременно угодной начальству.

Страшное и постыдное ведомство — Союз писателей, окончательно сложившееся к нашему времени в литературное министерство, объединяющее в себе функции хозяйственной организации с соответствующим отделом другого министерства — на Лубянке. Поразительная, только фискальная организация — профсоюз по идее! — даже не пытавшаяся хотя бы однажды спасти или защитить в серьезной беде кого-то из своих членов, зато с успехом прикладывающая руки к прямому убийству множества, в том числе самых одаренных, составляющих гордость нашей литературы. (Зато с какой радостью чиновники от литературы ведут борьбу за дело, ничего от них не требующее: помочь обменять трехкомнатную квартиру на пятикомнатную, выручить наскандалившего по пьянке писателя или уладить дело с некстати нашумевшей брошенной женой: демонстрация широты понимания сложности творческой натуры, своих связей, энергии — не зря едим хлеб! Меня потрясла недавно пустячная, впрочем, вещь,

случайно попавшая на глаза фраза в отчете о заседании правления СП РСФСР: "Широко обсуждались вопросы помощи пострадавшим от землетрясения писателям Дагестана"! Очень характерно, как, впрочем, и "Ужин рыбака" в доме литераторов, спецбуфет в "Литературной газете" и том же Союзе писателей).

Удивляться тут нечему: весь смысл такого Союза прежде всего в облегчении осуществления контроля над жизнью и работой его членов (о прямом пособничестве руководителей СП карательным органам рассказала Надежда Яковлевна Мандельштам в главе о последнем аресте Осипа Эмильевича — история с его несостоявшимся, хотя и объявленным вечером в Доме литераторов, отправкой его в дом отдыха, как бы под домашний арест и т.д. А самоубийство Цветаевой в Елабуге не было завершением такого же рода или подобной операции, не говоря о прямом убийстве Бабеля, Корнилова или Ивана Катаева?). Все это общеизвестно, но поскольку практически вся пишущая в стране братия мечтает объединиться в этом Союзе (это единственная возможность кормиться, работая в литературе профессионально), то по сути каждый сочинитель как бы является в ГБ по собственному желанию: пишет заявление, заполняет анкеты, собирает рекомендации, приносит в подтверждение лояльности свои книги, обещая тем самым быть на высоте и дальше, а потом, получив удостоверение, платит два с полтиной в год за членство и уже имеет право ходить в писательский клуб, в ресторан и парикмахерскую, может присутствовать или даже участвовать в так называемых дискуссиях и детских утренниках, прикрепляется к специальной поликлинике; получает возможность одалживать деньги в Литфонде, шить у шикарных портных в писательском ателье и жуировать в доме творчества. Все это покрыто мифом о сообществе писателей разных творческих индивидуальностей, якобы существующей демократичности выборов правления и всяких других должностей во всевозможных советах

и проч. В писательском клубе, к которому вечером подкатывают десятки машин, жужжит хор веселых голосов, сытые, модно-небрежно одетые мужчины, красивые, блистающие туалетами дамы и девочки, коньяк рекой, целевые вечера ("ужин рыбака, "охотничий ужин" и т.п.), суетливая нервность, овладевающая всеми переступающими порог прекрасно отделанного дома по улице Герцена (с целым комплексом зданий, выходящих и на улицу Воровского), с десятками служб, биллиардной и барами, милыми официантками, исполняющими несколько ролей одновременно, установленной аппаратурой подслушивания, штатом спецсотрудников, руководимых секретарем — бывшим генералом органов.

И все это при внешней благопристойности: творческие дискуссии, кипение страстей, смелые выступления, чтение острых стихов, рассказов, статей и мемуаров, юбилейные вечера и т.д. и т.п. — разнообразная, с размахом и фантазией придумываемая милыми, порядочными и либералами программа функционирования этого клуба — одного из самых отвратительных и противоестественных порождений нашего времени.

Но интересно, что был момент, когда суть этого заведения и этого Союза как бы позабылась, когда родилась надежда на возможность в этих стенах, в узаконенных рамках добиться чего-то, когда виделся смысл и в публичном выступлении в любой самой маленькой аудитории на улице Герцена, а выборы прогрессивного правления и провал рутинеров казался победой левых сил (очевидная здесь терминологическая путаница только подтверждает условность этого разделения), говорил о том, что "значит что-то можно", строились головокружительные планы, да и перепуганное начальство в тот момент отнеслось чуть ли не всерьез к этой жалкой жизни, пустил же кто-то заставившее вздрагивать словцо о "клубе Петефи"...

Едва ли стоит, тем не менее, так вот с порога издеваться над теми надеждами и планами, это ничего не объяснит

в том, что происходило в пятидесятые годы — в пору оттепели, а плоская мудрость моего приятеля, как уже говорилось, обернулась всего лишь цинизмом. Дом, который выходит одновременно на улицу Герцена и на улицу Воровского, дает несомненно превосходный материал для любой фантазмагии — от Булгакова до Кафки; возникающие сюжеты слишком легко ложатся в пародийную схему, а требуют, между тем, скорее внимательного анализа, чем хлесткой издевки, интересны как очень яркое, пластическое выражение уродства и мерзости нашей жизни.

Марк весь был в этой неведомой мне литературной ситуации, от которой я предостерегал его еще в письмах с Сахалина, сначала с романтическим максимализмом, а потом с провинциальной ревностью, а в Москве почувствовал некий комплекс постороннего, для которого в этот сверкающий мир вход закрыт.

Так мы и зажили поначалу разной жизнью: он уже был профессионалом, кормившимся своей работой, а я, махнув рукой на всякую службу, цена которой оказалась для меня слишком высокой (второго, уже конкретного визита к маститому писателю, собиравшемуся меня куда-то устроить, я вынести был не в состоянии: он послал бы меня, в свою очередь, к другому, более конкретно распределяющему блага, тот, вполне вероятно, к следующему — это я уже понимал), и, несомненно огорчив родственников, строивших на мой счет собственные планы, купил бумагу и решил писать.

Это были бессмысленные, хотя, быть может, самые счастливые год-два моей жизни, ничем внешне не отягощенные.

Долгий день был в полном моем распоряжении. С утра я писал рассказы: море гремело на рифах, рыболовецкие суденышки входили в сахалинские порты, девушки с неустроенными жизнями, но сильными характерами,

встречались с молодыми людьми, чья душевная сумятица скрывала высокие качества при полном отсутствии житейской хватки, а потому все их отношения кончались ничем. Чаще всего происходило это ранним утром или светлой лунной ночью; чаще всего бывал туман и вся ситуация плавала в некой приблизительной смазанности: композиция, сюжет, неясность мысли — импрессионистическое отношение к жизни, прячущее отсутствие четкой позиции, собственного отношения к реальности, — обыкновенное графоманство, литературные способности, годные для домашнего употребления. Паустовский, Грин, наконец, Олеша, ставший в эти годы для меня идиолом. Пейзажная акварельность Паустовского казалась литературой, Грин был слишком экзотично-заграничен и к нашей жизни совсем не имел отношения, а "Зависть" с ее чисто художественными прозрениями сразу не вылавливаемого социального конфликта, при общем завораживающем обаянии таланта и словно бы единственной в нашей литературе смелостью чисто литературного поиска, — меня покоряла.

Закончив очередной рассказ, я шел на почту, отправлял рассказ в какой-нибудь журнал, забывал о нем, выбирался на бульвары, шлепал по ним, счастливый от ощущения внутренней освобожденности, взбудораженный книгой Олеша, в которой не было схемы, столь неперемного у нас металлического каркаса, называемого "философски" — социализмом; озорство, раскованность формы, смутность мысли, поразительная душевная близость...

У меня был собственный маршрут, по которому, как я считал, бродили Кавалеров с Иваном Бабичевым, я знал, где они пили пиво, смотрелся в зеркало, так переламливающее сознание, и не поверил, когда мне объяснили, что Олеша имел в виду другие маршруты, другую пивную и зеркало было не тем. Не поверил, да и сейчас не хочу этого знать — книжка была уже моей.

Любопытно, что реальной стала для меня самая, казалось бы, нереалистическая из книг нашего времени, что

именно в ней я больше узнавал о себе и своем времени, что метафора и чисто формальный прием давали больше пищи для размышлений и душевного опыта, чем иные реалии и бытовые подробности в книгах, одушевленных, быть может, и искренним, но таким вымученным пафосом.

У меня была даже мечта, выношенная в таких одиноких скитаниях по бульварам: однажды, набравшись смелости, я звоню из автомата и говорю звонким голосом: "Юрий Карлович, здравствуйте! Это я — Том Вирлири. Я только что приехал, я в Москве, у меня нет другого дела, как только бы повидать вас. Встреча с вами — самое прекрасное, единственное, чего мне бы хотелось в Москве..."

Я так и не позвонил из автомата, не решился, считал, что не готов, не имею права приходить к Олеше, не совершив никакого подвига, ничего не имея в котомке. Только слышал казавшиеся легендами рассказы о нем, а уже после похорон узнал, как все это легко было бы осуществить, как он, быть может, был бы рад, каким был одиноким и как тяжело переносил одиночество этот человек, несомненно занимающий свое место в списке преступлений советской литературы, где-то рядом с Булгаковым и Платоновым, при всем вполне, впрочем, радикальном различии их судьбы.

Я увидел Олешу только в гробу, поразившись малолюдству церемонии (говорят, выносить его из дома было некому — женщины помогали прибывшим с автобусом гробовщикам). А в крематории людей было так мало, что, испугавшись, когда качнулся гроб, я бросился, приложился к нему плечом и щекой, прошептал что мог про Тома Вирлири и про свою вину перед автором столь дорогой мне книги. Потрясенный свиданием, я смутно слышал, как прорыдал, трясясь, Шкловский о совершенстве, к которому всю жизнь шел Олеша, как молчал в стороне Паустовский — литература, существовавшая, как мне порой казалось, лишь

в моем воображении, на самом деле как-то, но выполняла свои обязанности (по известным словам известного автора) — и умирала. Было это не метафорой, а бытом.

Мне подумалось однажды, что можно было бы написать печальную книгу о похоронах русских литераторов, начав с очерков о XIX веке (Пушкин и др.). Во всяком случае то, что происходило на моих глазах: Олеша, Пастернак, Заболоцкий, Гроссман, Эренбург, Ахматова, Паустовский — несомненно пополняет представление о судьбе литературы в нашем отечестве, которое для Запада все еще остается загадкой или анекдотом к воскресным приложениям иллюстрированного журнала. Чем объяснить один и тот же почерк этих похорон, милое сердцу нашего начальства однообразие продуманной церемонии, учитывающей всякую возможную неожиданность? Чего здесь больше — ненависти, злорадства, страха, облегчения? И все это в типично полицейской мелочности, начиная с отсутствия объявлений о часе церемонии до полицейских рогаток, грузовиков, загромождающих проходы, специальных пропусков, согласованного текста речей на панихидах, утверждаемого списка ораторов... Все вместе: и страх, и ненависть, и злорадство, и облегчение — теперь можно напечатать, разрешить юбилей, облагодетельствовать вдову. Все уродство отношений начальства с литературой являет себя в церемонии похорон вполне откровенно, а лицемерие скорби только подчеркивает ее непотребство.

Наверно, будет натяжкой сказать, что у гроба Олеша я впервые почувствовал причастность к литературе, — слишком красиво прозвучит такое утверждение (да и едва ли Олеша был моим учителем). Но с другой стороны, не считать же такой датой вступление в СП, вручение мне членского билета — акт, явно не делающий чести. Как бы то ни было, но однажды, оставив на столе незаконченным очередной рассказ и битую жизнью героиню, так и не решившую своих отношений с витающим в облаках

юношей, я оказался в том самом "Знамени", с которым у Марка Щеглова в свое время "романа" не получилось, а у меня сразу же начались отношения чуть ли не любовные. Порой, когда я вспоминаю об этом, мне становится жалко оставленные рассказы, их герои переходили из рассказов в пьесы, путались в еще более неясных отношениях, попадали в ситуации, из которых не могло быть выхода, решали проблемы, полученные мной уже через третьи руки. Но беллетристика моя становилась крепче, а в конечном счете ее беда была несомненным достоинством — она в точности выражала путаницу и инфантильность мироощущения автора (не было у меня тогда не только четких убеждений, но вообще убеждений, а лишь неоформившаяся честолюбивая жажда ко всему на свете, поделиться добром, даже не абстрактным, а всего лишь эмоциональным), а при определенном уровне профессионализма свидетельствовала о несомненной искренности, неспособной конструировать заведомо ложные ситуации и заранее воспринимать чуждые автору концепции. И наверно, если бы я задержался в своем бессмысленно-счастливом состоянии еще какое-то время, внутренне успел отвердеть и определиться, я бы дописался до того, что мои рассказы и пьесы начали бы покупать и моя судьба сложилась иначе. Благополучие, так легко дающееся у нас в руки каждому, кто его очень сильно хочет, довольно быстро производит не только внешнее, но чаще вполне органическое изменение. И вот уже вчерашний не задумывающийся ни о чем гуляка тратит деньги словно бы и широко, но более чем расчетливо, а взыскующий истины семинарист удовлетворяется поощряемым эрзацем той самой истины.

Я никогда не пожалел о неиспользованных возможностях писательской карьеры. Слишком много опасностей меня подстерегало, трудно сказать, сумел ли бы я их избежать. Страшную картину являют иные из начавших одновременно со мной, беллетристика опасный

шаг, чаще завершается она душевной опустошенностью и растлением.

Но обстоятельства — случайные, а в конечном счете не очень, подумали за меня и решили по-своему: у меня уже не оставалось времени дожидаться превращения пережитого в некий пластический художественный опыт. Критика, к которой, по глубочайшему моему убеждению, я никакого отношения не имел, незаметно стала по-своему любопытным для меня делом, в нем оказалось возможным реализовывать собственные, достаточно доморощенные, впрочем, прозрения, формулируя и определяя себя "под пером", как говорил Достоевский.

Единственно, чего я достиг в чистом искусстве, это потрясший однажды мое воображение звонок — как гром среди ясного неба! — из одного "тонкого" журнала: "Я прочитал ваш рассказ. Знаете, что-то в нем есть. Давно пишете?.. Да, да, мы будем думать..." А также несколько бесед с завлитами и главными режиссерами (в разных театрах), весьма смутных, но с несомненной симпатией к моим пьесам: они морочили мне голову, говорили о страстном желании непременно поставить эти пьесы. И как у всякого графомана, хоть раз в жизни при известном упорстве непременно сталкивающегося с заминкой машины, неукоснительно отбрасывающей прежде всего его сочинения, такая "заминка" случилась и со мной. А как часто она рождает великую надежду, стимулирует бешеную энергию — губит окончательно. Как недостающее очко в рулетке или ничтожный, но выигрыш, подброшенный шулером, чтоб раздеть новичка.

Чтоб закончить тему о моем искусстве, маленький анекдот, очень характерный, способный дать реальное представление обо мне в ту пору.

Я получил письмо из журнала "Октябрь" с приглашением зайти к заместителю Панферова — Н.Н. Замошкину, милому интеллигентному человеку, долго толковавшему

о каких-то стилистических мелочах и явно хотевшему напечатать мое сочинение о гибнувшем на прибрежных рифах рыболовецком траулере и капитане, решавшем в этой отчаянной ситуации собственную безнадежную любовную задачу. Или что-то в этом роде.

Но я не слышал и одного слова из того, что говорил мне доброжелательный и вполне ответственный читатель, и тот, в конце концов удивившийся, вынужден был замолчать. Я никак не мог сосредоточиться, ничего не понимал, пот капал с меня на полированный стол замредактора журнала "Октябрь": как только я уселся подле Замошкина за его столом, открылась дверь и вошел — Шолохов. Вошел, очень демократично поздоровался со мной за руку и сел напротив, любезно слушая соображения Замошкина о моем моряцком сочинении. У меня, правда, шевельнулось какое-то сомнение — очень оловянными были глаза классика, слишком прямо для автора бесконечно переиздаваемых и цитируемых сочинений он держался — казалось бы, мог позволить себе некую расслабленность в кабинете заместителя редактора. Но те же усы, перетянутая ремнем гимнастерка — я еще не знал других казачков в нашей литературе! Окончательно опозоренный, красный и потный, я забрал (понимая, что навсегда) свой рассказ и, набравшись храбрости, спросил секретаршу в приемной: "Кто это сейчас у Замошкина?" — "Закруткин", — сказала секретарша и не взглянула на меня.

Не думаю, что на мне лежит большой грех за то, что десять лет спустя я свел с Закруткиным счеты в "Новом мире". Моя графомания была все-таки безобидной и причиняла огорчения мне одному, тогда как его сочинения, столь же беспомощные, сколь и нагло-злобные, заслуживали откровенного разговора. Впрочем, моя ошибка была не столь принципиальной — сходство Закруткина с земляком-классиком не только внешнее, но выражает одну и ту же природу принципиальной лжи в литературе, в силу откровенной

бездарности Закруткина более крикливо выраженную, чем у Шолохова.

Итак, однажды мне предложили написать какую-нибудь рецензию для "Знамени" — про что хочу. Я выбрал книжку очерков о Сахалине, отодвинул в сторону свои рассказы и, собрав в кулак волю, рассыпавшуюся было в моем шлянии по бульварам и вылавливании олешинских метафор, сочинил пол печатного листа об удивительном острове, о невозможности писать о нем скучно-прозаически, принимая обыденность подвига — столь обычного в тех краях — за скучную повседневность. "Ушла ли романтика?" — называлось мое первое сочинение и как нельзя лучше выражало тогдашнее состояние: с одной стороны — стремление защитить право на романтическое восприятие жизни (будто кто-то когда-то у нас на него покушался!), а с другой — найти в нем источник вдохновения.

Это был самогипноз: я возбуждался, нащупав в себе восторженную струю, перо летело по бумаге, выдавая "на гора" тот самый звонко-лирический стиль, который особенно ценился в "Знамени". Его можно было эксплуатировать бесконечно. "Они тебя на руках должны носить", — сказал Марк Щеглов, прочитав какую-то из моих первых рецензий. А ведь такая имитация искренности обманывала не только редакторов, она и меня вводила в заблуждение. В конце концов, что я тогда знал о таинственном творческом процессе, а механизм "саморасчесывания", не так легко поддающийся анализу, казался мне достаточно иррациональным, чтобы посчитать его истинным вдохновением. И если считать, что первая публикация Марка Щеглова в "Новом мире" была не случайной, а напечатан "Знамя" его статью о сатире Толстого (в чем, кстати, не было бы ничего невероятного), это было бы несомненной находкой и случайностью, потому что не имело бы никаких

последствий в судьбе Щеглова и никак бы не отразилось на литературно-политической физиономии "Знамени", то мое появление в этом убогом и самом неинтересном из наших журналов было вполне естественным.

Для меня было поучительно толкаться в "Знамени": в нем не было оголтелости "Октября" и полной случайности "Москвы", к тому времени журнал выкристаллизовался во вполне отлаженную детальку машины, в точности исполняющую любой маневр, предлагаемый в этот момент на Старой площади. А так как пора, пришедшаяся на последние десять-пятнадцать лет, была в общем-то либеральной с зигзагами в ту или иную сторону, то "Знамя" держалось вполне прилично, лавируя в каждой очередной ситуации.

Тем не менее, интеллигентный уровень журнала, поддерживаемый несколькими его сотрудниками и традиционно захаживавшими авторами (все-таки в "Знамени" напечатали стихи из "Живаго" и Гроссмана), не мешал ощущению того, что находишься в каком-то отделе министерства, оно охватывало меня всякий раз, стоило посидеть на редакционном совещании, послушать обсуждение плана или беседу редактора с авторами, которые тоже становились запчастью той же машины и ее легко было заменить другой. Поэтому непременно кромсались критические статьи, целые главы в романах, в процессе печатания полностью менялось направление авторского пафоса, изымались герои, мужчины превращались в женщин, отрицательные герои в положительных, трагедия оборачивалась фарсом, а стихотворные строки переписывались членами редколлегии, никогда даже не писавшими о поэзии.

Я был здесь на месте со своей способностью к искренней имитации романтического мироощущения и не нуждался в редактуре, что обеспечивало зеленую улицу моим рецензиям и статьям, которые я начал печатать через номер, быстро став критиком "Знамени", не высказав ни одного критического суждения, а всего лишь

сформулировав свое представление о собственном мироощущении, как выяснилось, ложном, потому что речь шла действительно об имитации инфантильного представления о жизни, его инерции, существовавшей во мне, благодаря отсутствию внутренней смелости, не способной сразу порвать с ним, убедившись в его ложности. Не было случайности в том, что я напечатал свои первые статьи в "Знамени", только так из себя и можно было изжить доживавшие во мне, высосанные из пальца иллюзии, понять, во что они способны превратиться при естественно-циническом, а вернее сказать, прагматическом к ним отношении и эксплуатации.

Правда, я понял это не сразу, упиваясь самим фактом печатания, пытался извлечь из него собственную пользу: первым, после чуть не двадцатилетнего перерыва, напечатал что-то об Олеше, заклеив издателя, позабывшего о "Трех толстяках"; в том же духе о "Дневнике Кости Рябцева", что-то еще; протаскивал в печать собственное детство, защищал его, инстинктивно пытаюсь создать фундамент, на котором можно было бы стоять, чувствуя себя потверже.

Уже тогда оскальзывался, подсознательно чувствовал, что эксплуатируемая мной романтическая инерция не может стать панацеей от серьезных ошибок, понимал, что дело, в которое, до поры играя в него, ввязываюсь, тем не менее никак не игра.

Так, скажем, оставаясь искренним, я мог писать о крестьянском детстве в книгах Василия Смирнова или о героях революции. Помню, Марк, напечатавший одновременно со мной рецензию о Смирнове в "Октябре", удивлялся похожести написанного нами, хотя эти сочинения были принципиально разными: у него профессионально выполненный анализ текста, исходивший из заведомо ложного допущения о правде изображаемого автором, а у меня — взвинченность эмоционального восприятия, позволяющая проникнуть в авторскую стилистику, и уже исходя из нее судить о том, что в ней

изображено. В конкретном случае мой метод был предпочтительнее, мне не было дела ни до автора, ни до его правдивости или лжи — верность его субъективной задаче становилась для меня мерилom успеха; а для новомирского критика Щеглова само допущение возможности говорить всерьез, тем более положительно, о заведомой сусальной лжи в изображении предреволюционной деревни было, разумеется, лукавством.

Впрочем, получается, что я как бы тягаюсь здесь с Марком, а речь идет всего лишь о попытке как можно отчетливее понять себя в пору моего начала, объясняя удивляющую меня и сейчас естественность эволюции, диктуемой собственной логикой, не зависящей от подчас сильных влияний, которым я в силу характера, казалось бы, должен был сразу следовать. Что-то толкало на приобретение собственного опыта: полемика с утверждением пушкинского Годунова о сокращении опыта путем науки велась мною все время — не теоретически, а логикой собственной жизни.

Достоин самого серьезного изучения механизм кристаллизации конкретного общественного или политического интереса. Тотальное подавление, оголтелый зажим любого сколько-нибудь невинного проявления оппозиционности напрочь исключает такой интерес. Отсюда инфантильность, или, как говорилось в первой книге, замерзание живой личности, а как ее следствие — вполне абстрактный и расплывчатый, только общечеловеческий интерес, причем никак не христианский, а всего лишь приблизительный. Наверно, эта проблема рассматривалась в социально-политических исследованиях о тридцатых годах минувшего века. Наши сороковые-пятидесятые годы в чем-то очень похожи: тот же идеализм, но значительно более расплывчатый (всего лишь интуитивный), даже не шиллеровская восторженность (все-таки XX век, готовая вот-вот вспыхнуть, стать

эпидемией и модой атмосфера цинического, а порой остро-современного юмора), а ничего не стоящее, хотя и четкое ощущение невозможности конкретного проявления. Между тем, естественное кипение юношеских сил, дарование или хотя бы избыток душевных эмоций непременно требует какой-то реализации. Путь философского идеализма или идеализма христианского был нам в ту пору заказан поголовно невежественным атеистическим воспитанием, тем более действенным, чем примитивнее и грубее оно было. Но душа требовала иного, не могла насытиться примитивом, религиозностью ирокезов, жалкой нищенской безвкусицей, эпигонством древнего идолопоклонничества: костры с картошкой, барабаны, горны, пионерские галстуки... Оставалась любовь, но ей все труднее становилось выдерживать конкуренцию с простотой отношений, а потому инфантильное стремление к добру при отсутствии всякой возможности его реализации выливалось, в лучшем случае, в дружбу, а чаще всего оборачивалось так называемой личной порядочностью, о невозможности существования которой в наших условиях говорилось уже в предыдущей книге.

Но процесс-то шел! Глубоко под толстым слоем льда, который, казалось, извне никогда не взломать, журчала тоненькая струйка. Она журчала тем несомненной, чем толще и безнадежней был лед, успокаивавший власть предержавших, в какой-то момент забывших о невозможности промерзания до самого дна в такой колоссальной стране с глубинами, которые едва ли можно было измерить с помощью единственной идеологии.

Нужен был мощный толчок извне: лед стал слишком толстым, а душа живая только что существовала — едва слышно журчал ручеек.

Но процесс шел, ручеек журчал, а потому с такой быстротой произошла кристаллизация — год-два после смерти Сталина. Все не только не погибло, но

развивалось естественно, уйдя вглубь, подменив до поры интенсивность роста его несомненностью.

И разумеется, взлом льда на всей его поверхности — замена расплывчатого и доморощенного общечеловеческого идеала — конкретно-общественным, со всем его прагматизмом, приводила к утратам. Мы с Марком ошупью толковали об азах нравственности, ничего не зная о Евангелии, русском идеалистическом опыте, а обернулось это рукоплесканиями десталинизации, XX съездом, "Новым миром" — пределом не только возможного в наших условиях, но и желаемого. Реализовавшийся идеал, заменив расплывчатость плоским утилитаризмом, спустя годы привел все к тому же самому тупику. Но это стало уже нашим собственным горьким опытом, его осознание и жесткий анализ давали возможность движения дальше. А тем, кому на это не хватило смелости — что ж, пенять не на кого.

Но пока я лишь бегло очерчиваю схему происходящей с нами эволюции. А было это не теоретизированием — жизнью.

Однажды я прибежал к Марку с первым номером "Литературной Москвы" — еще свежим, украденным в издательстве. Поразительное было время, когда стихи Мартынова прочитывались откровением и чуть ли не напечатанной типографским способом прокламацией:

Богатый нищий жрет мороженое.

Пусть жрет. Пусть лопнет. Мы — враги!

И год спустя:

По существу ли? Свищут пули?

Конечно же, по существу!..

Вот где начинаются аллюзии, разговор о подтексте, кристаллизация общественного интереса, вспыхнувшие надежды еще при нашей жизни что-то увидеть, дожидаться, участвовать в приближении конкретного, внезапно спустившегося на землю и севшего поблизости — на каком-нибудь Тверском бульваре! — идеала. Борьба за него была всего лишь разоблачением, ломать

легче, чем строить. Слишком много накопилось гнева, у каждого был свой кровавый счет, зревшее исподволь справедливое возмущение было так велико, что серьезность ошибки поначалу не заметили, от нее отмахивались — что там привередничать! Самые сильные — я говорю о литературе — вещи той поры, "Рычаги", "Ухабы", Дудинцев, предполагали неприменную борьбу с недостатками и извращениями, но опыт не ставился под сомнение. Поэтому "Живаго" вызвал такую ярость, причем не у высшего начальства, не прочитавшего романа, а у давно и цинично продавшихся интеллигентов, почувствовавших, что здесь им не остается места. За "Рычаги" можно было подержаться, "Ухабы", на худой конец, заасфальтировать (Венгрия готовилась грянуть только завтра, а до Чехословакии оставалось шествовать долгое десятилетие), а вот что делать со спокойной эпической способностью не замечать мелкие и крупные ведомственные бури и районные землетрясения... Великая литература жила своей жизнью, попытка повернуть вспять течение рек, одев их гранитными берегами, оказывалась очередным блефом — ветвистой пшеницей. Никуда великую реку не повернуть, а дешевый гранит не выдерживал и летних дождей.

Но был свой смысл и великое значение в этом урезанном прагматическом прозрении общественного идеала, и даже серьезная ошибка, допущение, оставившее до поры всякие разговоры о сомнительности начала, все равно была благом, тогда как сегодняшнее нигилистическое брюзжание, стремление безо всякого исторического анализа зачеркнуть произошедшее за десять лет после смерти Сталина, выдает холодно-оскорбительное равнодушие, тщеславное недоброжелательство — задним умом мы всегда крепки.

Дядя мой — Иоська появился в Москве летом 1955 года. Поезд пришел очень рано, в пять часов, метро еще не работало. В пустом, просторном утреннем городе, через

который дребезжал трамвай, он показался мне маленьким, растерянным человеком, отставшим от поезда в годы, когда сесть в поезд — как выиграть в лотерею. Прошли годы, поезда уже другие — тепловозы, новенькие вагоны, модно стриженные проводницы с флажками — в его время они еще титьку сосали, цены в вагоне-ресторане совсем непонятные — не соотнесешь, а он все торчал и торчал на станции, задержался, простояв в очереди за квасом, пропускал поезд за поездом, а потом и сил не осталось сражаться за свой билет.

Таким он и был — измочаленным, беспомощным. Это поразило меня сразу — беспомощность, хотя там (а послевоенный лагерь, по его словам, был страшной довоенного) он как-то существовал, приспособился, последние годы выбился даже в "начальство". Но жизненных сил на эту новую метаморфозу (не верил он, конечно, что она окончательна) уже не оставалось.

Мы сидели в маленькой комнатушке — барак в Марьиной роще, перегороженный фанерой: жена Иоськи и одна из моих двоюродных сестер, его старшая дочь, работали здесь же в химчистке-прачечной. Светлая комнатушка безо всякой мебели — такая устоявшаяся временность, а я все приглядывался к Иоське — первый раз осмысленно его увидел. В краткий промежуток между двумя лагерями, когда он приехал с фронта навестить мать, мою бабушку, я не успел его разглядеть.

Он сидел передо мной, не старший еще человек — пятьдесят лет всего-то и было ему! — с такой смущенной, извиняющейся улыбкой, видно было, он не только не знает, что ему сейчас начинать делать, но и не может ничего начать, способен только идти и идти по начертанному кругу: свистнут, хлопнут бичом, он тут же встанет, отряхнется, не станет торопиться, потянет — главное, чтоб не думать, не выбирать, не принимать никаких решений.

Вполне вероятно, это было индивидуальным свойством характера, здесь нет никакого правила, я видел и других людей, к тому же только с дороги, еще и сообразить

ничего не успел. Но характерность, — не в общности, это не среднее арифметическое. Я вспомнил Иоську и его появление в Москве годы спустя, прочитав "Армянские записи" Гроссмана — рассуждение об овцах, их безнадежно-покорном профиле, о вине человека за тысячелетия дрящееся их убийство, деформировавшее лица и "сознание": "У овцы светлые глаза, они какие-то виноградно-стеклянные. У овцы человеческий профиль — таинственный, равнодушный, неумный. Тысячелетия пастухи смотрят на овец, овцы смотрят на пастухов, и вот они стали похожи. Глаза овцы как-то по-особому отчужденно-стеклянно смотрят на человека, так не смотрят на человека глаза лошади, собаки, кошки... Боже, Боже, как долго должен человек вымаливать прощение у овцы, чтобы простила его, не смотрела на него стеклянным взглядом! Какое кроткое и гордое презрение в этом стеклянном взгляде, какое божественное превосходство безгрешного травоядного над убийцей, пишущим книги и создающим кибернетические машины..."

Правда, понадобились тысячелетия, чтобы сделать овец — овцами, а Иоське хватило двадцать лет. Но разве меряны те годы, а в XX веке день, быть может, идет за столетие, да и овца не человек. А к этому человеку пришли ночью его товарищи по партии, предъявили фантастические обвинения, он чудом остался жив, пройдя весь ад еще ежовских тюрем и лагерей, потом угодил на фронт, получив его как награду, а отвоевав свое, и трех лет не пробыл с женой и двумя дочерьми: ночью пришли все те же товарищи — новый лагерь был страшней и безнадежней.

Можно ли удивляться растерянности, беспомощности, отсутствию жизненных сил и энергии. Конечно, он не мог радоваться, не верил окончательности происшедшего, а необходимость думать об устройстве быта, начинать который следовало с попытки прописаться, приводила его в тоскливый ужас.

Мы наперебой говорили, что все будет теперь иначе: сразу пропишут, дадут квартиру (вернут!), у кого была — дачу, какие-то деньги, и уже шелестело словечко — новое, непривычное для уха — реабилитация.

Иоська поворачивал голову, внимательно слушал и виновато улыбался: "Посмотрим, посмотрим. А пока хорошо — повидались..."

А наш поезд летел уже где-то далеко, громыхал на стрелках, и в открывшемся непривычно-огромном пространстве, ждущем приложения сил — не расплывчато-абстрактных, а совершенно реальных, Иоську можно было не учитывать, он был фигурой страдательной — щепкой, по ошибке залетевшей обратно, хотя ей естественно было бы сгнить где-то там, давно превратившись в труху.

Моя тетка, о которой вспоминал в первой книге, сестра отца и Иоськи, вернулась иначе, и ее никак нельзя было бы не учитывать, а тем более сбрасывать со счета.

После лагеря ее разыскал старый друг, с которым у них все было непросто еще в пору их респектабельной жизни на улице Горького в наркомовской квартире теткинго мужа. Болгарин, получивший свое, был вытасчен из Магадана Димитровым — старым, еще гимназическим товарищем нашего болгарина. Появившись в Москве, он первым делом принялся разыскивать Софью — она отсиживалась в Кашире, за стокилометровой московской зоной, ни жива ни мертва от страха, как бы про нее снова не вспомнили. Не знаю, очень ли он был дорог Димитрову или помог случай, но еще до 1953 года настырный болгарин сумел увезти тетку в свою Софию, где они зажили барски западной жизнью, глядя друг на друга со страхом и не понимая, что же произошло и долго ли это теперь продлится.

Тетка прикатила в Москву, как только реабилитация приняла массовый характер и появилась уверенность: понимала, лучше не тянуть — сегодня так, а завтра может быть поздно. Болгарин, которую так нежно любил ее

старый друг, раздражала ее "провинциальностью" и "незначительностью" — в этой минской еврейке гуляла даже не великорусская гордость, а великодержавный шовинизм с поправкой на большевизм, толковавший на интернациональные темы с колокольни Ивана Великого. Ее раздражал их дурацкий язык — явно испорченный русский! — глупые розы и фрукты, их восточная церемонность и провинциальное гостеприимство. К тому же пахло поворотом: Сталин, которого она люто ненавидела, обвиняя во всех своих бедах сначала его, а уже потом старшего брата — моего отца, явно умирал второй раз. Но она приехала в Москву все-таки после XX съезда, когда все стало несомненным, а тянуть с реабилитацией и восстановлением в партии было невозможно. "Ты там вступила, в Болгарии?" — спросил я ее при встрече. "Ты с ума сошел, нужна мне их дурацкая партия, я должна быть в нашей. И потом, я не собираюсь вступать, я хочу, чтоб мне вернули мой собственный билет..." Голос ее при этом был прямо сахарный, хотя глаза заблестели вполне лицемерно.

Я встречал ее на Киевском вокзале, было много цветов, заграничный состав мягко остановился, тетка вышла из международного, носильщики тащили роскошные чемоданы, мы ехали в такси через весь город, тетка, несомненно учитывая шофера, высказывалась о радующем глаз облике советской столицы и о провинциальном ничтожестве увиденной ею заграницы — болгарин только жалобно сопел.

Потом мы сидели в старой московской квартире (у нашей общей родственницы), и тетка разговаривала, пытаясь с разных сторон выяснить ситуацию, мои многоюродные братья и сестры с веселой злостью бросились на тетку, она ничего не понимала, смертельно перепугавшись, привычно защищала генеральную линию, поражаясь только тому, что дожила до поры, когда ее приходится защищать.

У ребят была позиция, чем-то близкая моему приятелю, с которым я встретился по приезде с Сахалина: XX съезд — сборище лицемеров, осмелевших после смерти главного палача до того, что стали сводить друг с другом счеты; открывающаяся якобы перспектива — не перспектива вовсе, а новая форма морочить голову, радость реабилитации — радость рабья.

И тут тетка, наверно, подумывавшая уже о том, не лучше ли бежать в провинциальную Софию, чтоб там дожидаться окончательной ясности, получила в моем лице пламенного защитника. Правда, не генеральной линии — до этого мне тогда не было дела, но надежд, открывшейся возможности неограниченного приложения сил, но правды, сказанной достаточно громко, чтоб ее можно было услышать, а потому нельзя будет вновь упрятать. "Я знала, что у Гриши должен быть такой сын, — растроганно пропела тетка. — Он был настоящим коммунистом, мой Гриша", — сказала она, напрочь позабыв, что этот самый Гриша, по ее же словам, не подумав о ней, проявил полную безответственность, впутался в какое-то безобразное дело, скомпрометировал ее чистейшего мужа, а ее самое поставил под удар.

Наверно, мне следовало тогда задуматься над комплиментами тетки и взглянуть на себя со стороны. Но я только что обрел дорогу, дело, душевная энергия, бесполезно переливавшаяся из пустого в порожнее и витавшая в облаках, нашла выход в реальной работе: "Там разберемся, отшвырнем всех корыстно примазавшихся — важно успеть как можно больше..." Как говорили в ту пору: "Открылась дверь, сразу ставь ногу, пока не зажмет, не оторвет — успеешь протиснуться. А там поглядим". Профессионализм газетчика заставлял недоверчиво относиться к эмоциям с той и с другой стороны: неожиданно хлынувшие факты требовали прежде всего анализа. Об этом и шла тогда речь — анализ стал пафосом и содержанием нашей жизни.

Материала вокруг было достаточно. Сначала интуитивно, а потом все более осмысленно мы понимали необходимость именно анализа, на худой конец просто собирания фактов, а никак не выстраивания теорий, концепций и систем. Слишком легкомысленно было бы после всего пережитого, основываясь главным образом на эмоциях и чувствах, предлагать нечто взамен, риск был велик, а на ошибку права уже не оставалось. Это было бы непростительно.

Пришла пора черновой, но необходимой работы, без эффе́ктивности и сиюминутной отдачи, требующей мужества и силы на годы. Отсюда и в литературе пафос психологизма и быта, обращение к "Шинели" и "Повестям Белкина", споры о "винтиках" и "простых людях". Отсюда подчеркиваемый интерес ко всякой мелочи и подробности жизни, противопоставление равнодушной поверхности и пустоте — простоты с ее глубиной и сердечностью. Противопоставление жизни — придуманной сусальности, романтическим и вульгарно-социологическим о ней представлениям. (Это никак не концепция, не теория и даже не схема происходящего тогда, только важнейшие ощущения, одушевлявшие меня в ту пору, складывавшиеся в своеобразную и вполне прагматически понимаемую программу жизни).

Но пока разговор не о литературе. Мои милые далекие родственники, с такой веселой злостью набросившиеся на тетку за ее трусливую поддержку не нуждавшейся в ее защите ситуации, не отдавали себе отчета в бесперспективности только раздраженно-эмоционального отрицания: способность увидеть бесспорно исторически-положительное в начавшемся сверху расшатывании окаменевших глыб, при уродстве самого процесса, давала надежду, перспективу, обернулась реальностью уже в ближайшие годы. Толчок был таким сильным, с такой мощью потряс все складываемое в течение тридцати пяти лет здание, что еще десять-пятнадцать лет оказалось просто невозможным приостановить пошедшие от него

круги и волны. В какой-то момент думалось даже, "процесс этот необратим", во всяком случае, как показали дальнейшие события, домашними средствами тут не обойдешься, в рабочем порядке ничего не изменишь. Поэтому, скажем, закрытие первого "Нового мира" после статей Померанцева и Щеглова ничего не остановило в литературе: в одном из изданий появились "Рычаги", в другом — "Ухабы", в том же "Новом мире", у сменившего Твардовского Симонова — Дудинцев, потом, несмотря на скандал с "Живаго", возник новый "Новый мир", вполне логично добравшийся до "Ивана Денисовича". Это в литературе. Но и не только в литературе. Венгрия лишь на несколько месяцев притормозила процесс, уже через полгода "реформаторы" двинулись дальше, рассчитались с Молотовым, еще через три года выбросили вождя из мавзолея и, даже освободившись от Хрущева, вынуждены были продолжать барахтаться в тех же поднятых началом волнах, показав настоящие зубы лишь в августе 1968 года.

Мой оптимизм был несомненно плодотворнее, естественность эволюции, приобретение собственного опыта стоили застольного, хотя и эффектного отрицания.

Количество фактов, в том числе и вполне официальных, обрушившихся на нас в ту пору, было столь ошеломительным, что едва ли можно предъявить претензии тем, у кого они вызывали только эмоциональную реакцию. Но тем дороже попытка трезвого анализа, аналитическая направленность взгляда. Ценно, что речь идет не о мужестве и прозрении одиночек, но об атмосфере анализа в эпоху эмоционального шока после громогласного разоблачения идола и выворачивании наизнанку жизни десятилетий. Потребность анализа была никак не субъективно возникшим интересом именно к такой форме постижения жизни, его атмосфера создавалась отнюдь не множеством одновременно существовавших аналитиков. Скапливающиеся, обступавшие нас факты, грозившие поглотить и задушить, требовали

систематизации и изучения. Это было велением времени, которое следовало только понять.

Реабилитация из непривычного, шелестящего слова постепенно, но как-то в друг стала знаменем этой поры. Вполне конкретным, а никак не отвлеченным понятием, выуженным из доклада на партийной трибуне. Оно и там было достаточно определенным: имена, судьбы, кровью написанные записки, протвоестественность гибели людей, не понимавших ее до конца, два десятилетия спустя свидетельствующих о своей несостоятельности перед лицом ими же созданного чудища. Половинчатость сказанного, совершенно понятное — уже по-человечески, не говоря о прочем — отсутствие логического вывода никак не могли помешать пониманию и выводам собственным. Умолчав о причастности к убийствам и ничего не сказав о своей роли в уничтожении сотен тысяч людей, Хрущев всего лишь дал возможность обвинить во лжи себя, но и его умолчание было красноречиво. То, что оставалось за пределами доклада на съезде, никак не делало сам доклад недостаточно разоблачающим. Сказано было предостаточно.

Тем более, словами, как известно, в ту пору не ограничивались.

Почему-то мне кажется, было лето или весна, во всяком случае, помнятся залитые солнцем комнаты, приемные и кабинеты следователей; ожидающиеся вызова оживлены, деловито посматривают на часы, фыркают из-за задержки — пришли по своему делу, требуют, что им положено.

Контраст с пережитым, скажем, десять лет назад на Кузнецком мосту был разителен. Молодые майоры и подполковники — военные прокуроры, сновали по комнатам красного здания на улице Кирова. Были вежливы, явно заняты, исполнены сосредоточенности, которую дает работа, в чьей основе непременно добро, а

не нечто противоположное. Я приходил сюда не однажды: напоминал, торопил, меня вызывали, заводили вглубь помещения, допрашивали, советовались, кого бы еще можно пригласить, но все было очевидно, и возникало новое ощущение, что мы чуть ли не знакомы, приятели, заняты общим делом.

Только финал этой эпопеи был грустным и надолго оставил во мне горечь.

Документ о реабилитации отца я должен был получить на улице Воровского, в Верховном Суде СССР. Справка о маминой реабилитации была уже получена, а тут что-то тянулось. Наконец, вызвали и выдали: "Дело за отсутствием состава преступления прекращено. Фридланд Г. С. посмертно реабилитирован".

— Можно узнать подробности, что-то из его дела? — спросил я подполковника, выдавшего мне бумажку и молча дожидавшегося пока я уйду.

Он попросил меня выйти, вышел сам, ходил довольно долго. Потом снова пригласил в свою комнатушку.

Мы оба молчали.

— Так что ж, вы нашли что-нибудь? — не выдержал я. — Могу я прочитать дело?

— Дела мы не даем читать, — сказал он, впрочем, не очень решительно, но глянул на меня сурово, с явным недоброжелательством. — Ничего хорошего не увидите. Он оговорил академика Х. Знаменитого ученого, крупного человека. Черт знает что о нем наговорил. У него были неприятности.

Я был потрясен.

— Вот так, — сказал подполковник. — Некрасиво! (Помнится, именно это он и сказал: "Некрасиво"!).

— Но как же так, — ко мне вернулся дар речи. — Х. после этого оговора стал академиком, а сейчас вице-президентом, а о моем отце вы через двадцать лет даете справку об "отсутствии состава преступления"? Я что-то не пойму.

Он обозлился.

— Что же вы думаете, не смогли разобраться в ложном оговоре?.. Я больше ничего не могу добавить.

— Вы не можете, понятно, да и не здесь следует говорить. Но если мы с вами встретились, я хочу понять. Отца, выходит, и убили из чувства справедливости — за ложный оговор, в котором разобрались? Его, может быть, и взяли по подозрению в том, что он способен кого-нибудь ошельмовать, — профилактически?

— Позвольте...

— Нет уж, вы позвольте, — я встал — и сейчас жалею об этом разговоре: можно было бы, поведя его умней, выпросить разрешение прочесть дело. Но не смог. — В ложном оговоре, значит, разобрались. А о чем тогда ваш так называемый документ? — я махнул только что полученной бумажкой. — Вы мне даете документ о посмертной реабилитации. О том, что ни за что ни про что в возрасте сорока лет убили моего отца, ученого в расцвете сил и таланта, отца двоих детей, а его жену, мою мать, уже совсем неизвестно за что, выслали, а потом посадили в тюрьму и в лагерь. Вы выписываете эту бумажку, извиняясь за то, что вышла ошибка, досадное недоразумение, а еще толкуете при этом, что он — убитый вами мой отец, в чем-то там виноват, недостаточно корректно вел себя в ваших застенках? Я не могу понять, как это отразилось на судьбе преуспевающего ныне академика? У него были неприятности? Чем они могут быть соразмерены с "неприятностями" моего отца и какова их взаимосвязь? Может быть, поговорим об этом? Что было сказано в ответ на слова отца, выбитые у него в застенках, и что было отвечено академиком, которого вы с таким благородным пафосом передо мной защищаете? Я хотел бы понять, в какой правовой инстанции встретились между собой Фридлянд и Х. и как произошло, что один стал вице-президентом, а о другом вы выписываете спустя двадцать лет бумажку, полагая разговор исчерпанным?..

— Я не имею вам ничего более сказать, — он открыл дверь и пригласил следующего.

И я оказался на улице, весна была или лето, тихая, в милых особняках пустынная Поварская, ныне Воровского, шелестела редкими машинами, тепло было, светло, и я не мог удержать слез обиды и злости: вот и еще раз я не смог защитить тебя, отец!

Десять лет спустя, после переиздания "Дантона", мне удалось напечатать в "Новом мире" рецензию на отцовскую книжку. Это было очень важно для меня и, видимо, вообще имело смысл, потому что такого количества писем, какое было получено мной в связи с опубликованием этой небольшой рецензии, не получала ни одна из моих значительно более шумных статей. Я долго вынашивал план осуществления этой публикации, но должен быть благодарен Твардовскому, сразу почувствовавшему важность ее для меня, поддержавшему в ней именно личный момент, столь существенный мне и вызвавший недоверие у других членов редколлегии, современно иронически относившихся к проявлениям всякого рода эмоций. Я понял Твардовского, прочитав два года спустя его поэму об отце. Как бы ни была половинчата позиция автора этой поэмы и невысок уровень понимания трагедии русского крестьянства, каким бы ни было жалким стремление несмотря ни на что утвердить ценность прожитой жизни, вопреки очевидной ее обесцененности в отстаиваемых пределах, несмотря на отсутствие смелости сказать себе правду и, зачеркнув сделанное, поднять трагедию собственной судьбы на высоту истинного поэтического прозрения — несмотря на весь вчерашний уровень постижения произошедшего, в поэме была органичность собственной поэтической судьбы, цельность характера во всех его слабостях, невозможность идти до конца. Но, главное, она была подведением итогов, писана кровью, трепет ее был искренним, и, обманчивое, впрочем, ощущение исполненного долга, обета, данного много лет назад над могилой отца, было несомненным. Хотя,

конечно, поэма воспринималась шагом назад по сравнению с предыдущей — "Теркиным на том свете": повторение уже сделанного, тот же уровень в искусстве всегда становится отступлением. Прочитав поэму, я понял, чем вызвано сочувствие моей позиции — отношением к этой теме. (В жестокости Сталина к семьям врагов народа был несомненно свой резон — в этих семьях вырастали его непримиримые недруги, проявляющиеся потом в зависимости от темперамента и различных обстоятельств, но неспособные забыть. Но даже при невиданном масштабе репрессий практически невозможной оказалась изоляция всех потенциальных, никак, впрочем, не реализовавшихся мстителей...). Но если зашел разговор о поэме Твардовского, следует сказать и о горечи, испытанной мною, когда я прочел письмо Твардовского в "Литературную газету" с отповедью зарубежным издателям, напечатавшим поэму "без его согласия", "налгавшим", что она "якобы запрещена на его родине". Мне объясняли сведущие люди, что предательство самого себя — своей поэмы вызвано прежде всего стремлением спасти "Новый мир", мудрым стратегическим ходом и чем-то еще. Но я видел страницы поэмы, дышащие искренностью боли, трагической неспособностью понять причины собственной трагедии — живые слабости поэмы, свидетельство ее подлинности, а рядом жалкая уловка, чиновная хитрость, привычная рабская мудрость, все равно обреченная на поражение. Редакторам "Нового мира" следовало вспомнить судьбу "Современника" и "Отечественных записок" (которая, кстати, постоянно застила глаза идеологам нашего журнала) — выгоду предательства самого себя. Много ли выгадал редактор журнала своим политиканством?

Но это другой разговор, другая пора, и я прошу прощения у моего читателя за неподготовленность этого пассажа.

По сути дела, именно после реабилитации я впервые прочитал книги отца. Справка, выданная на улице

Воровского, раскрыла мне двери книгохранилищ. Первое время считалось хорошим тоном оказывать такого рода услуги, и я получил практически все напечатанное отцом за пятнадцать лет его научно-литературной жизни. Странное ощущение испытывал я, сидя в прохладном подвале университетского архива, листая дело Г. С. Фридлянда: написанные его рукой заявления и автобиографии, приказы о присвоении званий, назначениях, отпусках и командировках; когда дожидался в мрачных и тоже прохладных вестибюлях Фундаментальной и Исторической библиотек, пока явно доброжелательные сотрудники вынесут мне прекрасно сохранившиеся тома никогда не виденной прежде "Истории Западной Европы", знаменитой "Хрестоматии", "Марата" и "Дантона", брошюры и журналы. Мне помогали все это завернуть, связать, я тащил тяжелые пачки домой, листал, вчитывался в книги, пытаюсь услышать отцовский голос.

Странное это было ощущение знакомства с отцом, спустя двадцать лет после его гибели. Через несколько лет я читал эти книги еще раз, когда в академическом издательстве переиздавали "Марата", а потом "Дантона", читал по-другому, а потому сейчас мне уже трудно восстановить то первое прочтение. Но как в автобиографиях и заявлениях, писанных его рукой, в пометках, обнаруженных на случайно сохранившихся книжках из нашей третьедомской библиотеки, так и здесь, на пахнувших хранилищем страницах, я искал и находил черты живые: темперамент, молодость, попытку что-то в себе защитить, нарочито закрывая глаза на мешающую конструкции истину, революционную бесшабашность при уже профессиональном стремлении к скрупулезности и добросовестности анализа — попытку скрыть собственную растерянность за железной схемой вульгарного панибратства с историей.

Тогда для меня эти книги были живыми. И в опубликованной "Новым миром" рецензии мне удалось написать

о самом дорогом мне ощущении живой книги, о своеобразном смешении времени — сложном и одновременно тревожащем: время действия — конец XVIII века, Париж, жесточайшая борьба и грандиозные характеры; время написания книги — начало наших тридцатых годов, которое чувствуется за каждой вольной или невольной ассоциацией автора, отбором фактов, даже в стилистике; свой собственный (автора) опыт Октября и гражданской войны — к нему автор обращался иногда прямо, иногда в столь же откровенном подтексте; и наконец время переиздания "Дантона" — спустя тридцать два года после первой публикации и гибели автора, когда собственный опыт читателя совершенно естественно накладывался на содержание книги. Все это и позволило мне, не специалисту-историку, писал я, предложить журналу рецензию о книге моего отца, позволило несколько торжественно, быть может, сказать о судьбе этой книги, начавшейся так счастливо (опубликованный впервые в 1934 году, "Дантон" был дважды переиздан в течение двух лет, а потом изъят из библиотек).

Впрочем, мне важно было не только выполнить долг, момент личный (хотя самым главным для меня в этой рецензии было непонятно каким образом пропущенное главлитом краткое примечание: "полностью подготовленная к печати рукопись второго тома "Марата" — итог десяти лет работы историка — была изъята в 1937 году и уничтожена"), но современное прочтение "Дантона" совершенно в духе тогдашнего "Нового мира".

И цитаты из самого Дантона и круга его чтения. Из Мирабо: правящие классы "будут думать до самой катастрофы, что народ можно всегда морить голодом"; из Дидро: "Если законы добрые или худые не соблюдаются — общество тогда в особенно дурном состоянии"; из Сен-Жюста — то, что следователь цитировал отцу во внутренней тюрьме: "Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них"; из

самого Дантона: "Отложите всякие разговоры о морали и философии до того момента, когда народ настолько просветится, что сможет в достаточной мере уразуметь истинную ценность религиозных верований"; "Никогда троны не рушились без того, чтобы под их обломками не было погребено несколько мирных граждан".

И рассуждения автора: попытка понять, как вчерашний мирный буржуа, преуспевающий адвокат мог стать вождем великой революции, куда делись его несомненно "отрицательные" качества — исчезли? или как раз они и способствовали его вознесению на гребень революции? И вывод автора: революция требовала именно такого героя для осуществления своих планов и надежд. А потому анализ авантюризма Дантона, его цинизма, продажности — осветил современность этой фигуры зловещим светом. История с данным Ламету обещанием спасти короля, сделать "все возможное, если у меня будет хоть один шанс на успех. Но если я потеряю всякую надежду, я объявляю вам: не желаю, чтобы моя голова пала вместе с его головой. Я буду среди тех, кто его осудит". И то, как Дантон льстил народу и угрожал Конвенту, как весной 1793 года был одним из тех, кто "во имя милосердия" послал на эшафот Эбера и Шометта, "бешеного" Леклерка, а потом героя революционного террора чудовище Каррье и "оратора рода человеческого" прусского барона Анахарсиса Клоотса. Заслуга Дантона здесь несомненна, он был вместе с Сен-Жюстом, заявившим, что их вчерашние приятели и сторонники действовали "по указке иностранцев", что они "подкуплены золотом банкиров". А конфликт Дантона с Жирондой: сначала готовность договориться, потом резкое выступление против них в роли свирепого демократа и кровопийцы. В одной ситуации Дантон отдает весь свой ораторский талант защите граждан от произвольных арестов и массового террора, настаивает на непременном соблюдении законов, в другой — легкомысленно и цинично произносит

уже цитированные мною слова о неизбежной гибели мирных граждан под обломками трона; четкий анализ психологической и социальной природы характера героя — последние дни Дантона: арест, тюрьма, процесс, эшафот, то, как Дантон издевался над собой — создателем революционного трибунала, называл Робеспьера — Нероном, цинично говорил о революционной власти, о народе: "Сволочи, они будут кричать "Да здравствует республика!" — когда меня поведут на гильотину". И последние слова Дантона палачу: "Покажи мою голову народу, она стоит этого..."

Это был вполне современный роман на самые животрепещущие темы, потому что и цитируемое мрачное предупреждение Мирабо о легкомыслии власти, морящей народ голодом, и сентенция Дидро о дурном состоянии общества, не соблюдающего законы, несомненно ассоциировались в сознании читателя с происходящим в его собственное время, а так как правота Мирабо и Дидро тут же подтверждались событиями последующими, то над ними стоило задуматься всерьез. Как и над словами Сен-Жюста, полагавшего, что эшафот почему-то не может иметь к нему отношения; как и над циничными рассуждениями Дантона об эквилибристике с моралью и нравственностью — "для народа"; как и над словами об "обломках" трона, которые на русском языке столь же цинично назывались "щепками": лес рубят — щепки летят.

Нельзя было не задуматься над рассуждением автора о нужности авантюризма Дантона и сомнительности его нравственных качеств — о качествах, необходимых вождю революции, а отсюда о нечаевщине, как сути всякой революционности, о ее природе; о классическом якобинском терроре, показавшем, на что способна революция, как бы в чистом лабораторном опыте — от анализа и демонстрации природы характера ее вождей до тупой стадности толпы, с такой легкостью становящейся игрой страстей и честолюбий. И разумеется, это более

чем легко ассоциировалось с событиями из отечественной истории.

”Революция разжигает все страсти, — цитировал Дантона Фридлянд. — Великий народ революции подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита. Металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с плавильной печью — вы все погибнете в пламени”. И если эта романтическая тирада, в силу звучности и привычки к пустоте фразы, в тридцатых годах не могла восприняться прямым предостережением, в пору моего прочтения и цитирования в ”Новом мире” она была итоговым умозаключением — обобщающим произошедшее с нами.

Могла ли такая направленная цитация быть в начале тридцатых годов всего лишь ученой добросовестностью, а не темпераментом, прорвавшимся через лояльно-вульгарное построение схемы истории? Внимательное прочтение книги о Дантоне свидетельствует скорее о прозрении историка, пафосе публициста и гражданской смелости, проявляющихся в традиционных рамках русской журналистики. Другое дело, готов ли был читатель Фридлянда к усвоению такого рода направленного подтекста, способен ли был воспринять намеки, прямые предупреждения, жесткость анализа, естественно возникающие ассоциации...

Лаборатория 1791—95 годов была воспроизведена у нас в двадцатые-тридцатые годы нашего столетия, заняла чуть больше времени — пятнадцать-двадцать лет.

Впрочем, знакомство с отцом шло и по другим линиям. Переиздание его книг, при всей, казалось бы, невероятности этой идеи, сразу же стало на практические рельсы: институт истории принял специальное решение, редакционный совет Академии наук включил в планы, директор издательства дал ”добро”, я предстал перед редактором, потом — расклейка, ловля цитат в библиотеках, разговоры с историками, встречи с вернувшимися оттуда друзьями отца...

С Сергеем Митрофановичем Дубровским, милейшим человеком, о котором у меня было самое смутное воспоминание еще поры Третьего Дома Советов, — в институте истории на Волхонке. Он, совсем пожилой человек, просидевший очень много, поразил меня удивительным спокойствием, живым интересом к мелочам чужой жизни, достоинством и незамутненной никакими побочностями самостоятельностью мышления. Спокойная сила чувствовалась в этом человеке, все, что происходило, пронеслось над ним, он не покачнулся, начав с запятой там, где его в свое время остановили. Виделся я с Далиным, о котором уже писал, с Анатолием Слуцким — ему никак не удавалось добиться официальной реабилитации: его вообще ни в чем не обвиняли, просто Сталин разнес его в своей знаменитой статье (мы бесконечно ее изучали), не позаботившись, разумеется, уточнить свои претензии и обвинения в правовом смысле. Это не помешало Слуцкого посадить и выслать неизвестно за что, но для реабилитации требовалось официальное обвинение, иначе в чем реабилитировать? (То же самое произошло с семьей Ломинадзе, застрелившегося в 1934 году: его жену все равно посадили, а когда подрос сын — и сына. А как реабилитировать этих Ломинадзе, если у самого все было так благополучно? Но это уже гримасы Реабилитации).

Это тоже были странные встречи и разговоры: я видел, что они смотрят на меня с любопытством, быстро, впрочем, гаснущим, и уже поэтому чувствовал, каким блестящим человеком был отец, а какая-то нравственная надежность, понимаемая мною в людях, которых отец называл друзьями, давала возможность дополнить его облик косвенно понятыми, но несомненными мне чертами. Резким контрастом с ними был ответственный редактор первого отцовского переиздания "Марата", преуспевающий в то время профессор, французский историк, настигнутый Реабилитацией как раз в разгар своей карьеры. Мама ревниво отмечала его шаги по

протоптанной отцом дорожке, использование отцовских материалов безо всяких сносок и упоминаний, безбожное затягивание работы над рукописью "Марата". "Видишь, в нашем "Марате" он не дал ни одной иллюстрации, просто украл их для себя", — говорила мама. Я не мог утишить ее раздражения, пытался объяснить невозможность закрыть тему, необходимость продолжать то же самое в другое время, естественное развитие науки, общность материала, принадлежащего всем интересующимся. Думаю, мама была, тем не менее, права, наука предполагает добросовестность и щепетильность в отношении к чужой работе, а предисловие ответственного редактора к "Марату" напоминало скорее внутреннюю рецензию, в которой расстрелянному коллеге были предъявлены чуть ли не корректорские претензии и не была использована ни одна из возможностей сказать хоть что-то о его судьбе, интересной прежде всего самому автору предисловия, как писателю и современному историку, задумывающемуся о соотношении времен.

Но были встречи и совсем иного порядка. Однажды в Гослите, куда я заезжал за грошовой рецензионной работой, мне сказали, что только что здесь была Галина Серебрякова, едва ли успела уйти. Я выскочил в коридор: небольшого роста, с огромными, темными еще глазами, только какая-то пошлая полнота смутила меня, но я с пылом и несвойственной мне смелостью представился ей, сказал, как рад ее видеть, узнать, говорить с ней.

Я действительно никогда ее прежде не видел, во всяком случае, не помню, но знал, как она была хороша, какая шумная у нее была слава, об участии отца в этой славе, едва ли принесшей ему честь, но, вероятно, лестной для мужчины; а также о том, что ничего хорошего не принесли ему посещения известного в Москве в ту пору салона модной писательницы, жены члена правительства, азартно коллекционировавшей талантливых представителей другого пола; после реабилитации, уже в наше

время, ей на десять лет хватило ежемесячной публикации портретов своих знаменитых поклонников. Путаница здесь была несомненная: автор и героиня всех ее сочинений была, с одной стороны, молодой женщиной даже в наше уже время, а с другой — старым большевиком, участником Октября и гражданской войны, видела Ленина (очень характерно для мемуарного творчества Серебряковой одно из самых последних произведений — портрет вождя: Ленин поразил ее при встрече необыкновенной красоты ушами, столь блистательно изваянными потом другим ее близким другом — Вучетичем).

Я слышал о ней главным образом от мамы, говорившей про нее всегда хорошо. О том, как она была красива и несомненно талантлива, как отец был ею увлечен, сколько времени тратил на ее книги, и как издевались потом над ним друзья за ее "Юность Маркса" и за "Женщин Французской революции". Книги были пошлыми, а участие Фридлянда в их издании автор охотно афишировала.

Передо мной в темном коридоре издательства стояла женщина, которой отец увлекался, может быть даже любил, для которой тратил время и силы. Женщина, которую принимала в свое время английская королева, болтавшая с Шоу и Ролланом, пившая чай с Горьким и просидевшая потом семнадцать лет в наших лагерях, вплоть до Магадана.

— Не может быть, — говорила она, чуть задыхаясь, с приемами женщины, знающей цену своему голосу. — Вы сын Цви — тот самый Светик! Боже мой, кто вы, где мама? Я все хочу знать. Запишите мой адрес, я только что получила чудесную квартирку, у меня еще нет телефона, но вот-вот будет. Я должна вас видеть, мы будем говорить и говорить...

Я был у нее в только что полученной ею двухкомнатной квартирке, к тому времени уже поставили телефон. Но разговора не получилось.

— Я так рада вам. Я так любила вашего отца, не было дня, чтоб мы не виделись или не разговаривали по телефону... Вы, наверно, не знаете, у него была гарсоньерка, там мы встречались. Странно, вы намереваетесь заниматься критикой? Мне кажется, у вас нет пронзительной силы философского анализа, владения диалектическим методом, а это у Цви было. И какой блеск! Нет, нет, мы с вами подружимся, вы не можете не чувствовать пустоты современных молодых женщин — о чем вы с ними говорите? Иногда мне кажется, судьба специально сохранила меня единственную из всех, чтобы рассказать о пережитом. О! У меня огромные планы... Там, где я была, важно было прежде всего сохранить себя — вы понимаете, что это значит для женщины? Когда огромная толпа заключенных входит в зону с общих работ — тысячи мужчин! — если не хочешь быть затоптанной, надо сразу же заручиться поддержкой самого сильного. О! Вы не сомневайтесь — я сохранила себя.

Я не сомневался. В тот же вечер я узнал о ее дружбе с Молотовым и его женой, устроившей эту квартиру и этот телефон; о ее подвиге в Союзе писателей, во время обсуждения романа Дудинцева.

— Я пришла просто послушать, я уже отвыкла от этого, и вдруг — просто чудовищно! Разнузданность, готовность оплевать и предать забвению самое дорогое! Пусть что-то не так, пусть ошибки и недостатки, но теперь, слава Богу, все хорошо — у меня квартира, телефон, в Гослите издают "Женщин", в перспективе "Юность Маркса", я буду писать и писать. Но уже чувствую недоброжелательство, злобную зависть этих крикунов. Поэтому когда обсуждение так страшно покатилося, начался хаос, я почувствовала — больше не могу: "Дайте мне слово!" Президиум меня хотел остановить: "Куда, мол, разорвут". — "Ничего, — говорю, — я старый боец". И я вышла. "Я выступаю здесь от имени тех, кто не вернулся из Магадана и Караганды", — и сразу тишина,

обалдели. "Я вернулась, просидев семнадцать лет, из них три года одиночки..." — совсем ошарашила. Теперь, думаю, я вам покажу. И показала: "Эта мерзость, зачеркивающая то прекрасное, что сделано нашей литературой... Можно ли не чувствовать благодарность к тому, что осуществляется теперь... Готовность выплеснуть с водой и ребенка..." (опять и опять этот ребенок!)... — Что вы молчите, вы думаете иначе?

— Да, — сказал я, — я думаю совсем по-другому.

— Не может быть, Цви был бы со мной, с нами на этом обсуждении, он загорался моментально, его невозможно было удержать, когда и следовало бы, а здесь было так важно бросить им в лицо их же ничтожество — гнусный нигилизм, воспользовавшийся откровенностью и благородством партии...

— Зачем вы так торопитесь, — только и мог я сказать, все-таки отец действительно был ею увлечен. — Вы еще ничего не увидели, не поняли. Очень скверно, что вы так выступили.

— У меня всегда были завистники, — отмахнулась она, — вот и теперь наталкиваюсь на недоброжелательство. Как вы думаете, будут рецензии, когда появятся "Женщины"? Я сразу пришлю вам экземпляр...

Больше мы не виделись. Я только читал время от времени ее интервью и "портреты", рецензии на очередной том сочинений о Марксе, пытался прочесть хотя бы одну из присланных ею книг, но это оказалось выше моих даже профессиональных сил; читал слащавую абракадабру, написанную ею об отце — в лестной для него галерее "портретов", где он был изображен поддакивающим твердолобым "профессором", и наконец наслушался рассказов о ее отвратительном выступлении перед Хрущевым против Эренбурга — все с тем же пафосом. Поразительная, кстати сказать, устойчивая неизменность пафоса, позволяющая твердить все о том же ребенке при Молотове и при Хрущеве, слопавшем Молотова, а потом, когда Хрущев, заполнявший собой

всю периодическую печать, растворился в каком-то мистическом небытии — "ребенок" все равно остался! Очевидно, дело в том самом "диалектическом методе", которым так блистательно овладели ее товарищи, легко и всегда принципиально совершая свои преступления и мелкие пакости.

Да, несомненно, это был типаж, позволяющий делать умозаключения, а облик отца, так или иначе причастный к этому явлению, получил новую краску, никак не угрожая стать для меня схемой или иконой...

Долгие годы у меня была мечта о поездке в Ленинград, продуманная до мелочей. Не так, как обычно продумывает такую поездку москвич, знающий Ленинград только по книгам: набережные, белые ночи, Петропавловская крепость, Волково кладбище, Сенатская площадь, Эрмитаж... У меня было свое дело в этом городе. Так всегда бывало: я знал — все будет именно так.

Но никак не мог собраться, слишком было просто: сесть вечером в поезд, а утром проснуться в Ленинграде. Поэтому к тому времени я успел дважды съездить во Владивосток, был на Севере, а на это путешествие времени не оставалось.

Хотя однажды я там был лет в пять, еще с отцом и мамой, и запомнил поезд из Москвы, международный вагон, широкие, чистые и прохладные улицы, поразившие меня после Москвы безлюдьем, — было лето, запомнил "Линкольн", который мчал нас в Петергоф, фонтаны, роскошный завтрак на крыше "Англетера". И Сестрорецк — море, песок, и то, что отец с мамой все время ссорились, а потому слишком роскошный — как в кино — город мне не понравился. Хотя таким и запомнился — рекламным, если бывает реклама, исполненная с подлинным вкусом.

Я уже много лет слышал о том, что у меня есть брат, что зовут его Марат, он живет с матерью в Ленинграде. Не

помню, от кого первого об этом услышал, может быть, от мамы или от бабушки — матери отца, которую это несомненно занимало, хотя говорила с юмором, снисходя к слабостям своего любимого сына.

Наконец я собрался. Был год 1958, май, брата, как я узнал, звали значительно проще — Сергеем.

Все было, как я задумал, хотя я ухитрился, решившись после стольких лет на эту поездку, опоздать на поезд, выехал следующим, приехал на полчаса раньше условленного, меня никто не встретил, и, дожидаясь "своего" поезда, я узнал в справочном бюро требуемый адрес и тут же бросил открытку.

Вот этого я не знал в доподлинности: бросить открытку или лучше зайти. Но можно было не застать дома.

В тот же вечер раздался звонок по телефону и я отправился. Настоящий ленинградский дом, старая темная квартира, женщина с мучительно знакомым мне лицом — толчок из той детской жизни, — б р а т : худой, только что кончивший студент, поразительно похожий на отца — как привет с того света.

Он мог быть кем угодно, мы могли не встретиться, даже вот так повидавшись. Это и было чудом, хотя я, как уже говорилось, привыкший к подобным чудесам, внутренне все-таки удивился, но лишь так, для порядка. Мы и не видавшись были людьми близкими, а различие вкусов — было только различием вкусов, веселой разницей, только способствующей мгновенному установлению близости по существу.

Были белые ночи и "Литературные мостки", Летний сад и дostoевские двory, кунсткамера и Нева с ее набережными. Но все было освещено для меня моей собственной осмысленностью, включением в свою судьбу и биографию — это тоже был теперь мой город, в котором у меня шла своя жизнь.

Вот так: к середине пятидесятых годов, когда началось наше время, я оказался полностью готовым к нему.

Я со всем рассчитался, подвел небольшие, но собственные итоги, был ими вооружен... У меня было даже больше, чего я никак не мог бы предугадать: то непостижимое, о чем мы когда-то мечтали с мамой, обернулось для меня реальностью, новой душевной близостью, дающей такое важное ощущение прочности тыла.

2.

У М.О. Гершензона есть книга, посвященная "русскому умственному движению" тридцатых-сороковых годов прошлого века, попытка изобразить историю общественной мысли "в ее живой конкретности" — очерки об идеалистах той поры. Автор пытается понять сущность движения в самом характере душевной жизни своих героев, в трагическом личном опыте, а "не в спокойной работе умозрения". В одном из включенных в эту книгу (называется она "История молодой России") очерков об И.П. Галахове есть любопытное замечание: "Ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства. Как изменение земной поверхности является лишь следствием процессов, совершающихся в недрах земли, так, говоря вообще, и всякое умственное течение имеет своим источником темную и сложную чувственную сферу человеческого духа".

Это, вне контекста несколько романтически-торжественное и банальное, умозаключение разворачивается в необычайно интересный анализ судьбы героя или еще уже: историю романа этой классической фигуры лишнего человека, нигде не служившего и ничего не совершившего, друга, собеседника и корреспондента Герцена, Огарева, Грановского (разговором с Галаховым начинается книга Герцена "С того берега"), мечущегося между Европой и Россией, оставившего пачку писем на французском языке к женщине, которую он любил. "В этих

письмах, — пишет Гершензон, — сказалась такая полная жизнь, так ярко отразился в них дух времени, что они дают возможность глубоко заглянуть не только в душу писавшего их, но и вообще в душу "человека сороковых годов". Хотя история более чем обыкновенная, и характерен в ней, естественно, не сюжет, а то, как он был пережит героем. Идеальная и драматическая, страстная и трогательная любовь Галахова к первой жене Огарева, которого он искренне любил и уважал, — Марии Львовне, завершившаяся торжеством принципов идеалиста над живым чувством этой вполне земной женщины, поставила перед Галаховым страшные вопросы (и прежде всего о праве свободного чувства, о смысле брака), в ходе решения которых приходилось взвешивать и переосмысливать нравственные устои времени. Мария Львовна однажды не выдержала, потеряла терпение, ей надоело быть объектом бесконечного самоанализа, вникать в психологические переживания своего конфиденанта. "Вы добились моей любви, — почему ж вы не взяли меня? — спрашивала она, по свидетельству Гершензона. — Так ли поступает страсть? Нет, если бы вы действительно любили, вы не стали бы философствовать, вас не остановили бы принципиальные сомнения. Да и какой тут может быть вопрос? Страсть сама в себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщиной с суеверным страхом и обставлять его тысячью условий, как некое священнодействие? Я горько проучена вами и отныне буду осторожней..." Что же ответил Галахов оскорбленной женщине? Огромным письмом, исполненным любви и страдания — принятым решением: "Верьте, что мне самому иной раз невыносима моя правота, но я не могу отдаться в рабство духом и положением. Это сильнее меня и вот почему я разрываю..."

Пока это констатация факта — но как это стало возможным? "Я должен любить женщину и быть с нею, или какую-нибудь вещь, какой-нибудь принцип, т.е. либо одного человека, либо весь мир; но кто бы ни был предмет

моей любви, мне нужно, чтобы он владел мною, наполнял меня, чтобы я мог ему служить, быть деятельным для него, вести его вперед, потому что я вижу — мне совершенно нестерпимо жить в отрицании или голом созерцании, так же, как положительно жить для себя, ограничиваясь собственной драгоценной особой, т.е. заботой о том, чтобы быть здоровым, хорошо себя чувствовать, хорошо есть и пить и т.д.” — писал Галахов в одном из писем. А в другом уточнил, зачем он все это должен: ”Из глубочайшего самоотречения и полнейшего взаимного присвоения в любви рождается для человека наибольшая свобода и наибольшая мощь во вне, ибо, найдя себя в одном существе, перестаешь искать себя в остальных...”

Итак, речь об инстинктивном, но в то же время вполне сознательном и контролируемом стремлении не просто удовлетворить страсть или чем-то заняться, но о потребности жить полнотой чувства, о служении ему, о внутренней свободе, которая в нем рождается, а больше ей не в чем проявиться. Отсюда огромная сила чувства, сосредоточившаяся как в фокусе в конкретной любви к женщине (силы девать некуда!), при отсутствии естественной цельности и гармоничности природы, пытающейся подчинить внутреннюю сумятицу логике, сконструированной выстраданным, воспринимаемым уже высшим судом — нравственным законом целого поколения близких людей. Речь шла не о том, чтобы просто сломать или уничтожить себя или свою жизнь — для влюбленного это не столь высокая цена. Предать выстраданную им и друзьями правоту, решиться жить иначе — по собственному нравственному закону, органичность которого подтверждена всей жизнью, судьбой, — пойти на это просто невозможно.

Я понимаю, что такого рода литературное отступление грозит нескромностью, к тому же, как всякая параллель, она не точна. Но мне дороже характерность

этого литературного романа, сама принципиальная возможность получить ключ к истории идей через сюжет конкретного чувства.

Был самый конец зимы, наверно, февраль. Помню: темно, хотя рабочий день еще не кончился, нужно было подняться по лестнице старого особняка на самый верх и налево. В большой комнате у широкого окна два сдвинутых письменных стола, на одном из них лампа под казенным зеленым абажуром. Молодая женщина, гладко причесанная, с пучком темно-русых волос, подняла большие глаза, свет мешал ей хорошенько рассмотреть меня. А я и сам толком не знал, зачем пришел. В кармане у меня лежало рекомендательное письмо к редактору только что созданного журнала: доброжелатели пытались устроить меня на работу, только-только родился ребенок, была нужна постоянная зарплата, но не хотелось служить, даже в только что открывшемся журнале, которому прочили громкую будущность, разрешенную смелость, роль организатора молодой литературы. К тому времени я уже хлебнул свободной жизни, легкой необязательности и неконтролируемости собственного дела, особенно радостной после газетной неволи. Два года в Москве дали возможность переоценить значимость газетного дела, его придуманную нужность, мифическое ощущение якобы участия в реальной жизни. Очень дорога была для меня почитаемая у нас крамольной возможность думать о чем угодно, самому распоряжаться временем и силами, бесконтрольность мышления. Я смертельно боялся нудной обязанности дела, которому придется приносить в жертву свое собственное, чудом обретенное освобождение...

Я пришел наниматься на работу, имея в виду сделать все возможное, чтобы этой службы избежать. Это было более чем просто: требовалось несколько человек, претендентов множество, у редактора были собственные

соображения, а я так и не вытащил из кармана рекомендательное письмо, старался приходить как раз в то время, когда редактора не было. "Я поначалу и обратила на тебя внимание, удивляясь этой странности, — говорила мне потом Зоя. — Станный человек: все время спрашивает редактора, а приходит как нарочно, чтоб его не застать..."

Мы поговорили в первый раз минут десять: "А что вы тут делаете?" — "Организуем журнал..." — была чуть ироничной к себе, чтоб не подумал, что она всерьез, но в то же время несомненное ощущение участия в предприятии, которое обещает стать делом. Мне запомнились большие, очень изменчивые глаза и подкупающе-трогательная смесь ироничности с подчеркиваемой серьезностью дела. Я вспомнил этот разговор, когда спустя несколько дней услышал от Марка Щеглова: "Прикрыли "Новый мир" — пойдем в "Молодую гвардию"; там свои люди — можно на что-то надеяться". — "А кто там?.." Так я узнал, с кем разговаривал, и более чем расплывчатое представление о текущем литературном процессе обрело для меня вполне конкретный облик очень красивой женщины, а для того, чтобы хоть как-то в этом процессе участвовать, надо было всего лишь перестать вылавливать на бульварах метафоры и поддержать журнал, исполненный таких горячих честолюбивых планов.

Мне пошли навстречу: "Чем ходить и ловить редактора, — услышал я, зайдя очередной раз, — написали бы статью..." — "О чем?" И тут же получил десяток тем на выбор, сразу остановился на одной, вспоминая и рассматривая потом, в домашнем анализе, чуть насмешливо-снисходительное выражение глаз, не утрачивающих, однако, и сознания исполняемого долга.

Я пришел затвердить с начальством выбранную тему. На этот раз был день, в комнате оказалось много людей, но я уже видел здесь только одного человека и считал себя вправе именно с ним выяснять свои сомнения. Пришлось подождать. Мы стояли на площадке,

курили, и только тут, в льющемся в окно свете я по-настоящему рассмотрел своего будущего редактора. Она была в тонком черном свитере и серой юбке, высокая, гибкая и сильная, с глазами, казавшимися еще больше от черноты под ними, жадно курила, смешно, по-детски шевеля при этом губами. И я понял, что она действительно очень красива той острой, не салонной, а скорее городской красотой, в которой может быть осмысленно каждое из выражений быстро меняющегося, чуть скуластого и бледного лица, привлекающего сначала уже этой активной открытостью и смелостью несколько грубоватых черт: широко сидящие серо-зеленые глаза, мягко вздернутый нос, гладко зачесанные волосы открывали высокий чистый лоб. Она улыбалась чему-то своему, а потом вспомнила про меня и спросила: "Ну как, выбрали тему?"

По сути дела это была моя первая настоящая работа в критике, то, что писал до того и одновременно с этим в "Знамени", было всего лишь условной игрой, правила которой я быстро усвоил, сдабривая сочиняемое имитацией искренности, которую научился легко вызывать в себе. Здесь все оказалось иным с самого начала.

Статья была посвящена обзору литературы на темы любви и брака. "Посмотрите с точки зрения современной на эти книги и попробуйте через них высказаться..." Меня еще никто не просил высказываться, я все время решал другие задачи, даже позабыл, что именно это и должно представлять интерес: не оценки и не абстрактный анализ, не попытка подогнать прочитанную книгу под угадываемую схему, ища соответствий и свободно плавая в придуманном Бог весть кем бассейне советской литературы, — я сам представлял интерес, со своим опытом и темпераментом, путаницей и обреченным на неуспех стремлением к гармонии. Вот что я должен был высказать, пытаюсь осмыслить конкретную литературную проблему.

Я работал над этой статьей все лето, делал вариант за вариантом, редактор у меня был превосходный: общность

устремлений при полнейшем различии путей к ним, само чудо открывания в чужом человеке близкого через собственное дело, столь новое для меня чувство, что это не просто игра, которой я научился, но жизнь, так удивительно возникшее понимание — это и было первым реальным результатом и поощрением в моей работе.

Статья называлась: "В защиту любви". Легким и небрежным — летящим почерком редактор оставляла мне на полях замечания, своеобразные конспекты собственных трактатов на ту же тему, я отвечал ей, переделывал статью, и эта дискуссия не могла однажды не завершиться прямым разговором.

Было лето 1956 года, в Москве стояла невиданная жара, каждый приезд в город становился подвигом. Я сидел на собственной даче, жена перепечатывала мне на машинке очередной вариант статьи, в которой я защищал право любви, а когда она заканчивала, я отправлялся в Москву.

Мне и теперь жалко, что статью так и не напечатали, хотя набрали, и я с гордостью читал верстку. Новый журнал начали пощипывать, потом обругали в "Правде", потом началась Венгрия, и попытка поставить под сомнение прочность основы нашего общества — семью как его "ячейку", — страстно утверждаемое право на возможность и справедливость ее разрушения во имя истинного чувства, была, я бы сказал, бестактна. Особенно тон, пафос, страсть и несколько тенденциозный подбор разбираемых произведений (в статье подвергались, как у нас говорят, "глумлению" нравственные принципы нескольких из власть имущих классиков соцреализма), потому что сама постановка вопроса была всего лишь банальна: автор утверждал абсолютную правоту свободного чувства, полагая его полное проявление высшим нравственным законом, одновременно утверждая зло во всякой фальши отношений, а любые обстоятельства, оправдывающие такую ложь во имя якобы важных и благородных соображений,

считал лицемерием, ведущим к узаконенному уродству отношений.

Разумеется, матримониальный узел проблем должен был прочитываться широко, схематическая однозначность решения: "Да, можно!", взамен столь же категоричного: "Нет, нельзя!", вызывала насмешку автора, ратующего за рассмотрение бракоразводных проблем в искусстве прежде всего как проблемы жизни, а попытка взглянуть на человеческие отношения с высоты элементарных представлений о добре и зле давала неожиданный эффект, поражавший в ту пору смелостью. К тому же материал рассматриваемых произведений, конъюнктурных по сути, позволял легко выходить за рамки узко семейной проблематики (скажем, утверждение безнравственности модно-лакейской пьесы Корнейчука "Крылья", начавшего тему "реабилитации" с позиции необсуждаемой правоты никогда не ошибавшейся власти).

Это было последнее лето Марка Щеглова, он радовался моему азарту, общности пути, и идея совместной работы, бывшая прежде лишь темой наших застолий, сама собой принимала конкретные формы: не сформулированная еще в ту пору мысль о безнравственности ремесленного отношения к литературе, превратившего ее в статью дохода и орудие пропаганды, уже рождалась в статьях той поры, угадывалась в каждой добросовестной, одушевленной искренностью попытке анализа любого сочинения соцреализма, чья заданность уже изначально безнравственна.

Мне и сейчас, когда вспоминаю те годы, особенно радостна эмпиричность пути в таком понимании, непредвзятость нашего анализа — естественность осознания немыслимости существования в рамках так называемого "метода". Редактор моей статьи о любви, чуть позже, когда наши разговоры перестали быть только конкретно профессиональными, привязанными к решению рассматриваемых в статье проблем, сказала мне: она часто думает, что было бы, если б однажды, включив

утром радио, услышала голос Левитана, торжественно объявившего: "С сегодняшнего дня у нас в литературе все будет без дураков: что хорошо — хорошо, а что плохо — плохо". Такая модернизация давней мысли "Гамбургского счета" весьма точно выражала носившуюся в воздухе идею конкретного выяснения и пересмотра ценностей с вполне доброжелательных позиций элементарной справедливости. Не наша вина, что бесконечно воспетая и отмеченная премиями литература не выдержала даже такого дружеского рассмотрения. В нашей литературе не существовало представления о хорошем и плохом, или, как потом выяснилось — о правде и лжи, а лишь о том, что сегодня хорошо или что сегодня правда. Проверенная полувековым опытом диалектическая эквилибристика, предлагающая взамен существующих тысячелетия элементарных представлений о нравственности — ловкую механику конъюнктурного прагматизма, уже завтра бьющего тех, кого сегодня выгодно защищать. Но разве нувориши, схватившие в руки узду самозванцы думают хоть когда-нибудь о том, что будет завтра? Сегодняшняя выгода от такого рода смешения понятий несомненна — истинно-высокий счет в литературе имел бы немедленные реальные и весьма серьезные последствия, а продолжающаяся, освящаемая теоретическими выкладками, безнравственная по сути путаница позволяет и дальше крутить колеса машинам этой фабрики, чья продукция не имеет никакого отношения к литературе, зато дает возможность более чем безбедного существования.

Попытка добросовестного анализа, искреннее стремление разобраться в вещах элементарных была эмпирической пробой твердыни соцреализма, которую он не выдержал, обнаружив под слезшим слоем самой дешевой краски (в этом тоже блюли сегодняшнюю выгоду!) жалкую картонность всего здания.

Было бы натяжкой утверждать, что моя статья в только что открывшемся журнале явилась для меня

прежде всего возможностью сводить счеты с соцреализмом, я бы не упомянул о ней, если бы речь в связи с нею не шла совсем о другом.

Журнал получил в ту пору новое помещение, и мой редактор работал в маленькой комнатухе в первом этаже с окном, выходящим на Тверской бульвар. Мы сидели бок о бок, уточняя наши взаимоотношения в проблемах современности свободы чувства, а я поймал себя на том, что ничего не могу постичь в веселой логике редактора, уже давно слушаю побочные разговоры, которые она ведет по бесконечно звонившему телефону (трубка все время у уха, оттянутого тяжелой серьгой) и с теми, кто заглядывает в окно. (Журнал находился, как я потом уяснил себе, на скрещении всех литературных маршрутов: от издательств и журналов в районе Пушкинской площади — к Дому литераторов на Герцена и Воровского; Литературный институт был тут же, а там училась тогда вся наша сегодняшняя литература). Случайность расположения редакции журнала увеличивала несомненную тягу молодой и среднего возраста литературы к этим окнам. Я перестал слушать замечания, казавшиеся такими дельными и острыми, следил за проявлениями изумлявшей меня веселой и доброй энергии, бьющей через край полнотой жизни, одушевленной столь близкой мне осмысленной устремленностью. Она очень хороша была в этой тесной комнатухе на скрещении маршрутов оттаивающей литературы, и когда однажды, бросив на рычаг трубку и подав кому-то, кого я, не зная, тут же смертельно возненавидел, руку с кольцами в крупных, явно дешевых и тоже веселых камнях, она повернулась ко мне, сверкнув враз потемневшими глазами: "Вам бы влюбиться надо. Тогда бы все сразу стало на свое место — я имею в виду это ваше теоретизирование". Совершенно искренне, всем предыдущим к этому готовый, я промямлил: "Я уже".

В обыкновенной этой истории нечего искать характерность времени или того больше — реальное последствие

разоблачения культа личности. Но я уже говорил, что меня будет интересовать не сюжет, а то, как он был пережит и что значил в конкретной судьбе.

Помню еще один из дней своего рождения — в 1956 году, сразу после Венгрии, множество людей, как выяснилось вскоре, чужих друг другу, собравшихся в нашей комнате в квартире у теток, просьбу не шуметь, потому что взяли из больницы мою сумасшедшую тетку Зосю, и то, что не шуметь было невозможно. На составленном из разных столов большом столе лежал румяный поросенок, больше питания никакого, зато было так бездумно свободно, что уже через неделю я узнал, что впервые встретившиеся в тот вечер за нашим столом две пары моих приятелей сочетались браком, а присутствующий там же Эмма Коржавин заявил, что будь еще Марк Щеглов, "сочетания" были бы еще более невероятными. Что-то сдвинулось в нашем сознании к тому времени, плыло нам навстречу, и не требовалось особой чуткости, чтобы ощутить это движение, а отдался ему было и просто и заманчиво.

Марка к тому времени не было, он умер за три месяца до того. Я помню, мы сидели уже за столом, ударил звонок, я бросился открывать — это был мой редактор из недавно открывшегося журнала. Я помню, как стремительно вошла она в наш дом, а потом видел только ее, хотя и верно, это был славный вечер, полный ощущения открывшейся внезапно двери неведомо куда, и от одной возможности шагнуть в эту дверь легко кружилась голова — море казалось по колена. А может, от водки — пили много под сразу исчезнувшего поросенка, а мой редактор подчеркнуто не обращала на меня внимания, красиво и отчаянно пила, а я чувствовал, что нервность, исходящая от меня, электризует маленькую комнатушку, где так обнадеживающе-бездумно свободно.

Любовь захлестнула меня, сразу же заставив понять необычность случая. Душа, стиснутая благонамеренной

схемой самого представления об образе вымечтанной жизни, целиком умещающейся в рамках дозволенного, достаточно гибких, впрочем, для того, чтобы убаюкивать тщеславие готовностью якобы к смелым, а на деле запрограммированным жестам, — томилась и жаждала бесконтрольной естественности проявлений. Едва ли я смог бы решиться на них, не получив толчка извне, не почувствовав столь мощную поддержку в самой атмосфере жизни. Отсутствие цельности, доведенная до болезненных комплексов рефлексия, мнительная совесть никогда б не решилась на самостоятельный шаг в открывшуюся дверь. К тому времени был сооружен и придуманный мир, продуманная на годы жизнь... Но само по себе начало (еще в пору писания статьи про любовь) было естественным — кто же думает о последствиях! — а необычность только привлекала.

Первое место, куда я бросился утром, получив на даче поздним вечером путаную телеграмму из Новороссийска о смерти Марка, были окна, выходящие на Тверской бульвар (ночью я объездил наших старых университетских друзей); за день до того туда же пришло благополучное письмо от жуирующего жизнью и так прочно чувствовавшего себя критика. Я не верил в возможность случившегося с Марком — две недели назад он заезжал проститься перед отъездом на юг, правда, очень торжественно обставил церемонию прощания: "Держись! Не поддавайся!" — бросил Марк, забираясь в такси, и посмотрел на меня в последний раз вспоминаясь почему-то грустными и беспомощными глазами. Но тогда эти слова воспринимались иначе — всего лишь свидетельством пустой писательской болтовни: "Будь здоров, старик!"; глаза показались скорее отсутствующими, он думал о другом. Но так об этом не вспомнилось, а вот что собирался и не собрался (жарко!) приехать на вокзал проводить — воспринималось предательством. Если бы поехал, может, что-то сдвинулось, задержались бы, опоздали на поезд — и совсем не поехали! Через час

после отъезда Марка пришла телеграмма: ему дали место в подмосковном лечебном санатории, которого долго добивался... Не было бы сумасшедшей жары в Анапе, холодных невежд в Новороссийской больнице — могло б не быть того, что произошло!

Все это я обрушил на моего редактора, попросив о встрече вне конторы еще через день, и слышал в телефонную трубку, как кому-то было в том же отказано: "У нас со Световым деловая встреча, нам нужно о Марке — это самый близкий его товарищ..." Прости меня, Марк, ты же сам хотел познакомить нас, оставил мне телефон накануне отъезда, — спасибо тебе!

...Сумасшедший пьяный вечер, ночные московские бульвары, шелестящие листья, милиция, еще раз пытавшаяся преградить мне дорогу, такой счастливый утренний голос в ответ на мой ранний звонок... Банальный, но так перевернувший всю мою жизнь сюжет: свидания на перекрестках, чужие квартиры и кинофестивали, рестораны и ухмыляющиеся новые друзья, встречи на дальних станциях, где поезд стоит минуты, и даже отчаянная десятидневная поездка на юг, начавшаяся встречей в каком-то южном городе, потом еще дальше, вино и раки не хлебосольных южных стоянках, все понимающие — отчего бы это? — взгляды случайных попутчиков, голодное и счастливое существование у моря под соснами.

И тем не менее, несмотря на всю неожиданность того, что со мной произошло, мне именно это и было нужно, сконструированный из металлических перекрытий мой вполне благополучный и узаконенный мир обладал достаточной гибкостью, мог вместить в себя и такое незапланированное роскошество, несколько не изменившись в своей конструкции.

Но я участвовал в этом не один, и то, что полагал, как и до поры в литературе, игрой, оказалось жизнью, в которую, не зная, не верил. У нее были свои законы — не придуманные и не сконструированные, не способные

подчиняться правилам игры, желающей остаться в любой ситуации чистенькой. Что я мог противопоставить открывшейся мне и изумлявшей на каждом шагу цельности, о которой только читал, считая в свою очередь литературой?

Это обнаружилось достаточно быстро: своя и непростая судьба, один, второй муж, семилетний сын от первого брака, бытовая неустроенность, со стороны казавшаяся пестрой жизнь, с подлинностью выработывания в характер незаурядный, стремительно отсекавший наносное и случайное, шагнувший из моря житейского в поразивший меня мир истинных чувств. Но главное было в другом — в естественности того, что для меня было вымученным, головным, итогом опыта, первым шагом реализации внутренней освобожденности. Оказалось, что простые вещи, которые для нас с Марком звучали чуть не революционно, сами собой разумеются в такой естественной цельности натуры. Как в литературе, повторяю я, еще долго остававшейся для меня умением талантливо и заманчиво изобразить придуманное или вымечтанное, не затрагивающее насущное, да и сочиненная боль всегда казалась громче и горше собственной, во всяком случае, картинней и изобразительней, так и с женщиной — все что угодно, но жанр требовал, как мне казалось, только условности.

К тому же моя жизнь к тому времени уже организовалась, обрастала бытом. В ней было прошлое — Сахалин, видевшийся спустя два года из Москвы романтическим опытом, из которого мы вышли с честью, можно было, не гордясь и не красуясь, з н а т ь о надежности вещей вполне серьезных; была общность понимания в отталкивании и пристрастиях, такая привлекательная ироничная легкость отношений, дающая во всяком случае видимость общности во взглядах на окружающее. Что там думать, все постепенно наладится: дом, работа, писательство, одна книга, вторая; милые, шумливые приятели, стремительно налаживающийся быт, азартное повышение уровня жизни

до автомобиля включительно. Без пошлости и безвкусицы — книги на полках, посильное участие в прогрессе между рестораном и письменным столом, за которым я уже научился сидеть и испытывать от этого удовольствие, не только муку, — а когда знаешь, что оно к тому же может быть реализовано! Можно было спокойненько начинать подбивать бабки и возделывать свой огород.

Но и это еще не вся правда. Существуют, как казалось мне, три сорта людей: для одних главное дело, которое они делают, конкретная работа, все прочее так или иначе этому главному способствует и уже в зависимости от темперамента занимает то или иное место в жизни, являясь только вторым; для других главное — семья, дом, а все остальное вокруг этого так или иначе коловращается; для третьих — любовь. Я был из породы последних и более ничего значительного не знал и не предполагал в себе. Это было истинным служением чувству со всеми вытекающими отсюда последствиями, любыми жертвами, односторонностью жизни и развития. Разумеется, я не мог жить без любви, а когда ее не было, ее надо было придумать.

Бог весть, было ли придуманным все, чем я жил пять последних лет (Сахалин и проч.), важно ли это, если сам перед собой я был искренним, готов на самоотверженность и во имя чувства способен пожертвовать чем угодно. Да и если придумалось, то хорошо — с отчаянностью, надрывом и расточительством, а куда еще было девать силы, не в сахалинские корреспонденции, не в попытку разобраться в соотношении нашей литературы с живой действительностью... Все было — самозабвенность, горечь, опустошающая ревность... Имитация чувства? Может быть. Но кто решится сказать об этом с уверенностью и самому себе, если такого рода имитация становится второй натурой, инерцией, в которой живешь, а подлинность чувств при отсутствии истинной цельности не миф ли, не условное обозначение, важное для оправдания себя в собственной жизни...

Но, кроме того, была ответственность, дорогое мне прошлое, организованный мир, в котором все наперед обещано, невозможность представить себе обиду, реальность и масштабы которой угадывались пусть и преувеличенными — можно ли решиться своими руками разломать собственный мир, обрушить его на голову человека, самим же тобой поставленного в центр организованного мироздания?.. Это в рассуждении теоретическом. А если представить себе в натуре, в быту: женщина, которой пять лет внушалась вся невероятность ее роли в каждой мелочи и во всем существовании, внушалась истово, страстно, запальчиво-несомненно, — внезапно остается одна, наедине с предметами, бывшими свидетелями за пять лет сказанного и прожитого?

Вообразить это было невозможно и не могло быть.

И тем не менее как-то, не знаю когда и при каких обстоятельствах, мысль о самой возможности жить иначе шевельнулась во мне. Собственно, иначе не могло быть. Слишком активно и бурно, к тому же в полном соответствии с моим изменившимся мироощущением, разворачивался мой роман, в какой-то момент переставший быть легко управляемым, заманчивым и лестным времяпровождением. Можно было понять моего редактора, уже по жизни не способного к какому бы то ни было паллиативу — не только моя собственная жизнь, но и наши отношения становились анахронизмом, в них никак не укладывалось то, как и чем мы существовали, в бурно раскручивавшемся времени, которое подхватило и несло нас. Мысль о возможности все переломать шевельнулась, тут же исчезла — но главное произошло. Остальное было техникой, мучительной, разрывающей душу, тем более тяжкой, чем она становилась протяженней во времени, но уже осуществлением возможного.

Я и сам не заметил, как рядом со мной и моей собственной, столь дорогой и важной мне жизнью возникла жизнь совсем другая, как в ней тоже появилось свое

прошлое, как она прорастала во мне, осложняясь подробностями и реальными мелочами, чуть ли не бытом, как однажды, неожиданно для себя, я оказался на перепутье, никак не готовый к самой процедуре выбора. Так складывалась у меня жизнь, что до этой поры обходился без самого, может быть, сложного — необходимости выбора. А при возведенной в пафос существования привычке к самоанализу, бесконечном чувстве вины перед близкими и неуверенности в себе, а стало быть, и в неременной справедливости решения, я оказался в ситуации не только для себя непривычной, но и казавшейся неразрешимой.

К тому же, возникни эта проблема раньше, я с легкостью, быть может, ее бы разрешил — просто отказавшись, случившееся стало бы своеобразной прививкой, переболев, я б закалился, очерствел к такого рода переживаниям, пошлепал бы по жизни, бездумно и равнодушно перешагивая через чужую жизнь, не оборачиваясь, как всего лишь через препятствие, которое большего не заслуживает.

Но она, назовем ее проблемой, возникла не раньше, а именно в ту пору, когда стала жизнью, которой я жил, уходя по ней все дальше и стремительнее, со всем пылом неопита, готового на что угодно ради блеснувшей однажды перед ним истины.

Я опомнился на перекрестке, увидев перед собой столб: "Направо пойдешь..."

Это было для меня невозможным. Снова и снова я просчитывал ситуацию, пытаясь вывернуться, ничего не решая, но тут не было никакой спасительной сложности, в которой привык чувствовать себя как рыба в воде, никакой глубины, в которую можно было б нырнуть, отсидевшись на дне: надо было пойти по одной из дорог или топтаться на перекрестке. Наверно, я бы по слабости выбрал последнее, но был не один. Третий, спасительный тогда для меня выход мне не было позволено избрать.

Я вспоминаю об этом столь высокопарно в силу целого ряда, смею думать, понятных, частных соображений, вынуждаемый ими о многом умолчать — трудно сказать об этом на бумаге просто. Сюжет этой истории вполне банален, каждый так или иначе прошел через него, а для меня в нем важно как можно точнее проследить сам процесс, в котором и проявилась характерность собственной эволюции.

Дневник того времени мне и сейчас тяжело читать, столько в нем скрупулезно записанного отчаяния, даже не слабости, а невозможности принять решение. То, на чем я останавливался, отменяя сегодня, что было принято накануне, — не было решениями, а лишь мечтанием оказавшегося в западне, дорвавшегося до "свободы" человека, тем более невыполнимым, чем элементарней оно было. В таких ситуациях, при искренности проигрывания себе всех вариантов, уходят из жизни, беспощадная честность логики не может дать иного выхода.

Но у меня (как, впрочем, вероятно и в миллионах подобных случаев) решение давно было принято. Уже тогда, в ту первую минуту, когда на одно лишь мгновение возникла мелькнувшая мысль о возможности иной жизни. Не нужно было знать о том, что оно существует, в конкретном случае оказалось достаточным, что оно возникло.

Именно поэтому оказалось совершенно неожиданным для меня, что я всего лишь защищался: защищал собственную жизнь и так нелегко организованный собственный мир от того нового, что так стремительно ворвалось в мою жизнь. Защищал и защищался. Вступался за слабых и обижаемых. Вставал на защиту несправедливо оскорбленных и давал обет самопожертвования. Отказывался от всего вымечтанного, становящегося делом жизни во имя абстрактно декларируемого долга и реальных, ясно представимых тягостей у безвинно-обреченного на страдания. То есть защищал слабого от сильного. И разумеется, была несомненной шаткость и безнадежность этой позиции, ее обреченность.

Я пытаюсь быть искренним до конца, вернее, в точности хочу воспроизвести тогдашние ощущения. Были ли самообманом, ловкой договоренностью с собственной совестью соображения об отказе от всякой литературы и жизни, оказавшейся не по силам, в случае окончательного отступления? Быть может, честнее говорить только о страсти, зашедших далеко отношениях, невозможности отказаться от того, от чего не хватало сил отказаться? Но много ли стоила тогда моя маленькая статья о правах свободного чувства, в которой я видел (и это свое открытие громко декларировал) начало освобождения человека, сбрасывающего с себя — сначала хотя бы дома! — оковы всякого принуждения, начало работы, мыслимой деятельностью и служением, — много ли она стоила, если все в ней оборачивалось неправдой, ложью, соображениями "для людей", все той же имитацией подлинного чувства и расчесыванием собственных эмоций, спекуляцией, приводящей в литературе к приспособленчеству, а в жизни — к готовности к любому, пусть несерьезному, но предательству. Самооправдание? Но я твердо знал, что, оказавшись неспособным в самом начале подтвердить свою искренность собственной жизнью, обрекаю себя на творческое бесплодие. Здесь не было никакой позы, это происходило во мне: очередной раз поклявшись себе, что эта ложь будет последней, что отныне, позабыв об этом случае, я трудом и дальнейшим благородством искуплю прегрешение перед собственной совестью, о котором никто не узнает, ирония по отношению к столь высокому переосмыслению всего лишь ремесленной работы — обзору литературы, смешно говорить! — эта торжественная клятва наутро мною же с ужасом отвергалась: не имея никакого опыта, я сердцем знал пагубную безнадежность такого изначального компромисса и то, что размер прегрешения, его мизерность по сравнению с дальнейшими искупительными подвигами, ничего не будет стоить и не поможет мне. Не формулируя, я уже все знал и об арифметике, и

о "слезе ребенка", и о том, что коготок увяз — всей птичке пропасть.

Все это не было так стройно, в моих действиях и поступках не могло быть знания о существующем у меня решении, — но разрывающая душу борьба с самим собой была искренней, и каждый очередной поворот для меня становился подлинной драмой.

Я помню, что твердо, уже в который раз назначив день приведения своей жизни в соответствие с действительностью, я приезжал домой и ходил по комнате как убийца, совершающий свое деяние не в состоянии аффекта, а продуманно и хладнокровно, а уже наутро, не выдержав взятой на себя роли, отправлялся на другой конец города, чтобы холодно и по возможности твердо заявить о своей несостоятельности. И почему-то здесь я убийцей не был, незащищенным, как уже говорилось, оказывался мой дом — брошенная гарнизоном крепость. Но если там я сражался за двоих, то здесь нас было двое, и еще через день, столкнувшись с поражающей меня всякий раз цельностью проявления отчаяния ли, оскорбленного самолюбия или невиданной мною прежде подлинности надрыва, я не выдерживал и все начиналось сначала.

Помню, как после окончательного разрыва там, я уезжал из Москвы, взяв на руки полугодовалую дочь, держась за нее, помню, как жена провожала меня, свирепую метель, свистящую по заледенелому полю под брюхом самолета; Калининград, дом моей сестры, маму и устоявшийся в своем, совсем другом, безумии быт Пробатовского дома, и то, как я пытался загнать пережитое внутрь, полагая, что таким образом излечиваюсь, а на самом деле очередной раз оттягивал развязку. Я уже не мог жить иначе.

Так и было. Вернувшись в Москву излечившимся и спокойным, я через неделю снова позвонил в ту же дверь, и еще через день, в ситуации, всего лишь повторяющей то, что много раз бывало, собравшись и

просчитав все до конца, снял трубку и позвонил жене по телефону.

Это было самым непростительным из того, что я сделал — передоверил разговор глаза в глаза холодной телефонной трубке. Но здесь был не расчет и не слабость, а правда мгновения, не способная больше ждать и откладывать.

Я прошел затем тяжкий круг последствий сделанного, перемальвая в себе то, что происходило и чего не было, но мною предполагалось. Все-таки первый раз в жизни я сам был причиной и орудием жестокости, едва не погубившей человека, по-своему сильного, для которого нанесенный мною удар был к тому же неожидан. Я прошел весь этот круг, несколько раз был готов к чему угодно, даже к восстановлению невозстановимого. Мне и тут повезло: возникшая ситуация, которой я был поставлен в условия, не предлагавшие выбора (я оказался в роли защитника оскорбляемой женщины), прекратила уничтожающее меня блуждание по кругу.

Помню, еще была зима, легкий снежок в знакомых переулках, и себя все с тем же "Маратом" подмышкой, забирающимся в машину — из дома, в котором с перерывами прожил все-таки двадцать лет.

Все остальное, что было следствием этого банального сюжета: моя вина, моя беда, то трагичное для меня, что определило так печально сложившиеся отношения со стремительно выраставшей Машей, которую я сам оставил в чужих руках — никогда не снимет с меня за это ответственности. Все, что было со мной, что продолжается по сей день: моя радость и моя беда, полнота жизни и ее горечь — это иной сюжет, другая книга, слишком личная, чтоб она могла найти какое-то место в том, что я сейчас пишу, хотя я и отдаю себе отчет, что этим умолчанием себя обворовываю и искажаю картину.

Был тихий июньский день — самое начало лета (май по-старому). За окнами полупустой электрички свежая, незапыленная еще зелень, умиротворение порхало по вагону вместе со сквознячком, торжественная приподнятость в этой тихой свежести и в том, как по вагонам — от хвоста к головному, тихо проходили люди со знакомыми, где-то виденными лицами, или такими, которые я должен бы был непременно видеть.

Поезд остановился, мы все вывалились из вагонов, длинная цепочка людей потекла через пути, взбираясь на косогор под еще выше стоявший патриарший храм с горевшим на солнце крестом. Вдоль дороги стояли бабы в платочках, крестились, и я слышал изумленный шепот: "Сколько ж их, Господи!"

Так совпало, что именно в этот день до полудня завершился уже формально драматический сюжет, о котором только что рассказывал, я провел несколько томительных часов в темных, нарочито бездушных коридорах городского суда на Каланчевке, участвуя в казенно безнравственной комедии бракоразводного процесса, пытаюсь отрешиться и не умея не замечать скользящих, загоревшихся любопытством при виде спутника моей ответчицы глаз судьи, профессиональных зрителей в зале суда, унижительной, но привычной в своей бессмысленности процедуры процесса.

Все кончилось, мы облегченно-отчужденно распрощались, она со своим спутником села в сверкающий

* Эта глава может представить известную трудность для сегодняшнего восприятия: все, что в 1970 году, когда книга писалась, было своеобразным открытием темы, теперь так или иначе освещено в литературе минувшего десятилетия, стало достоянием многочисленных мемуаров и публицистики. Тем не менее я оставляю эту главу нетронутой: она существует во времени и кажется мне живой и сегодня. (Примеч. 1981 г.).

хромированными частями лимузин, а мы забрались в метро и потом в поезд.

Мы с товарищем долго молчали, слушая, как поезд стучит на стрелках, продираясь сквозь чудовищно разросшийся город, пока разлитая в воздухе умиротворенность, истинное величие предстоящего не проникла в нас, вытесняя фальшь только формальной, а потому особенно унижительной процедуры. Контраст только что пережитого с тем, что нам предстояло и уже началось в нас, был настолько разительным, что имеет смысл не почесть его случайным, но увидеть ощущавшуюся уже тогда непреходимую грань между казенным бездушием, навязанной нам — мертвой в любых ее вариантах — жизни, и подлинно высоким, чем только и можно было бы жить, о чем нельзя и не должно позабывать.

Уже в вагоне электрички это ощущение пронзило меня, а мой товарищ — человек значительно более жесткий и ироничный, привыкший подавлять в себе эмоциональность первого чувства, а быть может, скрывать его от самого себя, — не только чувствовал, но и понимал. Во всяком случае, столь драгоценная общность переживаемого была несомненна, свидетельствуя о значительности пути, пройденного за последние годы.

От полотна железной дороги дорога повернула круто вправо, над нами выросла кладбищенская ограда, за ней густой лес крестов, открылось поле, его обтекала колышущаяся лента движущихся людей. И верно, сколько их было. Господи!

У распахнутых настежь ворот — сверкающие иностранные машины, щелканье и жужжание фото и киноаппаратуры, кто-то закрывает лицо, а мы уже во дворе. Тихо, а потому особенно внятн рояль за деревянной стеной тянущегося ввысь дома, очередь медленно втекает на крыльцо, и в отверстия двери — седые головы, знакомые лица, и — хорошо!

Мы привыкли к непререкаемости разговора о красоте покойного, его просветленности, часто он кажется

обязательной данью светлой памяти усопшего. Но здесь красота и впрямь была поразительная: высокое, мраморной белизны чело, четкий профиль, отсутствие всякой суетливости в ясном облике отошедшего. Не хотелось уходить, но неловко, сзади шли и шли люди, я не успел разглядеть в сумрачной многооконной комнате казавшиеся призрачными фигуры у стен, а только то, что составляло ее центр.

Было жарко, у колодца кружка переходила из рук в руки, а люди все шли и шли, вливаясь в дом, наполняя двор, и не было конца этому шествию.

Настоящие похороны великого русского поэта. И в том, как грусливо-бездарно было составлено опубликованное газетой извещение о смерти; и в том, что не было сообщено ни дня, ни часа похорон; и в том, что, тем не менее, приехало столько людей и никого из живших по соседству, за соседними заборами классиков; и в том, как стояли во дворе, ждали начала церемонии, как вынесли, наконец, из дверей гроб, отодвинули от ворот литфондовскую машину: "На руках!.." И какая-то нервность в быстроте движения, запах свежего дерева, осязаемая тяжесть гроба, сквозь пот, заливавший глаза, не видно дороги; обтекая поле, обратно через мостик, по кладбищенскому косоугору вверх, где под тремя соснами ждет густая толпа — прямо против блестящих вдали окон его дома.

Я оказался возле могилы, толпа сомкнулась за мной, я слышал каждое слово; стихи из романа, надрывный крик стоявшего бок-о-бок со мной мужика: "Спасибо тебе, Пастернак, от лица рабочих! Ты написал им правду, а они тебя исключили!" И испуганный вскрик с другой стороны: "Тише! Осторожней, вы только обозлите — хуже будет!" Здесь у разверстой могилы: "Кому хуже?!" Толпа сдвинулась, загудела... И женская, со слезами просьба: "Дайте похоронить-то, Господи!" И грохот земли, обрушившейся на гроб.

Мы еще долго стояли, толпа медленно расходилась, солнце уходило за кромку леса, в высоком прозрачном небе плыли легкие розовые облака, далеко кричали пегухи, и тут я впервые услышал "Август" — стихи были прочитаны великолепно, сильным, глубоким молодым голосом.

Года два назад я прочитал стенограмму знаменитого собрания московских писателей, единодушно исключивших Пастернака из своего Союза. Это поучительное чтение, оно много дает каждому задумывающемуся над процессом нашей общественной и литературной жизни. Дело даже не в речах выступавших на собрании писателей (хотя и в них следует вчитаться, различая драматическую несостоятельность Слуцкого и активность известного затем либерала и прогрессиста С.С. Смирнова). В казенно составленной стенограмме чувствуется трусливо-холуйская атмосфера зала, прорывающегося людоедскими криками, подстегивающими ораторов. И самое существенное: не было и одного голоса против — за Пастернака. Это кажется на первый взгляд поразительным: после XX съезда партии, опыта реабилитации — а это и Мандельштам, и Бабель, и Иван Катаев, и Корнилов — не мог не быть осязательным личным стыд за Ахматову и Зощенку, позор "космополитизма"... Уже "Новый мир" напечатал статьи об искренности и "Опере Снегина"... Но стоило зычно прикрикнуть, позвонить по телефонам "заболевшим", как снятый специально для этого позорища большой зал Театра киноактера оказался битком набитым писателями, активно внимавшими речам своих авторитетных коллег и единодушно поднявшими руки.

В чем тут дело? Слишком близко лежал хотя и смердевший, но все еще грозный труп, а танки на улицах Будапешта показали, что гопак над его хрустальным гробом всего лишь ритуальные поминки. Для того, чтобы

высказать собственное — противоположное казенному мнению, нужно сначала иметь его, а в 1956 году оно еще никем не было высказано. Понадобилось десять лет литературного процесса — жизни в литературе, для того чтобы возникла писательская оппозиция. Право на собственное мнение, становящееся позицией, ощущается человеком что-то сделавшим, тем, кому есть на что опереться. Для этого должно было пройти время, быть написаны и опубликованы книги, позиция выработывалась уже в новой атмосфере. Немногого стоят небрежные замечания о том, что, мол, и сегодня ничто не изменилось, и завтра можно собрать такой же зал, и лес рук поднимется за любое исключение — и Солженицына проглотили... В таких рассуждениях больше сытого равнодушия, чем понимания.

Да, и Солженицына проглотили, и Синявского не защитили. Да, и танки вошли не только в Будапешт, но двенадцать лет спустя — в Прагу. Но, быть может, "проглотили" и не "защитили" потому, что какое "голосование", когда на тебя едут танком! Но, при всей невозможности снять ответственность за Синявского и Солженицына, важно констатировать, если есть желание понять, а не просто злобненько потрепаться, что такого зала в наше время уже не было и, я полагаю, не может быть. Единодушия танком не добьешься, а опыт литературного процесса, нашей жизни в литературе в последние десять-пятнадцать лет так далеко увел от неспособных измениться приемов подавления, что сегодня не может возникнуть необходимого в таком зале соответствия сходных в уровне чувств и эмоций: безнаказанность — страх, наглость — бессилие...

Мне приходилось много раз сталкиваться с пренебрежительно-покровительственным ("Что у вас может быть — нет ни Пушкина, ни Толстого!") у людей постарше, или безапелляционно-уничтожающим ("Все продались на корню — напечатал хоть кто-нибудь слово истинной правды?!") у молодых — отношением к нашей

многострадальной литературе. У каждого из такого рода соображений свой резон. И верно — нет Пушкина. И действительно — попробуй напечатать слово истинной правды. И тем не менее, в такого рода обличительном пафосе со стороны больше равнодушия, чем желаниа разобраться, во всяком случае очевидного незнания. А невежество, как известно, не аргумент.

Несколько раз я делал попытку представить себе схему нашего литературного процесса, отвечая подобным обвинениям и претензиям, по причине невозможности эти свои соображения напечатать — устно. Однажды в Союзе писателей на каком-то обсуждении, обошедшемся мне практически дорого (в двух издательствах тут же сняли готовящиеся к печати книги, две журнальные статьи выбросили из набора), хотя это была пора наивысшего разгула хрущевского либерализма, таившего в себе, однако, как выяснилось скоро, начало столь же решительного подавления. Я выступил сразу после знаменитого "Манежа" (говорили, что Хрущева, специально напоив, привезли на выставку левых художников, он кричал и топал ногами на "педерасов", и это стало сигналом к началу постепенного закручивания гаек в нашем распустившемся искусстве) и попытался в самых общих чертах наметить периодизацию живого процесса, начавшегося статьями Померанцева и Щеглова, завершившегося первой вещью Солженицына ("Один день Ивана Денисовича"), открывшего одновременно и период следующий. Потом в прекрасной университетской аудитории физиков и математиков попытался восстановить ощущение самой атмосферы нашей литературной жизни, состоящей из одновременно существующих весьма интересных компонентов. Выгодность, или, лучше сказать, простота предлагаемой концепции была прежде всего в том, что она стала не умозрительным теоретизированием, а попыткой поделиться собственным опытом жизни в литературе, рассказать о реально ощущаемой ее атмосфере. Субъективность восприятия всего процесса

исходила из вполне объективно существовавших фактов, способных в свою очередь стать предметом анализа, самим осознанием эволюции свидетельствуя о ее несомненности. Столь же объективно несомненным, как, скажем, дающее простор анализу различие между только что упоминавшимися фактами исключения Пастернака из СП, его похоронами и осознаваемой сегодня невозможностью повторить пусть в другом варианте единодушия современной нам литературной аудитории.

Компоненты, о которых я говорю, составляющие атмосферу литературной жизни, а по-другому говоря, факторы, ее определяющие, сами по себе очень те кучи, трудно в своем движении остановимы для рассмотрения, но, что мне сейчас особенно дорого, — являются фактами личного переживания, а потому становятся для меня несомненными.

Я уже писал, как прочитывались на Сахалине статьи Марка Щеглова в "Новом мире", бывшие для меня никак не абстрактным фактом возможности говорить правду в литературе, но сразу прочувствованной реальностью, открывшей глаза на возможность собственного пути. Чуть позже я узнал всех, кто так или иначе определил потом направление новой литературы, это мешает, быть может, взгляду со стороны, но то, что я пишу, никак не свидетельство постороннего. Так же как, скажем, совсем иная, но очень важная сторона этого единого процесса, хлынувшая к нам, лишь только образовалась щель в железном занавесе — литература западная, ставшая своеобразным личным общением, потому что открылась возможность не дожидаться цензурирования и журнальных публикаций. В 1959 году лихорадочно перепечатывался "По ком звонит колокол" — одна из первых самиздатовских рукописей, что спасло для нас этот роман: когда он десять лет спустя был опубликован (чуть ли не через тридцать лет после опубликования на Западе!), читателей у него уже не оказалось (и верно, современный Майн-Рид, по слову

Набокова). В 1959 году роман был откровением, одним из самых сильных моих художественных потрясений. "Живаго" мы знали только по названию, а новый для нас — трагический взгляд на испанскую войну, художественно неопровержимое утверждение несостоятельности испанского опыта заставляло задуматься о многом. Я говорю сейчас о соучастии в активном процессе складывавшейся атмосферы литературной жизни, сами собой образовывались становящиеся "компонентами" содружества: огромную рукопись романа надо было перепечатать, вычитать, перенести на десятки экземпляров испанскую материну... Роман Хемингуэя включался в актив собственного душевного опыта.

Таким образом, активность и обличительный пафос новой литературы (главным образом, книги тех, кто пришел в литературу после 1953 года: прежде всего "Новый мир" — проза и критика, два тома "Литературной Москвы", даже "Тарусские страницы" и "Юность") был не одинок, одновременно в тот же самый процесс оказывались включенными и те, кто нашел в себе неистрепавшиеся силы, почувствовал второе дыхание. Я говорю здесь и о тех, у кого эти попытки, вполне искренние, окончились неудачей: что мог выжать из своего вконец истершегося, хотя, быть может, и чистого дарования Светлов или Асеев, Казакевич или Катаев — лукавство с самим собой, имитация искренности, чистенькая приспособляемость мстили творческим бессилием, в лучшем случае свидетельствуя о подлинности загубленного дарования. Хотя и тут, разумеется, что ни имя, то особая история, потому что если Казакевич истощился выяснением взаимоотношений с советской властью, постоянно убеждая себя в принципиальности своей лояльности, а алкоголизм Светлова скрывал только зудящую еврейскую совесть, которую он изящно успокаивал, то, скажем, Катаев в громких книгах последних лет — пример наглого и цинического жуирования жизнью, вольтижировки на деревянных лошадках. Даже у Твардовского в наши годы

не было нового шага, взлета поэзии, открывающей иную высоту, а всего лишь демонстрируемая возможность переигрывать впавшую в благодушие цензуру. Так же, как Паустовский или Каверин, не написав в эти годы ничего качественно нового да и вообще ничего стоящего серьезного разговора, исчерпавшие себя в единоборстве с собственным дарованием, оказались в состоянии, тем не менее, явить пример высоты личного мужества, что значило очень много для литературного процесса как такового. Несколько особняком стоят мемуары Эренбурга, в них интересна не концепция — вполне жалкая, не личность автора, вызывающая ощущения скорее сомнительные, а сумма информации при всех издержках, напоминавшая о нашем богатстве — растроченном, а чаще уничтоженном. Гроссман, может быть, единственная фигура прежней литературы, предложивший в наше время не только новые книги, но иной уровень понимания, мощь сохранившего себя, выстоявшего таланта, а последняя его книга ("Все течет..."), появившаяся в Самиздате через несколько лет после его смерти, так же как исчезнувший в КГБ роман, заслуживают особого и большого разговора.

Я пытаюсь только обозначить каркас здания, называю имена, как вехи, дающие возможность представить себе все сооружение хотя бы графически. Новую атмосферу литературной жизни определяли, кроме того, книги много лет не переиздававшиеся — зачитанные, затрепанные, достояние ценителей и библиофилов: Пастернак, Цветаева, Ахматова и Заболоцкий. Возвращалась наша расстрелянная литература: Мандельштам, Бабель, Иван Катаев. Возникали из небытия книги, написанные за четверть века до того и никогда не публиковавшиеся: романы Булгакова, проза Платонова. Несмотря на всю подчас анекдотическую случайность переводов, мы смогли в эти годы прочесть уже не Фаста, не Андрэ Стиля и Анну Зегерс, но Фолкнера и Кафку, Камю и Томаса Манна. И все это вместе, обрушившееся на нас в течение

пяти-десяти лет, перемалывалось, просеивалось, становилось активным душевным опытом. Собственным опытом, потому что интенсивность усвоения делала прежде всего личным самым процессом поглощения всего, что оказывалось способным хоть как-то утолить жажду столь поздно прикоснувшихся ко всему этому людей.

Но пока речь идет не о самом процессе, но о его своеобразии, о том, что происходило рядом, шло параллельно. Столь высокий уровень прожитого в литературе был еще не по зубам, не оборачивался реальным словом, но давал возможность дышать, исподволь готовил понимание того, что работать нам предстоит в великой литературе. Разрыв с подлинной культурой не мог быть заполнен столь быстро: как выяснилось позже, никогда не прерывавшаяся традиция ушла вглубь, и должно было пройти время, чтобы она могла быть извлечена на свет Божий.

Открыто было совсем иное, и никак не традиция стала пафосом и символом веры молодой литературы. То, что и определяло ее лицо в первое послесталинское десятилетие.

Мы действительно много прожили, успев в столь сжатые сроки, скажем, за десять лет пробежать путь, которого другому поколению хватило бы на целую жизнь. Но это если считать, что начали от нуля, что не было того, что было. В конкретном случае быстрота "проживания" объяснялась непрерывностью развития, начинать пришлось не на пустом месте, а вся трагическая жизнь нашего искусства за предыдущие три десятилетия со всеми издержками и потерями, отрицательным опытом, судьбой незаурядных и блистательных дарований, затоптанных, подчас так и не реализовавшихся, подпирало то, что стало возможным выплеснуть в наше время.

Я чувствую шаткость и неукрепленность своей позиции, утверждая превосходство новой литературы — кого можно было поставить даже рядом с Олешей — не Гладилина же.

Речь не об именах, я не собираюсь заниматься бессмысленным и обреченным на неуспех взвешиванием дарований — речь о процессе, заставившем в свое время замолчать Олешу; о процессе, позволившем начатому в 1954 году "Новым миром" в статьях Померанцева и Щеглова, во вполне заурядной прозе Овечкина — через восемь лет обернуться "Иваном Денисовичем".

Разговор о Грацианском, вызвавший в свое время такую злобу официальной критики — скромный абзац в статье Щеглова о помпезном, в духе сталинских высотных домов, насквозь фальшивом романе Леонова, сегодня может показаться безобидным, во всяком случае, наивным: знаменитое утверждение собственной — вспаханной, засеянной и удобренной почвы для рождения и произрастания мерзавцев, вопреки лжи классика о непременности только дореволюционных или зарубежных корней всякого так называемого отрицательного явления. Получив сегодня достаточную информацию о нашем трагическом опыте, мы можем, конечно, улыбнуться банальности гениальной догадки критика, сказавшего об этом в 1954 году в анализе романа, в котором, по разумению его автора, была предложена смелая концепция правоты строя, вынужденного искоренять остатки проклятого прошлого.

По сути дела, все, что было сделано с тех пор нашей обличительной литературой (а к ней относится лучшее из написанного за минувшие затем десять-пятнадцать лет), в критике и в прозе, так или иначе разрабатывало эту мысль Щеглова. От романа Дудинцева и "Ухабов" Тендрякова, от повестей Некрасова и Быкова — до рассказа Солженицына "Случай на станции Кречетовка". Более того: критика, казалось бы, далеко перешагнувшая сделанное Щегловым, легко покушаясь на вещи, вызывавшие в свое время у Марка вполне искреннее (воспитанное обстоятельствами жизни) почтение и робость, на самом деле именно перешагнула опасный разговор, непременно требовавший анализа того, как стало

возможным столь рачительное выращивание у нас мерзавцев и негодяев. И еще дальше: в чем природа произошедшего. Я имею в виду критику "Нового мира" — одно из самых серьезных достижений легальной либеральной литературы, остановившейся, несмотря на опыт, гигантский приток информации и несомненное понимание предмета, на том, с чего Щеглов начал, действуя, вне сомнения, интуитивно: абсолютный художественный слух дал ему возможность почувствовать фальшь и несостоятельность леоновского соцреалистического сюжета, а темперамент и внутренняя чистота открыли глаза на то, на что он и не собирался покушаться, просто довел логическую мысль до конца и вполне удовлетворился догадкой, не думая (тогда, во всяком случае) о ее естественном продолжении — начале более глубокого разговора.

Тем не менее слово было сказано. Но не услышано. В ту пору действительно не было информации (не только политической, но и художественной), суммы пережитого в искусстве. Догадка Щеглова как бы потонула во времени, отмеченная вехой партийного постановления для удобства извлечения, когда ее пора приспееет.

Это было время накопления такого рода отрицательной информации. Толпа монстров разгуливала по страницам повестей и романов, появившихся, начиная с половины пятидесятых годов: трусливое бездушие — как видовой признак одних, расплывчатая совесть, как результат инфантилизма — у других, непременно и естественно пасующих перед первыми. в случае невмешательства высшего начальства, обязательно вызываемого автором, перепугавшимся собственного реализма; и кафкианские учреждения (как обрадовались мы, прочитав Кафку, сначала в Самиздате! в нем не было даже преувеличения, всего лишь точно увиденная суть примелькавшихся в прозе той поры казенных учреждений — от исполкомов и судов до министерств включительно: закоулки и чердаки, как в "Процессе", механизм бессмысленного

перемальвания человека на удобрения — как в "Машине времени").

Чуть ли не все стороны нашей жизни (исключая неприкасаемый ЦК) были, таким образом, описаны и исследованы. Трагическое отступление 1941 года, послевоенное сельское хозяйство, семья и вузы, школа и научные учреждения. А потом пошли дальше, вглубь: деревня в тридцатые годы (антишолоховские книги, начавшие разговор о коллективизации), попытка поставить под сомнение непререкаемую правоту органов подавления, фальшь воспитательных методов, начинающихся в детском саду, у пионерских костров и в комсомоле. Только рабочий класс не знал до поры своих исследователей, очевидно, по причине переизбытка производственной тематики в литературе минувших лет; и 1937 год все еще ждал разрешения (или случая) для своего изображения в изящной словесности.

Картина будет неверна, если мы позабудем о явлениях с обратным знаком: романы Кочетова и литература, близкая его направлению, тоже давала немалую информацию, делая то же самое (одно из позднейших обвинений "Нового мира" с высокой позиции: "Октябрь" печатает то же самое, но создается людьми, иначе относящимися к Сталину и еврейскому вопросу; заблуждение, в котором есть резон — общее забвение традиции и предшествующей культуры. И все-таки — заблуждение: различное отношение к Сталину и еврейскому вопросу становилось во времени не просто различием групповым или "партийным", но противоположным отношением к жизни, к роли и назначению литературы, оборачивалось столкновением таланта и приспособленчества. Но и здесь не так все элементарно, об этой сложности речь впереди). Во всяком случае, толпа монстров, населявших престаалинские романы Кочетова, при всем их литературном примитиве, гляделась в общей толпе героев, снующих по страницам либеральной литературы, дополняла недостающее в них: партийные

функционеры, кадровые рабочие. Авторы книг такого толка выбалтывали чрезвычайно много о неведомом широкой публике быте и душевном настрое бурно кристаллизовавшегося в ту пору руководства, открывали фантастическую нравственную физиономию положительного героя — человека способного на что угодно, сидящего к тому же в высоком кресле, не связанного никакими моральными принципами, научившегося оставаться принципиальным в любой гнусности.

Дискуссии об этих книгах (хотя они и не имели отношения к литературе) сыграли свою роль в поляризации литературного процесса, значительно ускорив и определив его.

В этом смысле очень характерна, мне думается, история с публикацией в "Литературной газете" статьи об очередном романе Кочетова.

Было это в 1961 году, когда началось некоторое торможение процесса десталинизации: Венгрия охладилась горячие головы, замысливавшие "радикальные" изменения, еще через несколько лет они напрочь позабыли о своем грехопадении в либерализм и активно включились в очередную кампанию подавления.

Роман Кочетова ("Секретарь обкома") появился в смутное время — перед XXII съездом партии, подбросившим в костер либеральных иллюзий целую охапку смолистых поленьев. Любая попытка анализа этого сочинения, конечно, не могла быть литературной работой: критик как бы заранее договаривался с читателем о том, что разговор пойдет не о литературе, но, разбирая роман словно бы всерьез, получал возможность продемонстрировать нравственный уровень автора, выбалтывавшего любопытные подробности тайной жизни партийного руководства.

У меня сохранилось несколько моих статей о Кочетове (частью опубликованных), ключ к анализу такого сорта книг был очень прост: стоило подойти к разбору

фигуры положительного героя с позиции нормального человека, хотя бы однажды слышавшего о том, что убить, украсть или обмануть, скажем, — не принято, как сам писатель (а Кочетов — писатель не "рядовой", облеченный реальной властью редактор журнала, один из руководителей СП, член ревизионной комиссии ЦК), его страсть и темперамент, пафос, то, во имя чего он все это сочинял, обнажившись, открывало такое душевное уродство и интеллектуальное убожество, что даже критику-фельетонисту становилось неловко. Но сколько требовалось нервов, прямого мужества, таланта, изворотливости, упорства, наконец, просто времени, чтобы получить возможность даже в то либеральное время хоть что-то об этом напечатать или громко сказать!..

Но возможность была, Хрущев еще функционировал, а просталинская ориентация Кочетова сомнений не вызывала. И потому редактор-игрок мог рискнуть осуществить такой архисмелый маневр, опираясь на своих людей в ЦК, хотя человеку, делающему карьеру, решиться на это было не так просто: ошибаться, как Кочетов, всегда было позволительно (пожурят, на худой конец), ошибки противоположные не прощались.

"Литературная газета" той поры (1958—63 годы) была своеобразным и ярким, во всяком случае, достаточно характерным организмом, дающим возможность составить представление о самом механизме процесса десталинизации в литературной жизни. Редактор газеты, уже упоминавшийся мной С.С. Смирнов — один из героев писательского собрания, исключившего Пастернака, составил себе в следующие годы громкое имя и огромную популярность, настойчиво и упорно занимаясь помощью ветеранам войны, оказавшимся в наших лагерях, обездоленным после амнистии всевозможной волокитой, бюрократизмом и равнодушием. А так как в редкой семье такой "обиды" к тому времени не накопилось, то Смирнов, начавший свою филантропическую деятельность скромным очерком о героях Брестской крепости — о

погибших или рассеянных по свету, промыкавшихся в немецких, а потом в наших лагерях, оказался перед огромной лавиной человеческого горя, конкретно — жалоб, хлынувших к нему от тех, кто прослышал о чуде, занимающемся реальной помощью людям.

Кому-то (а может быть и многим) заступничество известного писателя и редактора газеты действительно помогло, добрые дела этот человек делал, ухитрившись одновременно не обездолжить себя, выжать из своей филантропической деятельности все, что можно для эксплуатации весьма скромного дарования. И это было в духе поры Реабилитации (восстановление прав несправедливо обиженных — якобы правда о том, что было). Разумеется, даже попытки анализа того, как это могло с героями Бреста произойти, Смирнов не пытался делать, утвердившись, тем не менее, в репутации известного прогрессиста, хотя в начале его деятельности был Пастернак, а при финале — Солженицын, за чье исключение он как секретарь СП не мог не голосовать. Интересно, напомнил ли кто-нибудь из либеральных собутыльников этого советского доктора Гааза о том, что это ведь Иван Денисович был в Бресте, а потом оказался в нашем лагере под номером Щ-854!

Но в 1959 году, когда начиналась новая газета, Смирнов был фигурой очень подходящей: еще молодой, энергичный, с настоящим авторитетом заступника — все в духе времени. Он и людей подобрал себе под стать. Но, как часто в таких случаях оказывается, произошла некоторая оплошность. Смирнов, человек достаточно профессиональный, понимал, что литературную газету должны делать люди не просто бойкие, но и талантливые. И преимущественно молодые — здесь нужен задор, отчаянность, быстрые ноги. Он пригласил в газету только-только пришедших в литературу, по нашим понятиям еще молодых людей, в самую пору их собственного процесса оттаивания. Конфликт не мог не возникнуть, хотя поначалу, надо думать, был момент

некоторого взаимопонимания: Смирнову нужна была по возможности яркая и острая газета, в которую, как говорят, пошел бы писатель, совершенно в духе времени, щекочущая нервишки алчущим обличения либерально размышляющим интеллигентам, способная иногда на некоторый, в позволительных пределах, литературный скандалчик. Он получил такую газету: она была порой яркой, по тем временам острой, писатель в нее пошел, скандалчики в ней происходили... Но у тех, кто пришел в газету, как раз в середине пятидесятых годов придя в литературу, были свои планы, не имеющие отношения к намерениям Смирнова; и темперамент был другой, и боль, заставлявшая их, в отличие от автора очерков про Брестскую крепость, пытаться доискиваться до причин, по которым Иван Денисович, проходивший службу в каком-нибудь Бресте, в первый день войны, должной иметь место только на чужих территориях, оказался окруженным и обойденным стремительно ехавшими на своих танках немцами, а потом, побывав в немецком плену, угодил в наш лагерь, по-своему более страшный. Смирнов считал: в свое время об этом можно было упомянуть — и того слишком много. А кое-кто из его сотрудников полагал, что оставить без разъяснения причины, по которым жизнь Ивана Денисовича сложилась столь затейливо — безнравственно. Различие достаточно принципиальное.

Разумеется, мне не приходит в голову представить "Литературную газету" той поры неким компактным коллективом — это был организм вполне аморфный и достаточно убудочный, со старыми кадрами стукачей, переживших десяток редакторов, делавших карьеру еще в сталинское время, с бездарными газетчиками, способными на что угодно за самый нищенский гонорар. Но не они определяли лицо газеты в то время, а оно, между тем, было весьма выразительным, и это не просто, так сказать, любопытно или трогательно, но, как уже говорилось, характерно.

Впрочем, и те, кто определял в ту пору характерность физиономии газеты, были совсем не однородны. От Бондарева, красиво пришедшего в литературу с повестями о войне, полемически утверждавшими высокую правоту окопного взгляда перед обзором, открывающимся из окон генштаба, пошедшего еще дальше в романе, в котором он сказал по тем временам весьма сильно о трагедии послевоенного сталинского террора, а затем круто повернулся вместе со временем, побежал впереди начальства, шагнул из "Нового мира" прямо в "Октябрь" и стал автором откровенно лживого просталинского фильма о войне, совсем в духе появившихся в последние годы мемуаров прославленных сталинских маршалов, все дальше и дальше от правды потащивших нашу многострадальную историческую науку в угоду очередной охранительной конъюнктуре. Эволюция стремительная и любопытная, в которой так полно виден этот по-женски чуткий к дуновениям конъюнктуры невысокого разбора беллетрист, достаточно трезвый и хваткий, чтобы выстраивать свои сочинения всякий раз на полшага впереди очередного, сверху идущего порыва ветра. Чисто литературное поражение Бондарева было бы неизбежно даже при большем даровании: он оказался чуть впереди ветра, дунувшего в противоположную сторону, опередил откровенных мракобесов, с готовностью принялся оформлять столь радикальное и одновременно стремительное изменение своего мироощущения. Фигура вполне заурядная и в этой характерности, но в ту пору в газете и он был на месте, а я остановился на нем, чтобы показать различие людей, объединявшихся в то время общностью гражданского пафоса. От Бондарева до Окуджавы. Да, и Булат Окуджава со своим пронзительно-современным городским романсом, в котором истинная поэзия, поставленная служить, казалось бы, всего лишь муравьиной жизни, принципиально не желая над нею подниматься, явила в этой мизерабельности истинную силу, мужество, темперамент — судьбу. А между

тем, в газете той поры, взяв гитару в руки, Окуджава показал, в отличие от только что упоминавшегося коллеги-прозаика, чистоту и твердость позиции, неспособной измениться, как бы грозны или прельстительны ни были дующие над ним ветры. Подчеркнуто мужественный, по-ремарковски отчаянно-смелый автор романов и повестей позабыл все свои обещания и им же обнаженную горечь при первом намеке на то, что за такую правду могут перестать платить, а органично-непритязательная, изнутри светящаяся муза Окуджавы с ее бедненькой, столь же полемически мещанской гитарой и глазом не повела, не замечая угроз и посулов. В первом случае перед нами была неразличимая в горячке, лишь скамуфлированная под цвета времени маленькая спекуляция, устремленная только в литературную карьеру, а во втором — естественность существовавшей во времени поэзии, выразившей это время каждой из своих слабостей, а потому открывшей неожиданную высоту в банальном и примелькавшемся. Что ей было бояться окрика, если она не могла быть искоренена — следовало бы начать с уничтожения улиц, дворов и подворотен, уюта и беспорядка квартир, воспоминаний и их горечи. И если с улицами и дворами у нас в конце концов расправятся, то со второй частью этой программы сладить труднее. Гитара Окуджавы гремела с каждым годом громче, вышла из маленьких тесных комнат в концертные залы, шагнула в кинематограф... Потеряла ли она что-то при этом? Может быть, ее связь со временем слишком очевидна, но именно поэтому она не просто осталась во времени, но, активно участвуя в его формировании, шагнула вместе с ним дальше...

Но если речь о газете, дело не в конкретных людях и именах, а в образующейся вокруг среде, которая, никак словно бы не реализуясь, оставаясь на первый взгляд случайной, чуть ли не помехой — на самом деле и дает газете направление, подсказывает идеи, сообщает пафос... Так вот, когда играют на редакционных столах

в шахматы, разносят очередной номер журнала, новинку живого еще классика или свежее правительственное установление. Такая непроизводительная трата времени, пустой редакционный свободный треп, при общности позиции, выработанной, тем не менее, в долгих, подчас бессмысленных, хотя и ожесточенных спорах, в одной из самых "незначительных" редакционных комнат — определяет линию газеты: только в эту комнату приходят авторы, чье появление на газетных страницах — событие, только здесь, в небрежной, случайной реплике рождается мысль, перерастающая потом в дискуссию, памятную в литературном процессе...

В течение двух дней на редакционном совещании выступали один за другим сотрудники литературного отдела, утверждая невозможность для газеты промолчать о романе Кочетова. Это было своеобразным действием: лавина аргументации, блестящего анализа, иронии, демагогии, тактического политиканства. У каждого свое амплуа: от вкрадчивой, проливающей бальзам на душу начальства чуть ли не лести, до бурного словоизвержения, не оставляющего камня на камне не только в романе Кочетова, но и в позиции литературного начальства, замалчиванием потворствующего безнаказанности этой очевидной литературной диверсии. Подумать только, чему были посвящены долгие часы двухдневного бдения, какой ничтожный сам по себе материал стал предметом приложения сил, пафоса и таланта! Но разве в этом было дело? Я помню, какими возбужденными пришли многие из участников этого представления поздним вечером на наше очередное пиршество, как долго еще, не в состоянии остыть, перебирали подробности происходящего. В какой-то момент, оглушенное всем этим словоизвержением, начальство дрогнуло, а один из самых прожженных и продажных литературных функционеров, что-то просчитав, предложил себя в авторы критической статьи. Это было выходом, типичным для газеты, ее любимым ходом: "правые" ругают "правых", "левые" — "левых", поддержав "Новый

мир”, нужно сразу же расхвалить “Октябрь” — так называемая консолидация, сделавшая беспринципность знаменем своей литературной позиции. Но это было, тем не менее, выходом — не вызовет возражений в ЦК, а стало быть осуществимо. Он предложил себя, тут же передумал, но было поздно, вокруг него жужжал хор голосов: восхищались его мужеством, дарованием, значимостью того, что он сделает, от него не отходили ни на шаг на протяжении нескольких дней, пока он писал статью, пока она правилась, сокращалась, втискивалась в газетный лист. Его не оставили одного и потом, он был способен снять статью уже в полосе, под прессом — вся газета гудела, каждый шаг продвижения статьи фиксировался и находился под контролем.

Никто не уходил из газеты до полуночи, пока из типографии не принесли оттиснутые первые экземпляры номера; сидели на полу в коридоре. Конечно, это казалось победой, делом, способным чему-то помочь и на что-то иметь влияние.

Такое обманчивое ощущение неминуемо настигает каждого попавшего в газету: он сидит за столом, под рукой у него телефон; напечатанный при его участии, содействии или просто им организованный материал вызывает тут же ответную (ту или иную) реакцию — одни обижены, другие рады, а если ты к тому же имеешь собственные пристрастия в литературе, если они вырастают в направлении, если оно окрашено в политические цвета и ты вступаешь в открытый конфликт с начальством — своим и тем, что стоит за его спиной, поддерживаешь истинное дарование, получаешь, наконец, возможность сказать правду бездарному бонзе и спекулянту, сам просчитываешь свои ходы или, забывая о трезвости, поддаешься азарту, риску... Все это собирается, складывается, остановиться и бросить взгляд назад времени нет, но уже чувствуешь, что-то выстраивается, сдвинулось, течет за тобой, тебя несет — и это не просто стихия, не случайность, это ты, вместе с друзьями, поставил

вовремя ногу, палец, встал грудью, сыпанул посочку — ты уже не свидетель, участник, действующее лицо, незаменимое звено в цепи, а это только сегодняшний обыкновенный редакционный день с шахматами, трепом, флиртом, пивом в буфете, а завтра будет день следующий, и в конце концов плевать на начальство, редактора: где-то рядом, параллельно, но уже самостоятельно, в недрах и под спудом литературного процесса выковывается подлинная литература.

Неизбежны издержки, глупость, потеря контроля и чувства юмора, ощущения масштаба — сама собой возникает убежденность, что литература делается именно здесь, за редакционными столами с телефоном, а не будь их, ее б и вовсе не было. Но и это не беда, все равно наступает отрезвление, а искренняя убежденность в важности своего дела — она всегда на пользу.

При всем уродстве и неестественности нашего литературного процесса, убудочности института редакторов, исполняющих как правило в своей массе функции цензоров и литправщиков, чья задача в нивелировке литературной продукции, создаваемой литературной фабрикой, выбрасывающей на рынок сотни одинаковых, как медные пятаки, сочинений, не имеющих никакого отношения ни к жизни, ни к литературе — своеобразное соавторство в создании литературы соцреализма, в пределах которого возможны лишь отклонения, а каждая талантливая книга только свидетельство поразительной мощи идущего под спудом процесса — как трава, прорастающая сквозь асфальт; при всем этом удивительно, заслуживает восхищения дело, которое оказывается способным делать редактор — скромный, часто тихий и незаметный человек, клерк в этом блистательном литературном мире. С одной стороны, гигантская фабрика-кухня — олешинский Четвертак со всеми онерами и отлаженными станками, способными просто печатать деньги, потому что процесс превращения писательской энергии в дензнаки не только прям и чрезвычайно

немудрящ, но и не осложнен каким бы то ни было читательским отношением: на рынок выбрасываются пуды, тонны макулатуры, так и остающейся в пачках никому не нужной (пуды, которые покупаются, часто остаются той же макулатурой), а потому единственный реальный результат работы писателя — деньги, которые он получает. Гигантский Четвертак бурлит, к подъездам подкатывают шикарные автомобили, сытые люди, чьи лица знакомы по портретам, стремительно вбегают в подъезды и выходят из них, небрежно рассовывая по карманам вознаграждение за условную возню, где главное не участие в жизни подлинной, а только формальное отражение несуществующего на самом деле. (Принцип "обратной связи" в советском искусстве: отражение при помощи изобразительных средств заведомой лжи для того, чтобы потом на эту "отраженную" ложь можно было сослаться как на факт якобы жизни, "документально" подтверждая узаконенность существования лжи). Тем не менее, со станков этого самого Четвертака сходят книги настоящие, о существовании которых я уже упоминал: все, что складывалось в характерное, такое важное для нас лицо литературы последних лет, вышло оттуда же — от романа Домбровского до Кафки, от Цветаевой до прозы Платонова. Что же это — накладка, холостой ход машины — проворонившей, или результат чьей-то злонамеренной воли, подсунувшей в точно выбранный момент одну из таких книг, результат кропотливой, сложной и неблагодарной работы (свершается она в тиши и незаметности, читатель никогда не стремится узнать имена тех, кому обязан первой публикацией стихов Мандельштама, вытщенной на свет Божий рукописью "Мастера и Маргариты", появлением рассказов Войновича или повестей Владимова и Максимова)? Сколько требуется здесь бескорыстного служения и любви к своему делу, мужества и готовности к истинной самоотверженности: речь идет о людях служащих, получающих зарплату именно за недопущение

всего этого на свет Божий, чья ставка утверждается высшими инстанциями всего лишь для учета печатания все тех же дензнаков — возможности составить представление о массе макулатуры. А здесь прямой и неизбежный конфликт с руководством, грозящий потерей средств к существованию. Сколько посчастливилось мне встретить прекрасных и чистых людей, скольким я обязан лично и как важна их роль в том, что в конце концов сегодня, несмотря на позор и стыд нашего существования, нам есть чем гордиться, мы можем говорить о собственной жизни в литературе и о ее собственном существовании...

По сути это и было новой атмосферой жизни — ее кристаллизацией, превращением в реальность, материализацией носящихся в воздухе смутных идей и соображений. Битая и перебитая, несчастная и запуганная, трусливая и растерянная наша интеллигенция, тем не менее, как-то существовала, так же как реально существовало добро, а его делали конкретные люди. Но соучастие в преступлении, но ответственность за обман несчастных, вконец замороченных людей, но коллаборационизм и жуирование жизнью — разве во всем этом неповинна все та же несчастная наша интеллигенция? Разумеется. Но разве добро измеряется пудами, как и зло, и разве, сказав, что зла сотворено больше, мы хоть чем-то умалим факт существования реального добра, вопреки всякой очевидности прораставшего вокруг нас, а стало быть, и в нас?

Но я словно бы говорю не о себе, а в мою задачу никак не входит попытка написать хронику нашей литературной или общественной жизни, я не собираюсь писать и об эволюции общественного сознания, но лишь о том, как оно складывалось, просеиваясь, постепенно выстраивая и направляя мое собственное мироощущение. Так получилось, быть может, в силу характера и обстоятельств, что все, о чем идет речь, было разными сторонами моей собственной жизни, происходило одновременно, но

только в такой параллельности изложения мне видится возможность дать хоть какое-то представление о том, как это было.

Здесь, в эти годы в "Литературной газете" и вокруг нее, а чуть позднее и одновременно — в "Новом мире" и вокруг него складывалось для меня столь важное, в какой-то момент оказавшееся определяющим, товарищество, близость с людьми, сошедшимися не случайно, в связях не светских и не застольных. Хотя было и это, и можно сетовать на то, сколько времени и сил ушло понапрасну в болтовне и бражничестве. Не было потребности в духовной близости, понимания ее необходимости — разобщенность, объясняемая отсутствием общей идеи и дела складывала дружбу только поверхностную и необязательную. Так и было, во многом осталось до сих пор. Но что-то отслаивалось, просеивалось, уносило случайное, выстраивалось четкое отношение к вещам для нас основополагающим, приходило понимание конкретного дела, да и общая судьба завязывала дружбу сюжетом одних и тех же обстоятельств. Хотя и здесь, если быть вполне откровенным, было больше любви и взаимной приязни — чувства, чем подлинной духовной близости. Речь может идти не столько о выработывании общего мировоззрения, сколько об общности отношения к окружающему, общих реакциях на одни и те же возбудители, готовности к одним и тем же поступкам, способности помочь, поддержать или выручить. Ироничность как оружие самозащиты в борьбе с собственной инфантильностью, активно нигилистическое отношение ко всякому преувеличенно серьезному отношению к последним вещам, формирующим человеческое мироощущение, как средство защиты от самообвинения в романтизме, неспособности логически и бесстрашно идти до конца. Общим было понимание происходящего, презрение и стыд, любовь друг к другу, ненависть.

И конечно мешает следить за мыслью моей книги, что об этой, быть может, важнейшей стороне своей жизни я не могу писать конкретно, потому что рискую превратить сочинение в произведение другого, всегда модного у нас жанра со всеми его последствиями, вынужден теоретизировать там, где значительно интереснее было бы увидеть и услышать. Впрочем, это беда всякого мемуара — автор живет в конкретных обстоятельствах и не может так или иначе их не учитывать. Хотя это и немало — так или иначе.

Невозможность печататься в "Знамени" стала для меня очевидна не сразу: я должен был пройти через обыкновенную радость публикации, стремление обойти разговор о жизни, обернувшись к проблемам чисто художественным, чтобы однажды совершенно отчетливо ощутить, что имею дело с равнодушием, только усвоившим правила игры "в литературный журнал", в "правых" и "левых", изображая при этом некую порядочность, лавируя в так называемом "центре". Ремесло — как сделать табуретку, ежемесячный план, за выполнение которого выдают зарплату. Сталкиваясь со злой силой, мешающей всякой возможности предложить самостоятельный ход в сторону, попытке собственного взгляда, а тем более разговора на злобу дня, я поначалу уступал, но чем дальше, тем все отчетливее чувствовал пустоту такого унижительного времяпровождения, сулящего постыдное благополучие, за которое придется расплачиваться растлением собственной души. Стоит вспомнить членов редакционной коллегии этого журнала, начиная с его редактора — персонажей не столько сатирического, сколько неореалистического фильма, с их уникальной способностью улавливать конъюнктуру. И при этом все было достаточно интеллигентно, порядочно — туман эрудиции, житейский опыт, горячо декларируемое стремление помочь в любой реальной беде, обернувшееся однажды трусливой подлостью, стоившей нашей

литературе романа Гроссмана, исчезнувшего где-то на Лубянке.*

Я хорошо помню свой последний разговор с редакторами журнала "Знамя" по поводу важной для меня статьи: попытки понять суть современности стиля в социально увиденной детали и подробности — бытовой и психологической, рассуждения о Толстом и Достоевском, Хемингуэе и Ремарке, о нашей литературе последних лет — о необходимости анализа причин всякого явления. Я запомнил даже не сам разговор, а лица, выражение глаз, ощущение стены, в которую я уперся, откровенное нежелание понять другую точку зрения — отрицание всякой возможности публикации иного мнения.

Я, как говорится, открылся (сначала для самого себя). Это произошло чуть раньше, в статье о Вахтанговском театре в театральном журнале: попытка все того же анализа причинности явлений, который выявил полную несостоятельность репертуара знаменитого театра — от Софронова до Арбузова, не имеющего никакого отношения ни к жизни, ни к искусству. Оставался "Новый мир", и это было последнее из того, что мне предстояло пройти в нашей литературе.

Я не пытаюсь, как уже говорилось, писать историю или хронику нашей литературной жизни, а "Новый мир" — явление сложное, никак не однозначное, требует специального и внимательного исследования. Мне еще придется вернуться к нему в финале книги — его закрытием как бы сюжетно завершилось и мое непосредственное участие в литературном процессе. Отношение к самому факту закрытия журнала, бывшего в течение чуть ли не пятнадцати лет знаменем всей нашей новой литературы,

* Последнюю книгу романа "За правое дело" — вещь, по слухам, значительную — В. Гроссман принес в "Знамя", Кожевников немедленно оттащил ее в ЦК, ничего не сказав автору, а спустя некоторое время у Гроссмана был произведен обыск, в ходе которого изъяли все экземпляры рукописи и черновики.

на мой взгляд, очень интересно и лучше чем что-нибудь другое говорит о зрелости и завершении определенного этапа нашего развития.*

После затхлых редакционных кабинетов "Знамени" с грошовыми интригами, мелким обманом, лицемерием и кухонным политиканством, в которые волей-неволей впутывался и автор, после страха за то, что у тебя и в верстке, в сверке — в чистом листе! — что-то вынут или впишут (приходилось, если тебе это было существенно, следить за всем процессом прохождения рукописи — до сигнального экземпляра, и все равно оказывалось, что душа из сочинения вынута), после всего этого унижительного и постыдного — отношения дружеские, в самом главном — близкие, прямые... Беспрецедентная для советского человека, никогда не виданная возможность в казенном учреждении разговаривать как дома! Всем нам это еще отыграется: столько всего наговорено здесь — сначала в небольших комнатухах старого "Нового мира", в известинском доме на площади Пушкина, а потом по соседству, в новом, вполне шикарном помещении рядом с кинотеатром "Россия". Но об этом не думали, редакция была даже не клубом — домом родным, в каждой из комнат сидели люди близкие, приятели, друзья, во всяком случае, единомышленники. Узость чисто художественного взгляда на литературу, ограниченность конфликта с реальной действительностью, сводившегося

* Страницы, посвященные НМ, могут показаться сегодня (особенно после опубликования литературных очерков "Бодался теленок с дубом") некоторым повторением. Мне по-прежнему дорого в них собственное осмысление столь важного для нас явления, а схожесть оценок с солженицынскими дали право в свое время защитить его книгу. Печально здесь только то, что и в нашу зрелую пору книга Солженицына, столь недвусмысленно высказавшаяся о наиболее сложных проблемах нашей литературной жизни, нашла отклик только в двух статьях: несомненно заказанной статье В. Лакшина "Друзьям "Нового мира" и в моей — "Разделение". Факт, несколько охлаждающий романтический пафос нижеследующих страниц. (Примеч. 1981 г.).

в конечном счете к указаниям на слабости и просчеты в общественных интересах, некая кастовость и элитарность, ощущение единственности, всегда отвратительной монополии на свободомыслие (по слову Казакевича), мелкие и серьезные обиды, копившиеся от года к году — все это собиралось и формулировалось постепенно и выявилось окончательно только к финалу этого сюжета. А поначалу, повторяю, был дом родной, оазис, как говорили дамы. И верно, стоило побегать по редакциям и издательствам, посидеть на собраниях в СП, чтобы, придя сюда, перевести дух, очнуться, очутиться на другой планете — свободная территория в самом центре Москвы!

Обманчивость этих ощущений стала очевидна позднее и связана с серьезным процессом продолжающейся эволюции собственного мироощущения: жизнь продолжалась, а журнал забуксовал, в какой-то момент исчерпав свои возможности, не в состоянии измениться. Как бы драматично ни относиться к факту закрытия "Нового мира", он закрылся сам: ничего не могли изменить еще двадцать-сорок номеров, выпущенных теми же людьми, с тем же самым, начинавшим костенеть отношением к жизни и своему в ней месту — это было бы уже только фактом их собственной биографии.

Но это потом, в пору рождения и мужания Самиздата, когда всякая официальная публикация воспринималась разной степенью приспособленчества. А пока что нас несла теплая волна Реабилитации, убежденность в возможности так много сделать, открывая глаза на истинное положение вещей.

"Новый мир" сделал действительно много. Каждый номер журнала ожидался весьма широкой читательской публикой. Всякий роман или повесть, рассказ, критическая статья или рецензия неизменно вызывали остервенение и лютую злобу. Литературный уровень журнала не в пример остальным нашим печатным органам был по нашим временам достаточно высок, в пределах наивысших возможностей соцреализма. Коллективу редакции

каждый номер обходился дорого: приходилось хитрить, морочить голову ушлым цензорам, научившимся видеть подтекст там, где и текста не было. И тем не менее — целая библиотека в полтораста томов журнальных номеров, определенная и серьезная веха в нашей литературе, предел возможного со всеми печальными слабостями такого урезанного потолка этих самых возможностей.

Была ли последовательность, план или программа все более глубокого постижения жизни, существовала ли хоть какая-то, так сказать, управляемость этой оппозиционностью литературы, направление движения к вымечтанному рубежу? Я размышляю об этом как читатель журнала, знающий кое-что о его кухне. Думаю, не было такой программы и в этом главная причина смерти журнала до срока — последние годы он жил лишнего, а все сделанное было только количественным накоплением продекларированного с самого начала, еще в пору статей Померанцева и Щеглова. Таким был Дудинцев (напечатанный, кстати, Симоновым), романы Залыгина и Бондырева, повести Некрасова, Тендрякова и Быкова, Троепольский и Можаяев, "Теркин на том свете", мемуары Эренбурга, Семин, Дорош, Герасимов, Абрамов... Разные — и в жанре, и в судьбе авторов, и по дарованию — вещи имели общий (с поправками на жанр, судьбу и дарование) пафос, открывали читателю глаза на ошибки, просчеты и беды нашей действительности. Почитая их только издержками — отвратительными, гнусными, требующими самого жесткого к себе отношения, искоренения — но издержками великолепно задуманного целого. Могло ли быть, впрочем, иначе и мог ли журнал пойти дальше, если его редактор все время помнил о своем партийном билете и, думается, он не был ему, во всяком случае, всегда камнем на шее. Сталин — самый крупный барьер, который он смог преодолеть, путь дальше был ему заказан.

Но "Новый мир" был живым организмом со своей собственной логикой, самостоятельностью и в какие-то моменты мог становиться неуправляемым. В журнале

старались не пропустить ничего талантливого, порой изменяя жесткости направления: Белов, Шукшин, Астафьев... Была собственная логика в развитии идей, в их продолжении, которая могла и не быть близкой редакторам журнала, порой вызывая у них протест, внутреннее сопротивление. Высшее из того, что было в журнале напечатано, при том, что само появление именно на его страницах случайным никак не было, явилось следствием такой самостоятельности журнала, а не прямой, грубо говоря, заслугой редакции. Это явление неизмеримо более сложное, никак не обличительное, оно знаменует новый этап или период нашей литературы. Оно сразу же переросло "Новый мир", хотя появилось в нем. Почему? Да потому, что податься больше было некуда, а очевидная уже чисто литературная незаурядность даже формально отвечала направленности журнала.

Только формально, уже чисто художественная логика этих вещей вела значительно дальше предела, совершенно сознательно и искренне поставленного себе редактором журнала.

И тем не менее это тоже был автор журнала, журнал сделал чрезвычайно много для публикации его произведений, отчасти не понимая, а отчасти позабыв о собственной мундирности во имя высших соображений, зная о своей ответственности перед литературой и не забывая о нашем общем горьком опыте.

Я помню ощущение праздника в журнале, когда печатался "Один день Ивана Денисовича", воспринявшийся сразу же высшим достижением той поры, как бы подытожившим все сделанное до того и одновременно открывшим период новый. Но оказалось, что в этом "периоде" "Новому миру" делать уже нечего, приговор, вынесенный этой гениальной балладой об одном из лагерных дней крестьянина и солдата, был таким категоричным и никаких надежд не оставляющим, чисто художественный, органичный, а потому особенно весомый вывод был сам по себе столь нов и неожидан, что поначалу

и не воспринялся ни в редакции, его печатавшей, ни начальством, его разрешившим ("Обманули Хрущева!" — говорили потом), ни официальной критикой, угодливо принявшейся расхваливать странное сочинение, почему-то одобренное секретарем ЦК. (В первый момент это показалось обидным, способным у б и т ь автора, никак не созданного для роли официально ласкаемого).

Но этот высший взлет журнала был его концом — не только двигаться дальше (а топтание на месте смерть для любого художественного организма), но и остаться на таком уровне "Новый мир" был неспособен, зачеркнул бы собственное существование, лишая себя наверно же грезившейся в перспективе возможности получить по праву заслуженное официальное признание. Романы Солженицына, попавшие в "Новый мир" следом за "Иваном Денисовичем", никак не могли стать официально узаконенной, так сказать, художественной оппозицией, за принадлежность к которой в советских кассах платили бы советской валютой. И хотя в "Новом мире", казалось бы, делали все, чтобы их напечатать, стоять за них до конца не могли. Журнал кончился.

Мой собственный путь в этом журнале был значительно скромнее, но естественная эволюция и здесь достаточно характерна. От уничтожения ремесленности в литературе с выяснением социальных корней ее успеха и процветания — к анализу захватившей меня с самого начала мысли о соотношении человека и превозносимого ритуально дела — центральной точки опоры всякого сочинения соцреалистической культуры. Натолкнувшись на людоедский романтизм, бывший пафосом нашей культуры с самого ее начала, я стал искать его и каждый раз непременно находил. Но пока речь шла о конфликте между карьеристом-директором и прогрессивным гуманистом-инженером; пока в теоретическом плане с

любимыми журналом милыми аллюзиями говорилось о традиционной для русской культуры любви к Акакию Акакиевичу и стационарному зрителю Самсону Вырину, о понимании их нравственной высоты рядом со столоначальником и генералом; пока шла удивительная для русской литературы в середине XX столетия дискуссия о правде факта и лицемерной лжи, оправдываемой якобы во имя высших соображений — тоже в пределах конфликта между зарвавшимися начальниками и алчущим добра трезвым работягой, — до тех пор все шло хорошо и в русле журнала. Но как только, всего лишь следуя логике мысли, я добрался до неминуемого утверждения о вреде всякой лжи и невозможности ее никогда и ничем оправдать, когда я вспомнил о великой традиции — о слезе ребенка, стоящей всего здания, я тут же почувствовал противодействие, стену, собственную, так сказать, бестактность, ибо самое существование "Нового мира", как всякого общественно-политического организма, живущего в реальных обстоятельствах, требовало построения постоянно действующей системы компромисса — лжи во имя собственных представлений все о той же пользе делу. Принять эту, легко защищаемую в наших условиях — естественную позицию, для меня означало отказаться от всего шаг за шагом пройденного пути. А для редакции "Нового мира" смешно было бы и думать о хоть сколько-нибудь серьезном (не литературном) отношении к проблеме абсолютной невозможности лгать в искусстве. Здесь была своя логика игры или, скажем, — литературной борьбы, вообще существования в предложенных обстоятельствах. Но следовало хотя бы признать слабость собственной позиции, сокрушаться ее несостоятельностью. Противопоставление тупому давлению изоциренного, красиво и благородно оснащенного литературного политиканства — непременно безнравственно, ибо в основе всякого нравственного акта не может лежать обман и своекорыстие для пользы делу. Для "Нового мира" такого рода рассуждение было чистой абстракцией белоручек,

демагогией — выступить с проповедью против дубины они посчитали бы по меньшей мере глупостью.

В одной из новомирских статей, читавшейся достаточно программно, было такое рассуждение:

"Некрасов кормит цензоров роскошными обедами у Дюссо, с одним из них охотится, играет в карты с другим. Щедрин удерживает своих сотрудников от неосторожных выходов и даже сам берет на себя отчасти обязанности цензора, — редактируя журнал "не только с точки зрения идейно-художественной, но и цензурной". Случается, издатели "Отечественных записок" идут и на более прискорбные компромиссы. "Наблюдающий" за журналом Д. Толстой регулярно рекомендует Некрасову романы и повести своих светских знакомых и они — увы! — находят себе иной раз место на страницах лучшего русского журнала.

Нельзя не пожалеть обо всем этом. Странно было бы хвалить за это Салтыкова и Некрасова, — такие поступки не вызывают сочувствия потомства, даже если они оправданы тактическими соображениями и совершаются в крайних обстоятельствах. Но безглаголиво осудить их можно лишь если взглянуть на них отчужденно, со стороны, вставши на точку зрения абстрактного морализма, гордого своим неучастием в "грязной" действительности. Быть может им надо было быть все же чуть (!) менее "гибкими", чуть (!) более непреклонными? Но кто посмеет (!) — (выделено всюду мной — Ф. С.) сейчас решать это за них? Для этого надо было по меньшей мере жить в одно время с ними. Главное, что они (!) трезво и сурово смотрели на себя, без самообольщения оценивали свою деятельность, но знали, чего они хотят, на что надеются, и верили в будущее. Оттого за бегом времени, уже из следующего столетия все растут и очищаются в своем значении яркие и сильные, лишенные всякой двусмысленности фигуры этих людей, хлопотавших не о своем успехе, рыцарски любивших литературу, отдавших

себя служению родному народу. Их надо извинить условиями, говорить об "эпохе", искажившей характер их деятельности. Если такие оправдания не годятся для Сеньковского, то для Некрасова и Щедрина они просто унижительны".

Автор рассуждения В. Лакшин не однажды к этой мысли возвращался, так или иначе, с разных сторон подступая к ней. Порой казалось, эта идея стала прямо навязчивой, так упорно, из статьи в статью муслировалась мысль о праве на компромисс, примерялись мундиры "Отечественных записок" и "Современника", ассоциации становились все более близкими, а смакование форм компромисса изображалось чуть ли не сладострастно (обеда у Дюссо). Что это — всего лишь попытка оправдаться и оправдать самого себя, аргумент в споре, намеренное вынесение на люди дискуссии, становившейся в нашей общественной жизни все более острой? Не знаю, только мне все труднее и тягостнее становилось читать эти длинные статьи, все сложнее понимать и принимать раскачивание на диалектических качелях. Пока наконец не пришла в голову простая мысль о невозможности оправдать какую бы то ни было самую малейшую ложь какой бы то ни было самой высокой правдой. К тому же, одно дело, когда речь идет действительно о литературной борьбе, о х о д е, выбираемом в ее пылу и азарте, о том, что потом будет мучить и ощущаться отступничеством и причиной конечного поражения. Но так академически бесстрастно планировать право на компромисс, но вертеться перед зеркалом в чужом мундире, не задавшись вопросом, уж коль ты так трезв и живешь в "грязной" действительности — к чему привели эти компромиссы? Что напечатали Некрасов и Щедрин после обедов у Дюссо, проигрывая цензорам в карты и отдавая журнальные страницы бездарным сочинениям их родственников? Это, если принять логику Лакшина и вступить на путь торгашеский — сколько получил? Стоили ли чего-то еще десять журнальных

номеров, что бы в них ни напечатали, если страницы их были в жирных пятнах соусов от Дюссо?

Да, всякое чисто нравственное требование предполагает нравственное совершенство или, по крайней мере, к нему стремление. Всякое в этом ограничение, принципиальное допущение, писал об этом Вл. Соловьев, противоречит природе нравственной заповеди, подрывает ее достоинство и значение: "кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравственную почву". Надо было быть нравственно глухим или не хотеть слышать, чтобы не знать этой элементарной нравственной азбуки. Или голова кружилась перед зеркалом и все, что писалось, было лишь холодной игрой ума, к обстоятельствам жизни — внешним ли, внутренним — отношения не имевшей?

В какой-то момент выработка отношения к этой проблеме стала главным для меня в собственной работе: сделать все возможное, чтоб донести эту элементарную мысль до читателя. Но одно дело, когда я писал об этом и пытался такого рода рассуждения напечатать в "Литературной газете" или в "Вопросах литературы", где имел дело с редактором, заранее думавшим противоположно, когда я (не один, разумеется) выбирал момент и, втавив редактора в дискуссию, подставлялся, чтобы, доставив начальству удовольствие "заклеймить" меня, успеть высказаться.

В "Литературной газете" и в "Вопросах литературы", воспользовавшись дискуссионностью, я сумел написать и о злоключениях щедринского ретивого начальника, пытавшегося управлять, руководствуясь старинным правилом: "Стараться как можно больше вреда делать, а уж из него само собой впоследствии польза произойдет", и защитить Солженицына от обвинения в якобы абстрактной постановке вопроса все о той же пользе дела в рассказе с тем же названием — о безнравственности всякого утверждения возможности

достичь пользы путем вреда: "Хотя бы самой большой пользы, хотя бы путем самого маленького вреда!" И о том, что, как правило, рассуждая о лжи и правде, о соотношении между ними, у нас не отдают себе отчета в том, что это имеет непосредственное отношение к нашей собственной жизни; привыкши, что слова сами по себе ничего не значат, забывают — ложь, даже самая маленькая и невинная, в результате которой сегодня не произойдет никакого крушения поезда, непременно приведет к крушению элементарных представлений о том, как человеку следует жить, повлечет за собой, в конечном счете, крушение судьбы человека. Что недоверие к правде, убежденность, что если она и нужна, то лишь в определенных, твердо установленных пределах, легкомысленное и безответственное отношение ко лжи так глубоко вошли в наше сознание, что оно всякий раз оказывается несостоятельным, сталкиваясь с необходимостью бороться с различными проявлениями неправды или пытаюсь серьезно размышлять о необходимости правды и безусловном вреде лжи. Что такого рода разговор вызывает у нашей интеллигенции только раздражение: "Сегодня, мол, ваша правда способна принести какую-нибудь пользу, то бишь — выгоду? Нет? О чем тогда разговор! А нравственными потерями нас не запугать, цена им — грош, интеллигентские разговорчики!.." Что невозможно убедить человека интеллигентного, казалось бы, все понимающего и совестливого, что ложь, даже самая маленькая, не может не обернуться скверно и для того, кто врет, и для того, кому врут, что она противоречит естественному состоянию человека — ничем не поверит! Даже если согласится с вами на словах — не поверит и при первой представившейся возможности снова соврет, просто так, по привычке, по въевшейся убежденности, что иначе нельзя. Даже о том, что, как известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, а потому пора бы уже нашей интеллигенции перекреститься — вот-вот грянет гром. Маленькое, незаметное, совсем невинное,

никому не причиняющее неприятностей вранье складывается, скапливается, вырастает в ложь, калечащую жизнь человека. И далее с отчаянным ригоризмом — о всеобщей теории вранья "пур ле жанс", о правде, на которую с корыстным лицемерием или бессознательным легкомыслием, утверждая "целесообразность" этого, надевают узду, точно устанавливая ее допустимые пределы; что такая "правда" лишает человека всякой возможности понимать, отучает от потребности думать, наконец, просто повергает его в отчаяние от сознания невозможности разобраться в жизни и в ней как-то участвовать. О безответственности самих манипуляций с правдой, о тупой убежденности в праве самостоятельно укорачивать или удлинять уздечку, устанавливающую ее допустимые пределы. И взывая к разуму и трезвости, быть может, и не слишком последовательно: те, кто бесконечно толкуют о целесообразности и пользе делу, с которых якобы и должен начинаться любой разговор, кто ни в грош не ставит нравственные ценности — проявляют прежде всего поразительное легкомыслие и бесхозяйственность, не отдают себе отчета в том, какие неизмеримые потери, вполне материальные, которые могут быть учтены в рублях и копейках, несет пренебрежение моральной стороной вопроса. И наконец о том, что попытка врать в литературе, независимо от того, бессознательна она или вполне искренняя, неминуемо приводит к художественной несостоятельности — искусство не прощает неправды.

Я прошу извинения за столь подробное самоцитирование, но любопытно, что мне все это удалось напечатать, иллюстрируя справедливость ставшей навязчивой мысли материалом текущей литературы, дающей огромные возможности для рассуждения о несостоятельности личной и общественной нравственности советского человека. Смешно, конечно, что большая статья на эту тему, написанная для "Нового мира", была им отвергнута, и я напечатал ее полностью, разрезав на куски, в разных журналах и газетах.

Впрочем, интересен здесь никак не факт моего упорства в публикации мною же сочиненного, а то, что конфликт с "Новым миром", людьми мне близкими все больше обострялся, пока не прояснился окончательно. Все было очень просто: мне казалось, я пишу о себе и обо всех нас, разговор о правде, лжи или, скажем, о безнравственности убийства — это разговор, правоту которого нам предстоит доказать собственной судьбой, а неожиданно столкнулся с тем, что это воспринимается очередным рассуждением, всего лишь л и т е р а т у р о й; выяснение истины — только игральная карта в какой-то своей, высшей или низменной, но игре — что это не жизнь.

Я помню, какое недоумение вызвала у моих давних приятелей в журнале моя последняя статья в жанре критики: о положительном герое — "Жил на свете рыцарь бедный..." (так и не напечатанная), о князе Мышкине и о проблемах вокруг. Цитация размышлений Константина Левина: "Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствия — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий"; утверждение безнравственности "гуманной" рационалистичности, для которой добро прежде всего определенная хозяйственная выгода: "Но ведь добро не товар, которым можно манипулировать в зависимости от рыночной конъюнктуры!"; о том, что, скажем, князь Лев Николаевич Мышкин просто не может в игре участвовать — он другой человек и т.д. и т.п. Я почувствовал, что был попросту бестактен, принеся эту статью в наш самый прогрессивный журнал, высказав идеальные соображения о невозможности какого бы то ни было участия в какой бы то ни было игре. Мне об этом сказали достаточно прямо, вспомнив еще раз о несчастном Некрасове и его обедах для цензоров. Я понял действительную нелепость попытки напечатать такую статью в этом журнале.

В 1968 году, спустя месяц после вступления наших танков в Прагу, В. Лакшин напечатал долгою, как всегда

у него, статью о революционной трилогии в театре "Современник" — "Посев и жатва" ("Декабристы", "Народовольцы", "Большевики").

"Старый закон Ньютона гласит: действие равно противодействию... Это верно и для нравственной жизни, отношений людей, обстоятельств социальной борьбы. Пока бездействуешь и мечтаешь, обдумываешь свой идеал — ничто не может помешать тебе. Смело реформируя этот несовершенный мир в чистых грезах, ты незапятнан, целен и можешь гордиться собой. Но как только от мечтаний и теорий, сладких снов души, благородный мыслитель спускается в практику, его окружают со всех сторон миллионы не учтенных им прежде условий и обстоятельств; каждый шаг дается ему с трудом, он встречает противодействие, отвечающее действию, — и вынужден считаться с этим. Тогда он уже не пробует идти напролом, выбирает тактику, идет на компромиссы, жертвует менее важным ради более важного. С недоумением и отвращением начинает он замечать, что к нему липнет грязь жизни, желанное не идет в руки само, а история выставляет за достижение идеала такую цену, о которой еще надо подумать.

Нравственный максимализм слишком часто бьет в таких случаях отбой и, чтобы сохранить свою незапятнанность и цельность, спешит вернуться к себе в чистую обитель. В какой-то миг истории это противоречие идеала и практики может показаться фатально неразрешимым. Но кто сказал, что люди обречены выбирать между аполитичной нравственностью и безнравственной политикой? Если человек высоких гражданских убеждений пришел к мысли о необходимости общественного действия, он неизбежно вступает в политическую борьбу со всеми ее требованиями. Личный нравственный ригоризм, любые попытки переменить жизнь проповедью индивидуального самосовершенствования доказали в ходе истории свое бессилие. Но политика, освободившая себя от нравствен-

ности, поставившая своим девизом *Маккиавеллиево* правило: "цель оправдывает средства", — такая политика неизбежно губит самое себя, извращает свои цели и рано или поздно приходит к краху.

Долгий исторический опыт, включая сюда и опыт декабристского движения, внятно свидетельствует, что политика и нравственность не должны и не могут быть противопоставлены друг другу..."

Поразительное рассуждение самого заметного новоязского критика в статье значительно более программной, чем цитированная мною прежде. Я не говорю сейчас о ее логической непоследовательности, ловкой неожиданности завершающего пассажа, делающего бессмысленной всю эту тираду, — быть может это гримасы подцензурности. Перед нами снова и снова варьяция все той же преследующей автора мысли. Но почему все-таки старый физический закон должен стать мерилom верности закона нравственного? За что так презрительно похлопывается по плечу благородный мыслитель и дело его жизни рядом с тем, кто "спускается в практику" и "идет на компромисс"? О ком речь — о Толстом (если почесть его идеальным благородным мыслителем, к тому же любимом герое Лакшина) и Нечаеве (если полагать его идеальной практической фигурой, в которой до логического конца может быть прослежена идея целесообразности), — но стоит еще поспорить, чей путь предпочтительнее. А если попытаться раскрыть смысл завершающей фразы, в которой политика и нравственность так ловко примиряются (хотя только что друг другу противопоставлялись) — значит "благородный мыслитель" "в долгом историческом опыте" уже не выбирает тактики и грязь не пристает к его рукам, или он как-то иначе сторговался с практикой — какая же цена ему подошла?

Я читал эту статью дальше, отмахиваясь от привычных, раздражающих сегодня, а прежде радовавших аллюзий

о безнравственности Пестеля, замыслившего убийство всей царской семьи ("тринадцать человек, пересчитанных по пальцам, в том числе детей, повинных лишь в том, что они родились в дворцовых покоях"); об опасности проявлений честолюбивых склонностей в узком, замкнутом, профессиональном кругу со строгой централизацией; о том, как легко объединяются люди зла, ибо их цели просты, и о том, как это не просто у людей добра и т. д. и т. п. — всю эту виртуозную болтовню подцензурного покусывания: расхваливание заведомо обреченного успеху спектакля — и ничего не понимал.

Я стал понимать еще меньше, когда от "Декабристов" автор перешел к анализу второго спектакля — "Народовольцы", все так же ловко жонглируя сопоставлениями и щекочущими нервишки рассуждениями о спорах Плеханова с народовольцами об "иронии истории", о предстоящей им необходимости вводить социализм "теми же привычными для них методами террора"; о том, какими диктаторами и узурпаторами становились в пору Великой Французской революции незаурядные исторические деятели и т. п. И наконец, дочитал до третьей части — до "Большевиков".

Был 1968 год, наша жизнь докатилась до полной ясности, и я вспоминаю тяжкий разговор об этом спектакле "Современника" сразу же после того, как мы его посмотрели. Разговор между людьми близкими, занимающимися общим делом, который я полагал всего лишь застольным и не мог бы предположить его продолженности на журнальных страницах.

"Современник" — организм бесспорно любопытный, продукт времени, имеющий точное соответствие в поэзии и прозе того времени, характерное для нашего искусства поры оттаивания сочетание освободившейся энергии, таланта, честолюбия и — безнравственности. Таков — Евтушенко, готовый к любым поворотам и объективно сделавший немало для приобщения людей к поэзии, возбуждения интереса к общественной мысли — до

какого-то предела, разумеется, после чего пошла откровенная спекуляция, к сожалению, способная еще кому-то морочить голову. То же самое — "Современник". Театр этот никогда не имел отношения к подлинному искусству, был блистательной самодеятельностью, в которой милые и лихие актеры, не столько глубокие, сколько нахальные и чутко воспринимавшие атмосферу времени, ловко эксплуатировали ореол оппозиционного, "революционного" театра, спустя несколько лет получили звания и необходимые возможности для весьма пристойного существования. Странное впечатление производит этот безумно смелый театр задолго до "вешалки": билеты спрашивают в метро, толпа разгоряченных молодых людей давится у входа, а вдоль стены театра — одна, вторая, третья, четвертая, пятая машины гонимых актеров. Grimасы соцреализма, все та же диалектическая эквилибристика: что лучше — закрыть театр или, предав себя однажды, потом дважды выйти на сцену, чтобы из-под руки шепнуть что-то вострое благодарно воспринимающей тебя аудитории? Убить старуху-процентщицу, вошь, а затем облагодетельствовать сестру, мать и все человечество!

Был 1968 год, в Чехословакии начиналась весна, Синявский и Гинзбург отбывали лагерный срок, по рукам в Самиздате ходили романы Солженицына и Марченко о том, что сегодня происходит в наших тюрьмах и лагерях, через две улицы — Лубянка. Я уходил со спектакля, продираясь сквозь радостно-возбужденную толпу, слушал шепот: спектакль вот-вот закроют за остроту, прошел мимо автомобилей, купленных смельчаками-актерами за деньги, полученные от государства за их смелость, минус партийные взносы, внесенные ими в свою парткассу. У меня еще горели щеки от только что пережитого унижения, когда меня подняли в финале спектакля: актеры, жалко согнувшись, воровским шепотом, с подмигиванием и переглядыванием пели "Интернационал", а зал, неловко оборачиваясь и

смущаясь, подтягивал — тихо или погромче, или только открывая рот, чтоб соблюсти видимость лояльности.

Потом был тяжкий, ужасно неприятный разговор, как бывает, когда начинаешь с ноты, понятной только тебе и собеседнику, выработанной годами дружбы, когда понятны даже не слова, интонация, аргументы не нужны — все и так ясно, давно решено, но внезапно оказывается, все не только не решено — давно пошло в разные стороны и следует разобраться, от одного ли перекрестка мы когда-то двинулись в разные стороны.

...Я видел перед собой перепуганных семинаристов, обманом и наглостью захвативших в свои руки власть в огромной стране, возомнивших себя ворами в законе. Они жалко, как гимназисты, хихикали, дожидаясь явления па хана, а потом, когда его раненого пронесли в соседнюю комнату, оказавшись перед необходимостью решать что-то самостоятельно, вконец напуганные возможным возмездием, все так же трусливо и единодушно, перебрав все варианты последствий, проголосовали за красный террор, поживаясь и гримасничая в соответствии с придуманным характером каждого.

Здесь все было изначальной ложью: и состав этого сборища (Троцкого нет — в командировке, Сталина нет — заболел; актер, игравший Бухарина, в последний момент назван Загурским), в котором были сглажены и приведены в соответствие все "углы", и текст ленинских телеграмм того времени — фон спектакля (были и другие телеграммы, которых не могли не знать автор и режиссер: "Навести тотчас массовый террор", "расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров", "Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных...").

"Да, революция — жестокая вещь и революционеру приходится идти через кровь. Но где та черта, через которую нельзя переступить, не замарав саму идею высокого дела?" — риторически спрашивал Лакшин,

рассуждая о декабристах, упиваясь остротой рассуждения и думать позабыв о том, что это не декабристы шли через кровь — они никого не успели тронуть, а те, о которых он написал с таким восторгом и придыханием. И не Пестеля следовало обвинять в замысливании убийства царской семьи — Пестеля повесили, он никого не убил — а героев последнего спектакля, трусливо убивших в Екатеринбурге всю семью — с детьми, поваром и гувернером, умыв руки незнанием совершившегося. Лакшин с умилением и симпатией писал о героях спектакля, которые вот сейчас, на наших глазах проголосовали за красный террор: "они ведут себя как живые люди" (!), они рассказывают анекдоты, они друг над другом подтрунивают — "легко, беззлобно, дружески". Ах, как сочувствует им Лакшин! "Они поднимают руку, — торжественно пишет он, — беря на себя личную ответственность, без торопливости и легкой готовности, выполняя трудный долг революционера", сострадав тем, кто голосует за убийство. Критик забывает, что вот сейчас, не задумываясь, как вошь или таракана, они безо всякого суда решают судьбу Каплан, совершившую политическое покушение, как и они — члена своей партии. Они и думать позабыли про казненного за то же — но по суду — Ульянова, о том, что в предыдущих спектаклях речь шла о 1 марта и 14 декабря. Диалектическая эквилибристика сделала немислимой для них существование единственно возможной логики, хотя они и станут лицемерно распускать благолепные легенды о том, как по личному ленинскому указанию Каплан будто бы спасли, чуть ли не освободили, что она работала многие годы в библиотеке в Бутырках; скроют факт постыдного и зверского убийства Каплан, и только спустя тридцать пять лет мы узнаем от исполнителя — коменданта Кремля Малькова, как он сам, по распоряжению Свердлова, ночью в Кремле застрелил ее, а потом вместе с Демьяном Бедным, вышедшим из поэтического любопытства узнать, что за шум (Мальков завел машину, чтобы не было

слышно выстрела), оттащили ее тело в Александровский сад и там сожгли в бочке с бензином (Мальков и тут не позволил себе никакой самостоятельности, а только буквально исполнил распоряжение того же Свердлова: "Не поганить землю").

Но "Современнику" и автору статьи в "Новом мире" нет дела до фактов. Их пафос в другом, они варят собственный суп из опыта истории, свидетельствующего об изначальном бесстыдстве, в котором было заложено все дальнейшее, не пытаясь уже там понять причину того, что ударило их самих значительно позже.

Им нет дела до этого. Героев спектакля, по слову критика, заставляет так долго и страстно взвешивать все возможные последствия неизбежного решения о красном терроре всего лишь предчувствие, что они сами сложат голову на ими же построенной плахе, что придет "всякая нечисть" с партийным билетом в кармане — "наши уездные Дантоны и Робеспьеры" — а потому вот сейчас они решают свою личную судьбу прежде всего.

Здесь не было открытия в решении темы или в ее кастовом понимании, в 1967—68 годах было даже модным поднимать до намёка на то, что всякая нечисть использовала сталинское узурпаторство для сведения счетов и организации собственной судьбы. Но ведь речь идет не просто о разрешенном свободомыслии, но о том, что его исповедовал "Современник" — собрание друзей-приятелей, выразивших в своем творчестве идеи и пафос времени; "Новый мир" в лице одного из его редакторов и идеологов... И вот они ("Новый мир" и "Современник") льют слезы вокруг дальнейшей биографии неучей и честолюбцев, играющих судьбами и жизнью людей, позабыв о том, что на деле значил красный террор (хотя бы только расстрелы сотен, а по всей стране тысяч заложников в ответ на покушение на вождя всемирного пролетариата), забыв об Иване Денисовиче — ему-то почему пришлось отвечать за "иронию истории" и

несоответствие личной и общественной нравственности этих горе-революционеров?!

Я не услышал ответа, пытаюсь выяснить истину в долгом споре сразу же после спектакля. Но статья Лакшина ответила на многое — вот во что вылились профессорские рассуждения о грехопадении Некрасова и Щедрина, обеда с цензорами у Дюссо и примеривание чужих мундиров. И я понял, что ничего не стоят слова, не подтверждаемые собственной жизнью и судьбой, что всякий компромисс безнравственен, а спекуляция на разрешаемой цензурой остроте, за которую государство к тому же платит деньги, становится в какой-то момент омерзительной. Я понял, что противоречивые и мутные рассуждения, путаница и подмена не случайны, чаще всего не сводятся к литературной несостоятельности и мировоззренческой незрелости, но характерны для времени, а вернее, для тех, кто готов его использовать; как безответственны те, кто полагает литературу игрой и средством. Как "Интернационал" в финале спектакля "Современника" — художественная бестактность, провоцирующая вовлечение зрителя в свою недостойную игру.

Следует быть справедливым до конца: в 1968 году я был уже подготовлен к такому прочтению новомирских статей и восприятию трилогии в "Современнике". Правда, никому и не взбрынялось идти выбранным мною путем.

ЛИТСУДЫ

В один из ясных осенних дней 1965 года на каком-то из московских бульваров, засыпанном шуршащими под ногами листьями, случайно встретившийся приятель рассказал, что арестованы Синявский и Даниэль, их обвиняют в том, что они печатались за границей под чужими именами.

Я был знаком, но никогда не разговаривал с Синявским, не видел Даниэля. В самой возможности существования столь неожиданного пути была озадачивающая привлекательность. Хотя первое ощущение скорее иное: очень тесно чувствовал я в ту пору связь со всем, что происходило вокруг, чтоб мог представить себе какую бы то ни было жизнь вне ежедневных и столь увлекавших меня интересов, живого процесса, откликавшегося на всякий поворот мысли. Было трудно вообразить возможность второй, но самой главной работы где-то вне этой жизни, передачу рукописей на Запад, их публикацию, а там уже своя, неведомая жизнь книги, без видимой надежды проникнуть обратно... Во имя чего? Честолюбие, потребность творчества, осознанный путь сопротивления или всего лишь легкомыслие?

Ответы могли быть разными, в ту пору я не знал этих людей, их книг, не был способен предугадать, что в связи с этим последует. Неожиданность проявления людей, существовавших рядом, ходивших теми же дорогами, изумила различием. Нужно было сначала привыкнуть к этой мысли, чтобы понять противоестественность запрета печатать книги там, где автор хочет, преследования

изготовления рукописи. Этой простой мысли следовало прорасти, чтобы усвоиться не умозрительно, а сердцем.

Я помню, как впервые увидел Синявского (больше я его не видал, только мельком). Был банкет по случаю выхода пятисотого номера журнала "Новый мир". Апофеоз нашего либерализма. Хотя "Новый мир" никогда не считал себя органом либеральным, его редакторы с презрением относились к либералам — преуспевающим и поощряемым начальством, легко зарабатывающим свои деньги, не залезая при этом в чужой карман. Можно предложить такое определение либерала, как у нас его понимают: милый порядочный человек, с ним не зазорно встретиться, поболтать, выпить; с ним можно говорить на любую, самую острую тему, хотя порой замечаешь легкое смущение в глазах и чисто светское нетерпеливое желание поскорей перейти к выпивке или всегда приятному разговору о женщинах; он не только благополучен, он живет, по нашим меркам, роскошно, виртуозно извлекая из государственного бесхозяйствования, неумения считать все, что он хочет. В чем его либерализм? — во внешнем лоске, хороших манерах, некоей эрудиции (что производит впечатление рядом с откровенным невежеством и тупостью администрации и ее художественного окружения), в четком (кожей!) понимании, что сегодня позволено, и в связи с этим в способности балансировать на краю; в умении пощекотать нервишки разрешенной остротой. И при всем этом — люди широкие, талантливые, добрые (если доброта не способна пошатнуть их благополучия, завоеванного не так просто).

Новый мир презирал либералов, предлагая собственный вариант либерализма: истовость обличения недостатков и прорех во имя их исправления и залатывания — без осторожности, самозабвенно и безоглядно. Либералы никогда не вступали в серьезный конфликт с начальством, их смелость была не просто разрешенной,

но утвержденной в инстанциях, вчерашней. Новый мир в своей смелости бывал безрассуден — подсказывал начальству предстоящий шаг, делая вид, что верит в разум и трезвость руководства, всегда являя готовность доказать искренность намерений, устремленность во благо, верность знамени и чистоте принципов.

Это было занятное сборище в ресторане Дома журналистов: пятьсот книжек журнала легли на читательские полки — целая библиотека, в последние десять лет каждый номер действительно ждали с нетерпением и надеждой, и как бы ни был узок круг читателей журнала в масштабе огромной страны, он был достаточно обширен, хотя, как уже говорилось в предыдущей главе, в силу неестественности самого существования единственного журнала, пытающегося свободно мыслить, он не мог объединить вокруг себя всех, отсюда обиды и ссоры, проявления редакторской узости и вкусовщина. И тем не менее, сборище было именно разнообразным, мысль о либерализме, достаточно широком, объединяющем людей с весьма большой амплитудой колебания в степени радикализма и лояльности, легко подтверждается именами гостей, которых в тот вечер собрал Новый мир: Домбровский и Федин, Евтушенко и Тендряков, Карякин и Некрасов. В жизни журнала была своя логика — инерция собственного существования, авторы не всегда иллюстрировали идеи редакторов журнала, иногда всего лишь получали возможность публиковаться. В этом, пожалуй, главное, что сделал Новый мир, можно спорить и сетовать на непоследовательность и путаницу в теоретических выкладках идеологов журнала, стремление примирить непримиримое, а в конце концов проигравших из-за непонимания несостоятельности всякой игры, обреченности ее идеи, но факт тем не менее налицо: из года в год, в течение десяти-пятнадцати лет, из номера в номер Новый мир печатал и вводил в литературу людей одаренных, талантливых, искренних, хотя, как уже говорилось, все в них было различно и по-всякому

(мотивы, опыт, мироощущение). Может, поэтому странновато было видеть их всех вместе за одним столом.

Синявский сидел прямо против меня через стол. Молчал, не пил. И мне запомнился тихой любознательностью, чуть снисходительной улыбкой.

А вокруг гуляли: водка лилась щедро, в разных концах зала вспыхивали ссоры — всегда приятно, захмелев, под хорошую закуску сказать ближнему правду о нем — дешевое самоутверждение за счет другого.

Но все было красиво, значительно — именно так, как и задумывалось — со спокойными, усталыми от сознания важности сделанного речами и тостами, обильным питьем и закуской, даже ссоры можно было бы планировать, они свидетельствовали о разности вкусов, темперамента — об отсутствии всякого конформизма! И что говорить — приятно увидеть одновременно столько милых, хороших, талантливых людей, разных и непохожих, но нашедших все-таки общую площадку для совместного проявления!

А один из присутствующих выбрал иной, свой собственный путь, несомненно отдавая себе отчет в том, что он неминуемо должен закончиться провалом. Но я запомнил поразившие и заставившие задуматься слова близкого мне человека, сразу после ареста Синявского и Даниэля: "Представляешь, как они были счастливы? Они писали, что хотели, читали рукописи друзьям, а потом получали их в виде книг — у них был даже свой читатель!.."

Я не собираюсь писать о Синявском и Даниэле, тем более, не знаю их, об их процессе и обо всем, с ним связанном — этому посвящена Белая книга Александра Гинзбурга, дающая исчерпывающий материал исследователю нашей общественной жизни, началу того, что называют Демократическим движением. Но в моей судьбе было очень серьезно появление Синявского и Даниэля — впервые у нас практически осуществивших естественное право человека на свободу слова, право писателя писать и публиковать свои книги.

Следовало сразу же выработать четкое отношение к случившемуся, пестрота и путаница, незрелость мысли и полное ее отсутствие — превосходная питательная среда и почва для разобщенности; с другой стороны — для привычных действий: исключить из Союза писателей, ошельмовать в газетах — антисоветские книги, связи с иностранцами, двурушничество (в "Новом мире" одно, а за границей другое). Появились статьи Кедринной и Еремина — лживые и бездоказательные, постановление секретариата СП, огирающееся на эти статьи, как факт общественного мнения; судебное разбирательство — имитация открытого процесса, куда еще пускали, но по строжайшим пропускам на одно заседание, не давая возможности проследить весь процесс; потом выпорхнули речи подсудимых, стенограмма процесса — первый на нашей памяти протокол политического процесса: обвиняемые не только не признавались и не калялись, даже не просто защищались, но объясняли свою точку зрения, право жить так, как они жили — всего лишь с позиции XX съезда партии, логически продолженной, обличали сталинизм, рецидивом которого по сути и был этот жалкий процесс.

Они получили свои пять и семь лет, но несостоятельность нашего правосудия стала очевидной для каждого чуть более внимательного читателя газет: как только судопроизводство отказалось от практики сталинских процессов и ведения следствия, как только людям дали возможность защищаться — и это при том, что до суда печатались гнусные статьи, процесс был по сути закрытым, адвокаты вели себя не лучшим образом, в ряде случаев прямо играя на руку обвинению... И тем не менее и вопреки этому — стоило отказаться от того, что происходило на Лубянке в тридцатые годы, как вся гнусность и фальшь сляпанного дела, лицемерие и демагогия официального общественного мнения стали очевидны. Можно ли было хоть как-то серьезно отнестись к писаниям Кедринной и Еремина, чей уже чисто литературный уровень

был очевиден, почему собственно следовало доверять их критическому вкусу, а не предпочесть им превосходного критика Синявского?

Логика и суть писем в защиту обвиняемых и обвиненных были естественным продолжением этой немудрящей мысли, живого опыта. История с Пастернаком научила многих: какое имел право секретариат СП что-то заявлять от имени сотен людей, не дав им предварительно хотя бы познакомиться с книгами обвиняемых? Почему следует верить Кедринной?.. и т.д. Письма родились из логики и устремлений всего лишь либеральных, их авторы, так же, как большая часть подписавших, существовали в инерции так называемого общественного подъема. Это не было демагогией, а только искренней попыткой объяснить и привлечь внимание, да и обращение к главам государства с разумными, трезвыми соображениями, следование которым несомненно способствовало бы прежде всего укреплению престижа власти внутри страны и за ее пределами, было совершенно лояльным. И подписывали эти письма, помнится, в казенном доме, во всяком случае, открыто, безо всякой тревоги и опасений, как некий либеральный адрес. Помнится, и письмо-то было не слишком удачным, стыдливым, а просьба взять "на поруки" сама по себе содержала признание вины осужденных. Но важно здесь, как впрочем и во всех других документах такого рода, не содержание, но сам факт существования организованного, практически оформившегося иного мнения. Поэтому письма вызвали такую ярость и злобу, но понадобился все-таки год и еще один судебный процесс, чтобы эта злоба в свою очередь оформилась в конкретные акции и решения.

Процесс такой одновременной кристаллизации очень характерен для времени, он продолжается по сей день — выпадение отдельных кристаллов и их просеивание. Прошла пора либерального братания, громких тостов и эстрадной декламации. Судьба Синявского и Даниэля

помогла определить размежевание, потом оно пошло глубже, а с другой стороны подступило ближе. Но тогда это началось.

Я помню встречу с судьей Смирновым — председателем Верховного суда республики, председательствовавшим на процессе Синявского и Даниэля, в большом, заполненном людьми зале в Доме литераторов. При всем своем опыте он не был в состоянии хоть чем-то подкупить и завоевать аудиторию: он рассказывал о судебном заседании, читал отрывки из речей и книг осужденных, был убежден, что ведет аудиторию за собой. Но уже совершенно осязаемой стала вся глубина расхождения, которую никогда не будет возможности перейти. То есть, чтобы быть более точным: я все еще пытался тогда по-прежнему понять другую точку зрения, не то чтобы веря в ее искренность, но предполагая хотя бы трезвую, а не просто разбойничью логику. Но это были последние крохи надежды и я выскребал их со дна души — больше там ничего не оставалось. Мы были людьми с разных планет, а потому не в состоянии понять друг друга: справедливость, истина, нравственность — недаром обзываются у нас бранным словом — "абстрактные"; справедливо, истинно или нравственно — только то, что способно быть полезным начальству, все прочее — от лукавого... Итог встречи с крупным судебским чиновником был для меня достаточно поучительным.

И все-таки, пожалуй, самым характерным для атмосферы времени были в ту пору не такого рода окончательные прозрения или размежевание, даже не кристаллизация, а ощущение подъема, столь новое осознание возможности что-то делать, право на собственное мнение, которое можно защищать, отстаивать, опираясь на новые, более совершенные или подлатанные, но вполне официальные решения. Мы так втянулись в либерально-демагогическую болтовню, что казалось, есть и реальные возможности требовать осуществления того, что декларируется: тебе обещали право собраний — кто может помешать выйти

на площадь Пушкина с плакатами и требованиями, бичующими несправедливость?.. Отсюда многочисленные петиции с требованиями общих и конкретных свобод, протесты против исключений и осуждений, требования свободы слова, отмены цензуры и т.п. Отсюда наивность детских приемов легальности: обросший бородой мальчик телеграфно извещал о своем отрицательном отношении к очередной несправедливости, предупреждал о следующем своем революционном шаге и сообщал собственный адрес и телефон! Возможным это было лишь потому, что сотрясатели основ клялись в собственной лояльности, защищали Ленина от сталинских извращений, линию XX съезда партии от ее искажителей. Отсюда апелляции к партийному руководству, международным коммунистическим совещаниям и т.п. И обязательно адрес: я жду вас, обложившись ленинскими сочинениями.

У меня не возникало потребности вступать в дискуссию с правительством, имея в перспективе чему-то его научить или способствовать перемещениям в министерских креслах, я уже достаточно понимал, чтобы расстаться, наконец, с иллюзиями исправления или надеждами, что кто-то одумается и приведет в соответствие слово с делом. Просто возникла — я уже писал об этом — вера в себя, в собственные силы, иллюзией была такая понятная, простая человеческая надежда на то, что если очень желать добра и стараться делать для этого побольше, оно в конце концов непременно осуществится. А кроме того, простая невозможность жить и дальше по-рабы, по-рыбы, злорадно хихикая и шепча по углам.

Тоже была осень, 1966 год, конец сентября — позволили из Киева, напомнили: исполняется четверть века тому, что произошло в Бабьем Яру.

И мы поехали.

Сговорились, посчитали денежки, забрались в поезд.

Запомнилось ощущение для меня самое важное — не подробности того, что в тот раз произошло: мне даже удалось напечатать про это в "Новом мире" — и про сам юбилей, страшный пустырь, намытый на месте огромного оврага, за ним новая застройка — машины, городской транспорт; остаток оврага, головокружительно падавший вниз, за ним Днепр с новыми мостами... И не то, каким роскошным был этот день — 29 сентября, как сыпались желтые листья, как люди ходили кучками по пустырю, постепенно собираясь в толпу. И даже не то, о чем мне не удалось написать и напечатать в "Новом мире": еще недавно на этом пустыре намеревались соорудить стадион, но что-то помешало, опомнились; как все в этот день организовывалось: на стенах кладбища появились объявления на трех языках (русском, украинском, еврейском), как с разных сторон подходили и подходили люди, собираясь к пяти часам, толпа густела — седые головы, главным образом евреи, все чего-то ждали и кто-то наконец не выдержал: "Чего мы ждем? Мы знаем кто мы такие и зачем пришли!.." И тогда возник Вика Некрасов — он говорил просто: и о том, что такое Бабий Яр, и что такое антисемитизм. А толпа гудела: "Почему он так тихо говорит? Кто он такой? Кто такой этот Некрасов? А где Евтушенко? Он бы им сказал..." Потом на пенек поднялся неизвестный мне мальчик и закричал: "Товарищи евреи!.." К тому времени стало темно, толпа поредела, с разных сторон подъехали машины, с них посыпалась милиция, мы кинулись через ограду — к шоссе, я не знаю почему... Но вспоминается и важно мне здесь совсем другое.

То, как утром, в потрясающе красивый день мы вышли в город, который не знали. О том, каким было небо, деревья, как красив был встретившийся нам в картинно-реквизитном пассаже на Крещатике Вика Некрасов в голубых плисовых штанах; как мы целый день бродили по городу и сколько было высоких и всяких других психологических и прочих переживаний, а

к назначенному часу мы оказались на шоссе, по которому двадцать пять лет назад шли все эти тысячи киевских евреев. Один из моих товарищей сказал: "Все дело в географии — мы тоже могли быть здесь двадцать пять лет назад..."

Мы шли посреди улицы, желтые листья как звезды сыпались под ноги, и такое было поразительное чувство — не один только стыд и позор, за который мы несем ответственность, но что-то мы к тому времени переступили, поняли, изменили в самих себе. В конце концов осознанная невозможность жить в предложенной, в том числе и внутренней, структуре, собственная победа над собой — необычайно важна. Пришла ясность, понимание, и я так любил моих друзей и так был ими счастлив...

Не нужно было становиться на колени и клясться в верности себе и собственному делу. Нам было под сорок — какие могут быть жесты. Но во мне всегда жила потребность и жажда такой близости и любви, порой казалось, я жив только ею. И мне посчастливилось. Может быть, если человек что-то очень сильно хочет и не жалеет себя, и если желания его не корыстны — почему б им не сбыться?

Я всегда был счастлив в друзьях. Это самое прекрасное, что было в моей жизни. Собственно, книга эта и родилась из потребности излить такое ощущение любви, а уже потом себя в ней понять до конца. Я очень лично перечитывал знаменитое место у Герцена о том, что Россия будущего существовала в его пору только в мальчиках, его ровесниках, разместившихся где-то между самодержавными ботфортами. У нас была другая пора, все было иным, да и долгая замороженность не могла стать оправданием такому застарелому инфантилизму. Но не любить, не гордиться, не быть счастливым оттого, что посчастливилось встретиться и открыться — тоже ведь я не мог, если это было правдой.

Мы уезжали из Киева поздно, последним ночным поездом, отчетливо помню шумные проводы, ощущение подъема, исполненного долга. Все это было чисто, безо

всяких посторонних суетливых соображений, в полном соответствии с логикой нашей жизни.

Но была там же, в Киеве, еще одна встреча — совсем другая. Славные люди, наши дороги где-то и раньше пересекались: общие разговоры, понимание с полуслова, один и тот же жаргон — как собаки обнюхивают друг друга — два-три вопроса, ответ — и все ясно! "Новый мир", Солженицын, Кафка, Сталин; общий юмор, одни и те же анекдоты — поверхностная интеллигентская близость, как общая национальность или родной язык на чужбине. Старый разговор и старая история об общности даже психического склада тех, кого называли в России интеллигентами, уже заложенной в генетическом коде: полуобразованность, поверхностность, непрямая оппозиционность, отсутствие практицизма, ничегонеделание, легкая возбудимость... Куда только ни рекрутировались люди из таких интеллигентов при всем приятном и милом, что есть в них!..

Что-то иное было в том, как приехали в Киев встретившиеся мне малознакомые полуприятеля. Что-то было другим — мероприятие? Нет, не так. Ощущение некой акции?.. Какой-то профессионализм уже в самом их приезде. Так Родион Раскольников когда-то пошел на пробу, позвонив у дверей Алены Ивановны — еще без топора, но с закладом.

Может, я ошибаюсь, накладываю позднейшие ощущения, сегодняшнее понимание явления, с которым в те дни столкнулся впервые, его еще не распознав.

Но твердо помню чувство, возникшее у меня той же осенью, но попозже, когда пришлось присутствовать или участвовать в небесполезном, быть может, даже серьезном мероприятии, поощряющем, впрочем, укоренение либеральных иллюзий.

...В квартиру входили люди, знакомые друг другу, но никогда все вместе не встречавшиеся. А того, по чьей инициативе собрались — не было. Хозяйка давала чай, но разговора не получалось: не то все нервничали, не то

раздражались нелепостью сбора. Один из присутствующих кипятился: "Это вообще неправильно, мы не должны знать друг друга, тем более собираться вместе, в одной квартире, видеть кто, куда и за кем..." — "Но позвольте! Как можем мы один другого не знать, если все равно знаем? Конспирация? Но в ней нет никакой нужды. Мы не дети..." — "Существуют профессиональные законы — если всерьез, давайте их соблюдать..." и т.п.

А инициатора не было. "Может, с ним что-то произошло — отняли, скажем, портфель..." И посыпались истории про такое: так было в Англии с кем-то, в России когда-то...

Наконец, звонок — вваливается, отдуваясь и вытирая лысину, плюхается в кресло, а кипятившийся на него: "Как вы могли, словно бы опытный человек?!" — "Оставьте ваши нравоучения при себе. Вы звонили, как обещали?.. Нет? Вот это возмутительно! Ни на кого нельзя положиться!" — "Сейчас позвоним, только едва ли по телефону..." — "Да что вы учите меня все время! Неужели нельзя придумать форму, в которой можно и по телефону изложить все что угодно? Соедините меня, я сам поговорю..." — "Пожалуйста, телефон, почему собственно я должен вас соединять?" — "Хорошо... Здравствуйте. Я могу попросить... Имя рек? Добрый вечер, вас беспокоит... Да, одним словом, мы с вами не знакомы... А, черт, ну возьмите же, наконец, трубку, объясните хоть что-нибудь, вы же знакомы! Нелепость какая-то..." — "Привет, это я. Да, да... Потом расскажу... Нет, ничего серьезного, то есть достаточно серьезно. Помнишь, мы были с тобой у твоих друзей... Ну, год, что ли, назад?.. Да нет, я имени его не помню... Где работает? Как в песне: "Он в цирк ходил на Старой площади..." Да нет, ну почему Сухуми?.. Какой питомник?.. В ЦК он работает. Да, да... Правильно. Дошло наконец. С ним нужно сейчас повидаться по делу... Да перестаньте вы мне на ногу давить — сами разговаривайте, если умеете лучше!.." — "Давно пора!..

Добрый вечер... Я опять по тому же делу, наш общий приятель никак не может внятно объяснить... Мы с вами вчера разговаривали... Да, да. Вы когда выходите со своей собачкой?.. Минут через сорок?.. По набережной, до угла — и обратно?.. Замечательно. Я неподалеку и с удовольствием к вам присоединюсь... Да. До встречи... Слышали?" — "Слышал. Совершенно гениально..."

Мы с товарищем хохотали безо всякого стеснения, не соблюдая приличий — не было сил удержаться, а когда разошлись, я вспомнил, на что это было смертельно похоже, и позвонил товарищу: "У тебя есть Достоевский?.. Серенькое издание? Открой том седьмой, страницу 407, глава "У наших".

"Собравшиеся на этот раз к Виргинскому гости (почти все мужчины) имели какой-то случайный и экстренный вид. Не было ни закуски, ни карт. Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдвинуты были два стола и покрыты большою скатертью, не совсем, впрочем, чистою, а на них кипели два самовара. Огромный поднос с двадцатью пятью стаканами и корзина с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, вроде как в благородных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и бело-брысая, существо молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды, и которой ужасно боялся сам Виргинский в домашнем быту. Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрепанная, в шерстяном не праздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми глазами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: "Видите, как я совсем ничего не боюсь". Прибывшая девица Виргинская, тоже

недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. Сам Виргинский в этот вечер был несколько нездоров, однакоже вышел посидеть в креслах за чайным столом. Все гости тоже сидели, и в этом чинном размещении на стульях вокруг стола предчувствовалось заседание. Видимо, все чего-то ждали, а в ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние речи. Когда появились Ставрогин и Верховенский, все вдруг затихло. Но позволю себе сделать некоторые пояснения для определенности.

Я думаю, что все эти господа действительно собрались тогда в приятной надежде услышать что-нибудь особенно любопытное, и собрались предуведомленные. Они представляли собой цвет самого яркого красного либерализма в нашем древнем городе и были весьма тщательно подобраны Виргинским для этого "заседания". Замечу еще, что некоторые из них (впрочем, очень немногие) прежде совсем не посещали его. Конечно, большинство гостей не имело ясного понятия, для чего их предуведомили. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмиссара, имеющего полномочия; эта идея как-то сразу укоренилась и, натурально, льстила. А между тем в этой собравшейся кучке граждан, под видом празднования именин, уже находились некоторые, которым были сделаны и определенные предложения. Петр Верховенский успел слепить у нас "пятерку", наподобие той, которая уже была заведена у него в Москве и еще, как оказалось, теперь в нашем уезде между офицерами. Говорят, тоже была одна у него и в X-ской губернии. Эти пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были, — так как теперь это не тайна, — во-первых,

Липутин, затем сам Виргинский, длинноухий Шигалев — брат 2-жи Виргинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко — странная личность, человек лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два еще прежде Лямшин приводил его к Степану Трофимовичу на вечера, где, впрочем, он особенного эффекта не произвел. В городе появлялся он временами, преимущественно, когда бывал без места, а служил по железным дорогам. Все эти пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплой верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией. Но, к сожалению, я должен признаться, что между ними даже и в то уже время начал обнаруживаться разлад. Дело в том, что они хоть и ждали еще с весны Петра Верховенского, возведенного им сперва Толкаченкою, а потом приехавшим Шигалевым; хоть и ждали от него чрезвычайных чудес, и хоть и пошли тотчас же все, без малейшей критики и по первому его зову, в кружок, но только что составили пятерку, все как бы тотчас же и обиделись, и именно, я полагаю, за быстроту своего согласия. Пошли они, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали потом, что они не посмели пойти; но все-таки Петр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего ничего не рассказывал; вообще третировал их с замечательною строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражало, и член Шигалев уже подбивал

остальных "потребовать отчета", но, разумеется, не теперь, у Виргинского, где собралось столько посторонних.

По поводу посторонних у меня тоже есть одна мысль, что вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Виргинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе, но той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один перед другим принимали разные осанки, что и придавало всему собранию весьма сбивчивый, даже отчасти романтический вид. Впрочем, тут были люди и вне всякого подозрения. Так, например, один служащий майор, близкий родственник Виргинского, совершенно невинный человек, которого и не приглашали, но который сам пришел к имениннику, так что никак нельзя было его не принять. Но именинник все-таки был спокоен, потому что майор "никак не мог донести"; ибо, несмотря на всю свою глупость, всю жизнь любил сновать по всем местам, где водятся крайние либералы; сам не сочувствовал, но послушать очень любил. Мало того, был даже компрометирован: случилось так, что через его руки, в молодости, прошли целые склады "Колокола" и прокламаций, и хоть он их даже развернуть боялся, но отказаться распространять их почел бы за совершенную подлость — и таковы иные русские люди даже и до сего дня. Остальные гости или представляли собой тип придавленного до желчи благородного самолюбия, или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости. То были два или три учителя, из которых один хромым, лет уже сорока пяти, преподаватель в гимназии, очень ядовитый и замечательно тщеславный человек, и два или три офицера. Из последних один очень молодой артиллерист, всего только на днях приехавший из одного учебного военного заведения, мальчик молчаливый и еще не успевший составить знакомства, вдруг очутился теперь у Виргинского с карандашом в руках и, почти не участвуя в разговоре, поминутно отмечал

что-то в своей записной книжке. Все это видели, но все почему-то старались делать вид, что не примечают. Был еще тут праздничношатающийся семинарист, который с Лямыным подсунул книгоноше мерзостные фотографии, крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивою манерою, с бессменно обличительною улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключенного в нем самом. Был, не знаю для чего, и сын нашего городского головы, тот самый скверный мальчишка, истаскавшийся не по летам и о котором я уже упоминал, рассказывая историю маленькой поручицы. Этот весь вечер молчал. И, наконец, в заключение, один гимназист, очень горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, сидевший с мрачным видом оскорбленного в своем достоинстве молодого человека и видимо страдая за свои восемнадцать лет. Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе гимназии, что и обнаружилось, ко всеобщему удивлению, впоследствии. Я не упомянул о Шатове: он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряда свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался, и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришел по делу, а когда захочет, встанет и уйдет. Недалеко от него поместился и Кириллов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а, напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал все без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не выдавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама т-те Виргинская о существовавшей пятерке? Полагаю, что знала все, и именно от супруга. Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя задача; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским

городам, чтобы "принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту". Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возненавидел ее с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел ее в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква: она только что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу..."

Долгая цитата из каждому доступного источника. Но перечитать это место стоит в любом переиздании. Лучше не скажешь.

Памфлет, пародия, слишком остроумно, чтобы быть глубоким? Слишком прямо? Первые ассоциации, поверхностные сближения? Очень зло, чтоб быть правдивым? Или всего лишь гениальная проза, ухватившая суть явления, развалив его и открыв миру без шелухи и украшений...

Товарищ, прочитав, перезвонил мне, мы очень смеялись. Это и верно было смешно: такой же, только другой вариант девицы Виргинской, чай — только без самовара, свой молоденький артиллерист, мальй, истаскавшийся не по летам, а если не были, то могли присутствовать и наш вариант Шигалева и Лямшин. Мог бы зайти и Степан Трофимович, и даже Верховенский-младший, и Ставрогин... В тот раз, пожалуй, еще нет, но если подумать и разобраться... Другое дело, так ли это смешно и стоило ли смеяться над подобными совпадениями и похожими ситуациями, вспомнив годы 1921, 29-й, 37-й и все остальное. Сейчас это совсем не смешно, во всяком случае очень серьезно.

Следует с абсолютной трезвостью думать сегодня об этом, прошла пора интеллигентских эмоций, обошедшихся России и человечеству слишком дорого. В сознание

должно прочно войти и пустить корни, обжиться понимание естественности эволюции всякой революционности, а если речь о России — органичности завершения процесса интеллигентской трансформации — от Белинского через неотделимое от нечаевщины народовольчество, дальше и дальше — к гимназистам и студентам с маузерами на боку, игравшими судьбами людей с поразительным легкомыслием. Эволюция естественная, логичная, всего лишь последовательная — там, где разум трусливо виляет в сторону, находя придуманные лазейки для конструирования желаемого, жизнь вносит свои коррективы, исходя именно из логики жизни.

Но важно понять и другую точку зрения, значение и силу примера, лично пусть безрассудной отваги, пробуждение общественного интереса... Во имя чего? Здесь начинались бесконечные словопрения при полном отсутствии реального представления о желаемом. Но все-таки — об улучшении и восстановлении принципов? Очевидно, об этом, иначе зачем апеллировать к руководству и оставлять свои визитные карточки? Или это ловкий тактический ход, дипломатия и демагогия, легальный путь подрывания основ?.. Что ж, лучше рабье, рыбье молчание, традиционное согласие, а стало быть, молчаливое соучастие во всем на всех зигзагах принципиальной безнравственности?

Чисто эмоциональная реакция на происходящее имеет такое же право на существование, как и его по возможности спокойный и трезвый анализ. Вернее сказать, независимо от нашего к тому отношения существует и то и другое, дело темперамента отдавать одному из них предпочтение. Несомненно обаятельна, тем более после десятилетий трусливого молчания, немедленная реакция на несправедливость, не задумывающаяся о последствиях готовность подвергнуть собственную жизнь риску, репрессиям во имя общего блага. Но разве попытка понять, логика мысли и ее мужество менее прекрасны и одновременно менее редки у нас? А с другой стороны, разве

эмоциональная возбудимость, пусть благородная и самоотверженная, достаточная гарантия прочности в государстве, созданном с помощью эмоционально возбужденной толпы интеллигентных недоучек?

Чтобы все это сформулировать хотя бы в таком примитиве, следовало это прожить. А между тем атмосфера общественной несправедливости, хозяйственной бессмысленности, политической безнравственности, сопровождавшая нас всю нашу жизнь, в какой-то момент стала непереносимой. В насыщенный раствор бросают кристаллы и происходит перенасыщение, начинается кристаллизация. Не было сил иронизировать и вздыхать, не было сил жить и работать, смотреть в глаза собственным детям. К тому же не было милой возможности укрыться в неведении и незнании — приходилось отдавать себе отчет в соучастии.

Видимо, самая общая основа и начало того, что называют Демократическим движением, как раз в этом — в дошедшем до сердца перенасыщении и начавшейся кристаллизации, понимании совершившегося, расставившем все по своим местам, осознании немыслимости признавать в себе хоть что-то общее с узаконенностью произвола. Одно дело шептаться о преступлениях, оставляя за собой возможность не верить информаторам, подозревая преувеличение и личный интерес, другое — столкнуться с преданным гласности огромным списком преступлений. К тому же публичность самой информации на первых порах допускала возможность громко высказывать свою принципиальность, остаться лояльным, требуя осуществления провозглашенных принципов. Все равно это было благом — протест против несправедливости, защита слабого, обличение мерзости.

”Белая книга” Александра Гинзбурга (”Дело А. Синявского и Ю. Даниэля”), ее пафос был несомненно продиктован этим высоким стремлением. Нужно отдать составителю

должное, он выполнил работу журналистски великолепно, тщательно, самоотверженно — книга не могла не вызвать ярость начальства именно в силу того, что в ней не было криминала с точки зрения любого права и закона, всего лишь стремление к истине, воссоздание ее полной картины в документах, существующих реально и никак от составителя сборника не зависящих. Но разве организаторов процесса Синявского и Даниэля (как и других подобных процессов) интересовала когда-нибудь объективная картина происходящего?

Книга Гинзбурга была вершиной и своеобразно завершала процесс легальной оппозиционности — некое подведение итогов произошедшего в общественном сознании за годы после смерти Сталина. Поэтому дело Гинзбурга и стало наиболее шумным, вовлекло столько людей, заставило наше руководство, начальство, партийный аппарат, прежде всего, в свою очередь, сплотиться.

В конце концов надо понять и их. "А нас-то кто пожалеет?!" — сказала секретарь одного из московских районных комитетов партии во время бурного обсуждения персонального дела кого-то из подписантов. Не нужно, разумеется, ничего преувеличивать, но некое беспокойство идеологические чиновники ощутили: проявившееся организованное общественное мнение, возникшее так шумно и так непривычно, вовлекавшее все увеличивающееся количество людей, — настораживало, а легальность шумихи тоже имела свои неприятные стороны. Следовало перестраиваться и объединяться, иначе все начинало ползти под руками. К тому же, если письма в связи с процессом Синявского и Даниэля были вполне верноподданническими, их подписавшие просили всего лишь о том, чтобы осужденных разрешили взять на поруки, а сам факт передачи рукописей за границу вызывал нарекания, то в защиту Гинзбурга раздались гражданские голоса, требовавшие прекращения издевательства, нарушений прав человека и компрометации закона. Надо было ждать, что последует в следующей серии писем?

Я никогда не видел Гинзбурга, знал о нем со стороны, но проделанная им работа (создание Б е л о й к н и г и) сама по себе представлялась фактом необычайно важным. Это не было очередной просьбой или требованием: он просто собрал в се документы (их там несколько сот), имеющие отношение к процессу — от самых верноподданнейших (бездарных и пустых статей в нашей прессе) до листовки, подписанной "Сопrotивление". Письма нашей интеллигенции, письма из-за рубежа, телеграмма Индиры Ганди и т.п. Та самая п у б л и ч н о с т ь, которой смертельно боится беззаконие, предпочитающее всегда оставаться в тени, желательно в застенке, только там, наедине со своей жертвой, чувствующее себя превосходно. Но и привлечь Гинзбурга за создание такой книги, "подвести" его под статью закона было непросто: человек не был согласен с решением суда по конкретному делу, для того, чтобы полностью представить себе его картину, собрал все документы, имеющие касательство к нему, и передал их органам нашей власти. Это и было, кстати, позицией защиты в процессе. Само же дело представляло такое нагромождение грубого, примитивного произвола, такой "детской", возвращенной собственными жалкими детективами липы, что идти с таким материалом в процесс, освещавшийся прессой, вызвавший несомненный интерес за рубежом, было прежде всего глупостью. Но тут срабатывала привычка, традиция, то самое отеческое отношение к правосудию и судопроизводству, о котором уже много говорилось. В заявлениях чиновников, имеющих то или иное отношение к органам юстиции, сквозило недоумение, когда с ними пытались выяснить правовую несостоятельность дела Гинзбурга: "Кого это интересует, тем более в политическом процессе: мелкие недоработки и формальные огрехи — это адвокатам положено сотрясать воздух, тоже, кстати, лишнее, но пока неизбежное — обветшавшая форма судопроизводства, давно требующая коренной реорганизации..."

Однажды мне пришлось поехать в Армению от московского журнала по уголовному делу: пришло письмо от молодого парня, просидевшего год под следствием, а потом оправданного Верховным судом республики. Но все равно жизни ему не было, на работу не брали и прочее. Я воспользовался случаем, впервые приведшим меня в эту прекрасную страну, поехал в деревню, к родителям моего героя, смотрел на каменную, застывшую армянскую степь, разговаривал со стариками и пил самогон, а потом в Ереване ходил из кабинета в кабинет — от министра охраны порядка до соответствующих отделов в тамошнем ЦК. Меня и тогда поразило все то же "домашнее" — отеческое отношение к правосудию: "Ну что они в игрушки играют, прямо как дети! — сказал мне весьма ответственный чиновник в ЦК. — Мы сказали им (Верховному суду), как следует решить дело, а они его взяли и оправдали! Мало того, еще вынесли частное определение о привлечении к уголовной ответственности работников милиции, а потом утвердили всю эту дичь на своем пленуме..." (Еще бы не вынести частное определение, если парень по вине откровенных преступников в мундирах, находящихся в кумовстве с министром и с кем-то из самых крупных чиновников в Ереване, просидел год в тюрьме (полгода в одиночке), а Верховный суд признал его невиновным! "Я бы арестовал их прямо в зале суда, — сказал мне верховный судья, — но все они оказались депутатами Советов!"). Меня потрясло отношение к суду — как некой отжившей традиции, ненужном спектакле. — "Ну что они, дети, что ли!" Это о своем Верховном суде, а процесс, о котором идет речь, длился в Ереване целый месяц, открыто, в набитом битком зале, десятки свидетелей и т.п. Зачем, если предварительно они все решили в своем кабинете! (Парню я тогда помог, напечатал статью, и его дела как-то устроились, но Верховный суд в полном составе был переизбран и один из замов председателя суда звонил мне в отчаянии из Еревана: "Вы должны помочь, в вашей

статье названы шесть членов ЦК, это их рук дело...” Но чем я мог помочь, если партийные органы в Армении считали ”охрану” законов своей республики собственным домашним делом?!)

О том же самом думал я и на встрече с судьей Мионовым, председательствовавшим на процессе Гинзбурга. Встречу организовал Союз писателей, специально для тех, кто был ”введен в заблуждение” и подписал письма с протестами и недоумениями: ”Вы просили, чтоб вам было что-то разъяснено, — пожалуйста”.

В отличие от встречи со Смирновым это мероприятие проводилось в малом зале, пускали на сей раз строго по списку — только тех, кто подписывал письма с протестами, а также секретарей СП и членов партийного бюро.

Это было очень любопытно. Большой стол, накрытый зеленым сукном, разделил присутствующих на две части: по одну сторону начальство, по другую — проштрафившиеся, ”введенные в заблуждение”; во главе стола судья Мионов и оргсекретарь СП, бывший генерал ГБ.

Я слушал нелепую и пустую речь судьи, кокетливую и самодовольную, и действительно смешным казалось наше горение все эти месяцы, начиная с того дня, когда стало общеизвестно, что произошло на этом так называемом открытом процессе, на который не пустили в первый день даже старуху-мать Гинзбурга, а зал был набит сучившей ногами ”общественностью”. Потом появление в Самиздате речи защитника Гинзбурга — Б. А. Золотухина (записанная кем-то по памяти, неполная, но дающая в руки материал живого дела — уже не эмоции, не экзальтация, не абстрактное добро против абстрактного зла: стройная гражданская позиция, противопоставившая беззаконию и произволу — право и справедливость) — начало подлинного общественного интереса; а дальше возникновение наших пламенных

писем, апелляция к истинному правосудию, защита советского закона от его искажителей, осуждение отвратительной кампании в газетах и т.д. и т.п. ... — требование справедливости и правосудия от тех, кто его принципиально попирает!

Судья Миронов кокетничал: "Я, конечно, не привык выступать перед мастерами слова, так что если что не так..." Сидящий рядом с ним бывший генерал мрачно поглядывал на нашу проштрафившуюся сторону стола, а писатели-руководители глядели на нас с откровенным презрением. "Этот самый Гинзбург, — сладко говорил судья Миронов, — выдавал себя, как известно, за писателя, и его, кстати сказать, защищали как человека творческого! А знаете, чем он занимался в один из периодов своей, так сказать, бурной жизни?.. (и выждал паузу). Стыдно говорить в такой интеллигентной аудитории — дезинфекцией! Да, да, представьте, этот герой занимался тем, что морил клопов, тараканов и, извините, вшей — ха-ха! Вот что на деле представлял из себя человек, о котором шумит продажная западная пресса..." И дальше: "Вот, говорят, закрытый процесс, закрытый процесс, но дело не может слушаться в концертном зале — не в Лужниках же устраивать процесс? А зал, между прочим, был полон — ни одного свободного места, но желающих много — какие могут быть обиды?.. Конечно, в работе суда есть свои трудности. У меня был случай — затеяли в суде ремонт, затянули, знаете практику работы наших строительных организаций... Ха-ха! Я переносу и переносу заседание, оттягиваю, но больше тянуть нельзя, все сроки вышли. С меня тоже спросят. Пришлось открыть заседание в кабинете судьи, там, конечно, зрителей не было. А осужденный, между прочим, тоже обижался, жаловался куда-то. Что делать, приходится и нам порой преодолевать трудности..."

— Да он просто мерзавец! — громко сказал один из сидящих с нашей стороны стола, и бывший генерал встрепенулся, как боевой конь.

Как выяснилось, больше ничего судья Миронов сказать не мог, и искренне недоумевал (так же, как, впрочем, писатели-руководители), когда посыпались вопросы (в письменном виде — так потребовал наш генерал, аккуратно складывавший записочки): "Что тут спрашивать, когда все ясно?" Но ведь Гинзбург получил пять лет лагеря со строгим режимом не за то, что морил клопов, вшей и тараканов (над чем, кстати, едва ли следовало потешаться судье, иначе бы, возможно, обовшившему!) А за что? Вот об этом все мы поочередно спрашивали, потому что из кокетливых рассказов Миронова вообще ничего нельзя было понять. Разумеется, он был осужден не за то, что от государственного учреждения морил клопов и тараканов, способствуя организации полноценного уюта судье Миронову, а за то, что передал составленный им антисоветский сборник "Дело Синявского и Даниэля" в НТС для публикации. И валюту он имел не за клопов и тараканов ("Правда, это не доказано", — сказал судья Миронов. Но тогда зачем говорить о валюте?).

Итак, речь шла о связях Гинзбурга с антисоветской организацией НТС, но поскольку мы так или иначе занимались процессом, во всяком случае им интересовались, то и просили человека, именно это знавшего, подробно рассказать о сути преступления. Но судья Миронов никак не мог хоть что-нибудь сказать по существу дела. Он снова принимался говорить о чем угодно, вспоминал несчастных тараканов — только не о том, за что его подсудимые получили сроки. Но мы хотели, тем не менее, узнать об этом, что тоже было вполне естественным. В конце концов весь пафос нашей жизни эти несколько месяцев был в защите и восстановлении норм советского правосудия от их нарушителей. Почти все члены партии, подписавшие письма к руководителям советского государства с просьбой о соблюдении советского закона в этом конкретном деле, были к тому времени из партии

исключены, почти все работавшие от своих занятий освобождены, начальство в издательствах тут же пересмотрело свои планы, сверив их со списком ходатаев по этому делу и т.п. Как же иначе, речь шла о том, что подписавшие письма поддерживают махровых антисоветчиков, получавших от своих хозяев по НТС задания и указания, деньги и необходимые инструменты, клеветуют и распространяют, а некий иностранец Брокс-Соколов, приехавший для связи с осужденными и задержанный, полностью их изобличил тем, что привез им шапирограф, пачку копирки для тайнописи, фотографии и листовки...

"Мастера искажения истины, а заодно с ними те, кто не дал себе труда задуматься над случившимся, силятся представить Гинзбурга, Галанскова и Добровольского этакими кроткими созданиями, которые в худшем случае просто не ведали, что творят, — писал Ф. Овчаренко в "Комсомольской правде" в громогласной статье под названием "В лакеях". — И тут же следуют пространные рассуждения о необходимости скидки на молодость, о неизбежных заблуждениях юности. Полноте, господа! Речь ведь идет не о детских шалостях. И не о баловстве пером только что выпорхнувших из-под родительской опеки юнцов. Люди, представшие перед судом, уже далеко не отроки..." и т.д. "Преступная деятельность Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой полностью изобличена. Их вина неопровержимо доказана показаниями большого числа свидетелей, многочисленными документами, вещественными уликами, авторитетными заключениями экспертов..."

Итак, речь не о клопах и тараканах, но об активной деятельности, связях с антисоветской организацией, о клевете и распространении, о валюте. Но когда мы спрашивали судью Миронова о фактах, которые могли бы доказать, что преступная деятельность подсудимых была реальностью, о фактах, на основании которых он вынес свой обвинительный приговор, то с изумлением увидели, что он просто не в состоянии хоть что-нибудь

сказать, кроме того, что мы "узнали" в статье Овчаренко и подобных ей сочинениях других авторов: имелись "улики", "авторитетные заключения", "свидетельские показания"... Ну а конкретно? "Не могу же я рассказывать обо всем процессе..." Резонно, не следует рассказывать обо всем процессе, скажите хотя бы об одном факте, подтверждающем обвинение Гинзбурга в связях с НТС — о самом простом или о самом сложном. Назовите хотя бы один факт и проанализируйте его — ведь человек получил пять лет лагеря именно за это, и пришли мы сюда лишь затем, чтобы об этом услышать. Зачем повторять то, что мы прочитали в статье Овчаренко — это сомнительное красноречие едва ли могло стать материалом для суда? Брокс-Соколов? Но разве мог несчастный Соколов иметь хоть какое-то отношение к делу, если он приехал в Москву через год после ареста Гинзбурга и остальных? — мы прочитали об этом в наших газетах... Если мы встретились и так долго разговариваем — за что дали человеку пять лет строгого лагеря?..

Он не назвал и не проанализировал нам ни одного факта, просто потому, что их — этих самых фактов в деле не было. А покойник Кассиль, сидевший по другую сторону стола, прямо против меня, как один из секретарей СП, и мне, по простоте душевной, казалось, поглядывал на нас с сочувствием, мне померещилось, что ему стыдно за судьбу и происходящее, сказал вечером того же дня приятелю, прогуливаясь по переделкинским аллеям: "Представляешь, приехал уважаемый человек, человек занятой, оторвался ради нас от своих дел, скажем без преувеличения — государственных, рассказывал обо всем подробно и обстоятельно, а эти мерзавцы — мы их еще в своих стенах терпим,* просто забили его своими

* Впрочем, прошло больше десяти лет, пока мои отношения с СП официально сформулировались:

"В СЕКРЕТАРИАТ МО СП

вопросами, он даже устал, вспотел, не знал, что говорить... — никак не ожидал встретить у нас такое..."

Он и не мог ничего ответить — судья Миронов. В деле не было ни одного факта, подтверждающего преступную деятельность подсудимого Гинзбурга, за которую он, тем не менее, получил свой срок. В этом значение и важность процесса для нашего времени: с одной стороны, он неопровержимо свидетельствовал о невозможности рассчитывать хотя бы на какое-то соблюдение закона и права в наших условиях, а с другой — показал предел легальных возможностей протеста.

Но все это никак не укладывалось в головах людей, продолжавших сохранять поразительную наивность в отношении элементарного понимания того, что такое наше судопроизводство. Это тоже характерно, свидетельствует о полном отсутствии правосознания: ожидание

За мое почти двадцатилетнее членство в Союзе Писателей Секретариат вспоминал обо мне дважды: первый раз в 1968 году, когда мне вынесли выговор за подписание письма в защиту заключенных Гинзбурга и Галанкова, а второй раз полтора года назад, когда члены Секретариата прочли мою статью о Солженицыне.

О чем пойдет речь сегодня? Мудрено не догадаться. Да, я подписал письмо в защиту Андрея Дмитриевича Сахарова. Я подписал письма в защиту арестованных Татьяны Великановой, отца Димитрия Дудко и отца Глеба Якунина. Но может быть речь пойдет об исповедании моей православной веры, которому посвящен мой роман, вышедший недавно на Западе ("Отверзи ми двери", Париж, ИМКА-Пресс)? В нем я достаточно определенно высказал свое отношение к тому, что меня — русского писателя, не может не волновать, к чему я не могу оставаться безучастным.

Вы называете себя гуманистами, но я мог бы спросить вас: почему вы молчите, когда по стране идет охота на Русский Общественный Фонд помощи заключенным и их семьям, а его жертвенность, милосердие возвращают нас к первоосновам нашей нравственности. Русская литература всегда жила состраданием к гонимым, арестованным, почему же вы молчите теперь, когда в тюрьмы бросают людей, вернувших честь и достоинство нации, когда шельмуют и арестовывают священников, крестивших тысячи людей, а десятки тысяч возвративших в церковь? Я не стану спрашивать вас: почему вы, твердящие о своей причастности к русской культуре, о своей связи с традициями русской литературы

и готовность в любую минуту быть задержанным, обысканным, арестованным неизвестно за что и почему — при полнейшем доверии к следствию, суду, самой формальности судопроизводства, уже давно не имеющей никакого отношения к его сути.

Но ведь был суд, судебное заседание, прокурор, свидетели, наконец, защитники... "Что вы можете сказать о защите на этом процессе?" — спросили мы судью Миронова. — "Что ж, — кокетничал он, — по нашим советским законам каждый подсудимый имеет право на защиту. Защитники осуществили это право, выполняли свои профессиональные функции. Правда, не всегда были на высоте..." — "Одного из защитников — Золотухина, после процесса исключили из партии и вывели из коллегии адвокатов? Как вы это объясните?" — "Об этом я ничего не знаю, — сказал судья. — Я с ним в разных парторганизациях".

и ее свободомыслием исключили Пастернака, Солженицына, Войновича, Владимова, Корнилова, Копелева, Лидию Чуковскую... Совсем недавно — Раису Орлову. Исключаете каждого — за собственное мнение, свободную мысль и мужество, а сегодня участвуете в травле Андрея Сахарова — одного из самых прекрасных людей нашего времени. Я мог бы спросить вас и еще о многом, но не стану, у нас не получится разговора. Нам не о чем говорить. Поразителен профессиональный, творческий союз, бегущий впереди карательных органов, подсказывающий им очередную жертву — или вы не знаете, что исключение дает санкцию на расправу?

Оставаясь в Союзе Писателей, я нес ответственность за все ваши действия и я с себя эту ответственность не снимаю. Но выступая в защиту гонимых и арестованных, исповедуя Христа в своих статьях и книгах, и, оставаясь при этом членом СП, я думал и о вас — может мой пример был все-таки не бесполезен для кого-то из членов Союза Писателей? Если вы меня исключите, то снимете с меня тяжкую ответственность за ваши преступления перед русской литературой, перед Россией. Мне станет легче, но каково будет вам? У каждого из нас есть дети, есть совесть. Даже когда мы о ней забываем, она все равно существует, живет и когда-то даст о себе знать. Дай Бог, чтобы это случилось с вами до вашей смерти.

Феликс Светов. 20 марта, 1980".

Члены Секретариата за исключение проголосовали единогласно, при одном воздержавшемся (их больше сорока: "Тридцать три богатыря — сорок два секретаря..." — сказал Твардовский).

(Примеч. 1981 г.)

А между тем, случай был беспрецедентный. Я говорю не о вопиющем факте исключения адвоката из коллегии за его несогласие с прокурором и председательствующим на процессе, с обвинительным приговором — за иную точку зрения в конкретном деле. В нашем громком политическом процессе еще не бывало, чтобы устами адвоката было заявлено, что его подзащитный полностью невиновен и ввиду этого должен быть оправдан. Я представляю себе эмоции набитого стукачами зала, когда Борис Андреевич Золотухин доказывал несостоятельность одного за другим в с е х пунктах обвинения, всего, что по словам автора цитированной выше статьи было установлено "неопровержимыми" свидетельскими показаниями, материалами дела и авторитетными заявлениями экспертов.

Прежде всего было опровергнуто обвинение в том, что Гинзбург передал Белую книгу в НТС для опубликования, ибо оно опиралось только на противоречивые показания подсудимого Добровольского и в свою очередь противоречило бесспорно установленным фактам. Было полностью опровергнуто обвинение в связях подсудимого с организацией НТС, ибо приговор опирался на показания того же Добровольского, которых он в действительности не давал — во всяком случае их не было в деле. Напротив, в деле, при его внимательном анализе были доказательства отсутствия связи Гинзбурга с НТС, ибо НТС, как доказал защитник, исходя из материалов дела, не только не был связан с его подзащитным, но ничего не знал о нем. Адвокат обвинил суд в нарушении закона, ибо в своем приговоре суд отверг доказательства, оправдывавшие Гинзбурга. Было установлено, что сами по себе действия Гинзбурга, включившего в сборник (Белая книга) два материала, признанных криминальными (листовка, подписанная "Сопrotивление", и "Письмо старому другу") не образуют преступления, предусмотренного соответствующими статьями советского Уголовного кодекса и т. д. и т. п.

С одной стороны суд по революционной совести, с краснойбайской, желтой, цитированной уже статейкой Овчаренко, а с другой — профессиональная работа защитника, швырнувшего в лицо суду обвинение в его полнейшей несостоятельности. А между тем процесс готовился долгие месяцы, бесконечно откладывался, и только появление Брокса-Соколова, не имевшего никакого отношения к делу, его "решило". Бедный Брокс толком не знал, что находится в конверте, который его просили передать в Москве, зачем туда положили бумагу для тайнописи, которая якобы была так необходима Гинзбургу, давно находившемуся в тюрьме, о чем широко оповещалось в западной прессе. Грубая работа, старая жандармская практика, хотя те были поумнее.

Такова суть процесса, и, разумеется, Золотухин в нем никак не предполагался, был случаен, как в моем личном опыте Катц или Верховный Суд Армении, неожиданно оказавшийся на стороне справедливости. Но случайны ли это? Или, как говорилось, это и есть результат и плоды общественного подъема? Что же это все-таки — свидетельство мужества отдельных людей, уже не способных жить против собственной совести, или постепенное накапливание не учитываемых начальством душевных, духовных сил, раскрывшихся в определенный момент таким вот прекрасным образом?

В какой-то мере книга, надеюсь, отвечает на подобные вопросы; значительно полнее, несомненное отвечает судьба Бориса Андреевича Золотухина, моего ровесника — одного из самых прекрасных людей нашего времени, знавшего то, о чем я только догадывался (уже факты анкетные: следователь прокуратуры, прокурор, талант и энергия — открывшаяся карьера, а потому кажущийся неожиданным, а на самом деле несомненно выношенный и продуманно-принципиальный слом биографии — уход в адвокатуру, успех в ней, имя: член президиума Московской коллегии адвокатов, зав. одной из московских юридических консультаций — и процесс Гинзбурга, как

логическое завершение этой судьбы). Очевидно, и наше начальство так или иначе задавалось этими вопросами, решая, разумеется, по-своему. Но ощущение непрочности они не могли не испытывать. Такое ощущение несомненно живет в каждом жулике или спекулянте, как бы ни был он нагл или самоуверен, какие бы твердые гарантии ни давал ему жулик покрупнее. Миф о честном слове бандита существует лишь в романтических байках бывших уголовников, утверждающих высоту нравственного чувства находящихся в законе. На самом деле там существует всего лишь, скажем, собственное представление о нравственности, та самая "нравственная диалектика", о которой уже говорилось.

Я повторяю, не следует преувеличивать: кого могли напугать несколько сот подписей под бумагами, утверждавшими прежде всего принципы, зафиксированные в программных документах страны победившего социализма? Но эта самодеятельная самостоятельность не нравилась, как не нравилось и то, что кто-то собирается вне контроля направляющей руки, высказывает собственное — другое мнение; не нравились сами принципы, которым эти документы следовали. К тому же они провозглашались слишком громко, страстно и опять же самодеятельно. Чем кончилась похожая история в Чехословакии? А началось словно бы с чепухи: писательская болтовня...

И пошло: самовозбуждающаяся газетная истерия, исключения и недопущения. Но это еще не было страхом, все повторялось как фарс, а гипноз, вызывавший в свое время столь необходимый энтузиазм, напрочь отсутствовал, да и не мог вернуться. Оставалась инерция — гигантские расстояния, произвольный масштаб — еще сто лет можно существовать за счет такой инерции.

Как бы то ни было, но естественный процесс общественного воспитания и созревания во внешних его проявлениях был приостановлен. Думаю, это было

благом — играть в прогресс стало опасно, как минимум, за эту игру перестали платить, она уже не могла оставаться светским времяпровождением. Процесс ушел вглубь, и здесь начало подлинной кристаллизации.

Я не стану говорить сейчас о себе. Это самое важное для меня, а потому я все оттягиваю разговор, укрепляя под собой почву. Я говорю о том, что обещал в начале книги, что должно завершиться в ее финале.

Там, в глубине тоже был некий путь. Я писал об этом, вспоминая Бабий Яр и нашу киевскую поездку. Помнится, в первые дни процесса Гинзбурга, когда я толкался в толпе, проникнув в здание городского суда через черный ход, а вокруг журчали камеры и магнитофоны, слышалась иностранная речь, проходы в зал, где слушалось дело, были наглухо перекрыты, я видел множество славных и несомненно самоотверженных людей, вызывавших тем не менее глухое и неясное мне самому чувство подсознательного отталкивания, прежде всего из-за своего профессионализма (или стремления к нему). Главным для меня в ту пору была моя работа, дело Гинзбурга — оставалось прежде всего судьбой человека, с которой я так или иначе столкнулся; вопиющая несправедливость, бесстыдное нарушение громогласно провозглашаемых норм. Я не собирался делать свой протест профессиональным, кроме всего прочего потому, что у меня было дело, которым я занимался, собственная жизнь, не уважая которую, я бы не мог требовать уважения к жизни другой. То есть, путь или процесс оттаивания, несомненно происходящий во мне, был естественным. Так же естественен был Синявский в своем стремлении увидеть напечатанными написанные им книги. Или адвокат Гинзбурга, произнесший на процессе речь, завершившую целый период нашей жизни: по всей вероятности он пришел к осознанию невозможности ее не произнести столь же естественно,

подчиняясь логике собственной жизни, но при этом прежде всего делал свою работу, исполнял профессиональный долг, проявляя и черпая свое мужество именно в этом. С другой стороны, стремление сделать профессиональным сам протест против всякого непотребства вызывало у меня, в свою очередь, глухое чувство неприятия, которое я долго не мог "поймать" и сформулировать. Нельзя было не отдать должное мужеству и самоотверженности этих людей, тому, что наконец традиционное молчание насмерть перепуганной интеллигенции, мечтающей лишь о куске пожирней и жизни пошикарней, было разорвано, появились люди, не желающие мириться со всей этой гнусностью. Арестуют писателей — они протестуют; следствие затягивается — они выходят на площадь, требуя соблюдения закона; суд закрывает двери перед теми, кого интересует процесс — они настаивают на том, чтобы двери были открыты; арестуют тех, кто выходил на площадь — они пишут письма, напоминая о Конституции, которая этими актами нарушается; арестуют тех, кто защищал Конституцию, они посылают телеграммы, кричащие о том, что преследуются люди, высказывающие собственное мнение... Такое единоборство не могло не взволновать так или иначе о нем узнававших, а в пору процесса Гинзбурга, как уже говорилось, привлекло самое большое число людей, открыто сочувствующих. Но вершина была одновременно и завершением движения, резко пошедшего на убыль совсем не потому, что испуг был значителен — сам по себе протест никак не мог стать платформой объединения людей в то, что называли тем не менее Демократическим движением.

Люди работали свою работу, получали за нее деньги в государственной кассе и протестовали против нарушений закона, без которых власть и не могла существовать. Что это — лицемерие, тактика, стремление к внутреннему комфорту, неумение додумать мысль до конца, отсутствие элементарной логики? Есть период общественного

созревания, в процессе которого мысль проходит свою собственную школу, мужает и зреет. Но она не может топтаться на месте.

Процесс пошел вглубь, и стало очевидно, что едва ли следует обижаться на происходящее. Ты можешь измениться и поладить с тем, что вызывает твоё возмущение? Если да — это один путь: получай что положено за службу, и — служи. Если нет — делай свою работу, будь верен ей, себе, собственной совести — исполни свой долг.

Я говорю сейчас о людях, которые избрали третий путь, утверждая своей судьбой возможность существования противоестественного в наших условиях, легального, профессионально действующего, даже не оппозиции — но протеста, упорно и настойчиво указывая правительству на его ошибки, заблуждения и извращения собственных законов.

...Был разговор как разговор — сколько такого рода встреч и болтовни бывало в нашей жизни. Словно бы приятели — и не приятели: из случайных встреч и беглых разговоров возникли отношения, понимание разности, но и общего в оценке вещей для нас главных, к тому же общий круг интересов и словно бы общая любовь... Разговор порхает, на столе бутылка, но пьянства не будет — мы ограничены временем; с нами красивая женщина, все чуть возбуждены, над столом витает что-то недосказанное, все остро: революционеры, они как матадоры — отказа не знают. А разговор общий — о поэзии, о тех, кто сидит в лагерях, и о тех, кто дожидается своего часа. И что-то о людях, захотевших жизни полегче: устали, поднадоело, добрались до своего потолка или напугались... "Стрелять, — сказал один, как о чем-то решенном. — Стрелять их всех не размышляя..." — "Нет, нет, погоди! — смутился другой, который больше о поэзии. — Ты перебарщиваешь. Различать надо. Если он своим, так сказать, падением никому вреда не приносит — что ж, слабость, нельзя требовать героизма от

каждого. Но если б я встретил в лесу имярека — заложившего остальных на процессе, я б его своими руками... — он как-то сглотнул, — задушил бы”.

Я остолбенел, и почему — не знаю, по далекой, впрочем, ассоциации (от разговора о поэзии, что ли?) вспомнил Державина, участвовавшего в подавлении пугачевского бунта и приказавшего повесить одного из мятежников “из поэтического любопытства” — Пушкин упоминает этот факт два жды, так он его, очевидно, потряс.

Ассоциация, и верно, была далекая. Чуть ближе другая, хотя и ей полтора ста лет: декабристы, кричавшие на Сенатской площади — “Да здравствует Конституция!”, — разъясняли недоумевающей толпе, что речь идет о жене великого князя Константина — Констанции, и предлагали поддержать их... А разве психологически — структура мышления Дегаева и Желябова различны между собой не только количественно?

Откройте еще раз ту же книгу нашего великого писателя, которую не в очень давнее время не рекомендовалось читать на родине ее автора.

“... Слушайте, мы сначала пустим смуту, — торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав. — Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы,

о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный... Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал — свирепствовал тезис Littré, что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. "Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!" Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал перед "дешевкой". Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: "двести розог, или тащи ведро". О, дайте возрасти поколению! Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали! Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет...

...Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим... если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще "свеженькой кровушки", чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха! Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха, ха! Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин: в русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял..."

Кармазинов не отстоял своих богов. Где он теперь этот Кармазинов? Уж не Евтушенко ли он сегодня или какой-нибудь Олег Ефремов — какое употребление нашли они знамени молодого поколения, которое столь торжественно таскали несколько лет по эстраде?

Они, впрочем, не собирались отстаивать каких бы то ни было богов — Бога в них никогда не было. Но и те, о которых речь выше, думали ли они только о правде и справедливости — о любви, не было ли в них той или иной (пусть только внутренней) корысти, профессионального отношения к делу, ради которого они были готовы на жертву — но коли так, можно ли говорить о нравственности? Но, с другой стороны, следует ли быть столь максималистски жестким, даже не в смысле права судить другого (я говорю сейчас о явлениях, не о людях), дело в том, что кривляющийся и юродствующий Верховенский, бесспорно суть явления выражающий (я говорю не об аналогиях и ассоциациях, даже не о пророческой силе в анализе того, что мы имеем сегодня), способен ли тем не менее такой вот Верховенский все объяснить? Был ведь даже у нас полдень 25 августа...

Я пытаюсь представить себе, что было тогда в них. Как они пришли с разных сторон на сотни раз искоженную площадь, шли друг к другу сквозь суету и безразличие, сквозь бессмысленное любопытство толпящихся возле стены и ГУМа, мимо изнывающей от жары очереди, жаждущей поглядеть на созданное руками людей чудо — хрустальный гроб и человека в рыжей бородке. Я пытаюсь представить себе каждого из них, небо над ними, тишину, которую они внезапно, в какое-то мгновение услышали в себе, когда встретились, пожали друг другу руки, сели у Лобного места и вытащили свои плакаты. Тишину, взорвавшуюся дикими криками и бесчинством.

Я отмечаю все остальное, что было в них кроме того — у каждого свой опыт и своя судьба. Но ведь они не пытались переводить это свое на язык понятный и близкий толпе, бросившейся к ним, не думали толковать

о какой-нибудь современной Констанции или о чем-то другом, что могло развязать инстинкты ждущих своего часа. "Свободу Александру Дубчеку!", "За нашу и вашу свободу!" — что могло быть дальше и непостижимей для этой площади?..

Но они продолжали молчать, когда эти плакатики вырвали у них из рук, когда избивали бородатого Файнберга, когда залилось кровью лицо Литвинова, а Богораз пихали в машину. Что это — акт самоубийства, самосожжение, отчаяние или логика судьбы, бесстрашно доведенная до конца, а в ней забылось наносное, суетливое...

Но, повторяю, это одна сторона, высший акт, никак не органичный процессу, никак и ничем не связанный с происходящим, не имеющий корней. Это все-таки акт отчаяния, не столько логика мысли, сколько логика игры, честно и мужественно прослеженной до конца. Дело не в неразумности и нерасчетливости такого финала, хотя думать и считать в таких ситуациях все-таки следует хотя бы на несколько ходов вперед, а в том, что он (этот акт) не вырос из атмосферы времени, и хотя рожден сердцем — искусствен.

Но они были прекрасны до конца. И на своем процессе, и в своих речах, нигде не дав сбою. Разве может их вина быть в том, что они остались не услышанными: имеющий уши — услышит!

Но это одна сторона, потому что я продолжаю не понимать вещей, которые понимать должен, а даже отдаленно напоминающее нечто, закончившееся тем, что мы сегодня имеем, попытка анализа природы явления, вызывающая аналогии и ассоциации слишком близкие и тяжкие, вселяет тревогу. Верховенский не просто мошенник, он не был пьян в цитированном разговоре со Ставрогиным, а мрачная фантазия Шигалева, как выяснилось, совсем не бред сумасшедшего.

Я слышал минувшим летом интервью, вывезенное шустрым американцем из Москвы — с Якиром, Амальриком, Буковским и Гинзбургом (последним — из

лагеря). Интервью транслировалось в Америке по телевидению, потом его передали по телевидению в Лондоне, перепечатали и прокомментировали лондонские газеты, дважды, трижды передавало по-русски радио из Лондона и из Америки.

Те, кого интервьюировали, говорили по-разному, выказывая различный темперамент и непохожие судьбы. Это не могло не волновать. Это слишком близко и болит. Можно догадаться, чего стоит такое интервью Буковскому, только что вернувшемуся из лагеря, что оно значит для Гинзбурга, там находящегося. Говорил Гинзбург прекрасно — мужественно и благородно.

”Нас арестуют, нас вот-вот арестуют...” — говорил Якир. Амальрика арестовали через десять дней после того, как американские телезрители его увидели. Гинзбургу спустя недолгий срок изменили режим и перевели в тюрьму во Владимир.

Я не судья никому и не мне принадлежит последнее слово, а сам я человек живой и, как можно было увидеть, меняющийся. Я по-прежнему подчеркиваю, что стремился по возможности точно передать собственные мысли и ощущения. О собственных ощущениях в связи со всем пережитым я и пишу.

Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился беснованный (Лк. 8, 32—36).

Сентябрь 1970.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Э П И Л О Г

Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Достоевский. "Преступление и наказание".

1.

Мы стояли под брюхом аэроплана — гигантского железного ящика. К открытому черному провалу поднимались и исчезали в нем один за другим люди, у подножья лестницы девица с блудливой улыбкой на нарисованном лице проверяла билеты, рядом с ней хмырь с тяжелым задним карманом шарил глазами — эпоха воздушного пиратства!

А поле — аэродром — густо усажено этими ящиками на колесах: рычащими, машущими крыльями, переползающими с места на место. И казалось, не только здесь, на земле, но и в небе тесно, и почему-то не хватало дыхания.

Мне не хватало его всю дорогу до аэродрома, хотя мы так хорошо устроились на заднем сидении, лихой шофер быстро вырвался из города на шоссе, зелень была свежей, еще незапыленной, а в машине стояла колеблющаяся от прохладного ветерка тяжкая похмельная муть последних долгих и долгих дней, месяцев, лет, и я задыхался, курил, чтоб задохнуться совсем, знал, что вот сейчас, еще за одним, другим — тридцатым верстовым столбом расстанусь с тем, с чем расстаться не в состоянии.

Господи, как я любил эту женщину!

Она была бледна, утомлена, она тоже задыхалась от тягости, медленно колышущейся в машине, и разговор шел необязательный — столько было сказано такого, что говорить не следовало.

А я уже давно знал — не все ли равно, полвека или оставшиеся пятнадцать минут, — нужно сосредоточиться

и полно прожить их, зажав в себе гремящее, готовое вырваться через подмышки сердце.

Машина рвалась по шоссе, мы говорили ни о чем, все равно слыша друг друга — и жизнь продолжалась. Я видел, как тягость толчками стелется вместе с дымом, выплывает в приспущенное стекло навстречу ветру, клубится за нами; не мог сформулировать, но чувствовал: вызревает новое, такое знакомое, щемящее близостью состояние.

А в ней была отрешенность, она уже ушла, уехала, улетела, и важно было дать ей возможность сохранить с такой мукой вырванную легкость.

Но я понимал, меня не хватит, всегда столь просто подчинявшиеся чувства жили самостоятельно, у них была своя логика — неуправляемая и неконтролируемая.

Мы сидели на скамеечке, курили, нещадно палило весеннее солнце, перед нами бессмысленно передвигались грохочущие железные ящики; наконец, разнесшийся над полем хриплый голос поднял нас и провел в маленькой толпе пассажиров к нашему аэроплану.

Она махнула мне билетом из иллюминатора, лица ее я не видел, постоял, дождался, когда тягач сдвинул и потащил аэроплан по полю, и пошел не оглядываясь.

И уже забравшись в машину, сидя рядом с потешавшим меня глупейшими анекдотами водителем левого пикапчика, глядя на убегающую назад только что прожитую дорогу, подумал: я-то никуда не ушел и не уйду, я возвращаюсь, а то, что пытался остановить, вспоминая детство, и есть для меня земля обетованная, самое важное во мне, мое существо — от него не уйдешь, оставаясь собой, да и не нужно, нельзя уходить!

Я возвращался к себе медленно, трудно, боль уходила, отпуская, я даже свободно двинул руками, хотя перед тем боялся шевельнуться и тащил чемодан, слыша как он висит, привязанный за сердце. Я возвращался к себе, путь предстоял долгий, по-своему тяжкий, но впереди был свет, знакомая дорога, я не заблужусь, не

сойду с колен, какая б ни была ночь или метель — ноги сами дотащат меня в свою конюшню.

Была несомненная неправда во всем предшествующем повествовании, выстраивании и конструировании героя, его судьбы, эволюции и во всем прочем. При всей точности изображения. То есть именно такой была задача, но на самом деле, если говорить обо мне и пытаться понять человека, прожившего эту жизнь, то, конечно, не мои взаимоотношения с "Новым миром" и "Знаменем", не ошеломление Синявским или вышедшими на Красную площадь определили мое существование. Здесь и было выравнивание, романтизация судьбы, смещение, а в конечном счете — неправда, объяснимая собственным непониманием, жизнью внешней.

Хотя где-то я и там проговаривался об этом главном в себе. Проговаривался, уходил, считал несущественным — стыдясь или стесняясь этого в себе.

Удивительным это показалось мне, да таким, что я и теперь не решаюсь сказать прямо — написать на бумаге о главном, что определило мое существование, собственно, всю мою жизнь, от чего я уходил, пытаюсь задавить в себе, и стыдился его проявлений — выравнивал, вытраивал в себе то, ради чего и родился на свет Божий. Но если вдуматься и быть честным с собой до конца, то и получится, что вся моя жизнь была борьбой с самим собой: режим, общество, судьба, случайности, женщины... Они тащили куда-то в сторону, чего-то хотели от меня, ломали и приспособливали. Да и надо ли было так со мной возиться? Я мечтал отдаться всему, что меня окружало, плыть по этой волне, но что-то не получалось, не выходило, хотя порой казалось, есть успехи, я вписываюсь в важный и дорогой мне круг, я уже свой в нем, не хуже других, в чем-то лучше... Только некие знаки, видные одному мне, меня окорачивали: тоска бывала в самые прекрасные мгновения, легкости не хватало, той, что вспоминается счастьем, полноты душевного раскрытия. И думалось, этого уже не может быть, ушло

вместе с юностью, жалеть стыдно, следует задавливать в себе и саму жалость об этом. То есть вся моя жизнь, так подробно записанная в первых двух книгах, была дорогой от себя, проявлением чисто внешним, стремлением вырваться и от себя убежать. Жизнь истинная еле теплилась, спасала в ситуациях самых крайних, а тогда бывало не до того, чтоб понимать, откуда пришло спасение. Путь, который открылся сейчас, должен стать обратной дорогой. Если мне удастся пройти им, а здесь, в этой тетради, свое возвращение зафиксировать — я выполню свою задачу.

2.

Я удерживаюсь от того, чтоб опять, снова и снова погружаться в себя, проглядывая и промусоливая узловыe моменты жизни — они в чепухе, важной только для меня, в мелочах, пустяковом воспоминании, жесте, которого стыжусь спустя десятилетия, неудачно вырвавшемся слове, от которого и сейчас бросает в жар. Как странно, что для меня и сейчас существенно именно это, ни для кого не интересное, в чем не найти, так сказать, социальности, даже желая того, а всего лишь свидетельство так вот небогато развивающейся личности, верной себе и стыдящейся своей верности.

Так вот, я вижу себя мальчиком из детского сада, старающимся незаметно пройти страшными воротами из парка в нашем Третьем Доме Советов, где поджидает меня — я знаю это — Юрка Сумасшедший со слюнявыми губами; в толпе первоклассников, отчаянно робеющим здоровенных, постарше ребят с красными кулаками, но еще больше позорного для меня явления няни, которая вот-вот подойдет, чтобы перевести через грохочущее и звенящее Садовое кольцо; маленьким индейцем на нашей даче в Отдыхе с изукрашенным губной помадой

телом, вооруженным поломанным луком и стрелами, стоящим подле дачи, глядя вверх на обидевших меня моих товарищей, свесившихся через перила, весело и смачно плюющих мне в лицо, умирающих от смеха, видя мою незащитность и непостижимую для них сладострастную жажду испытать это унижение до конца. Или удивительное, переполняющее душу ощущение счастья, такое отчетливое, что его и сейчас, спустя чуть не сорок лет, можно потрогать — дома *меня ждет велосипед с надутыми желтыми шинами; ночной кошмар проснувшейся плоти — стыд, как смерть обрушившийся на меня: перебудив и перепугав весь дом — маму и сестру, я еще долго не мог очнуться, чувствуя себя затравленным зверьком, не умея вырваться из тьмы, навалившейся на меня; студентом, умирающим от любви к девочке, которая спустя три года станет моей женой, а еще через год я сам опущу ее в мерзлую землю...

Что дают мне сейчас эти воспоминания, о чем они говорят и неужто в них заключены для меня опора, свет, земля обетованная?

Меньше всего хотелось бы мне вступать на сомнительный путь полемики с собственным сочинением, утверждая самоценность свидетельств новых, отрицая правомочность предыдущих. Там была правда, я жил по ней, более того — не мог жить иначе, и никто б не убедил меня в моих заблуждениях, пока они сами не оказались мною изжитыми. Собственно, это все уже сказалось, зафиксировано, принадлежит не только мне, ибо явилось нашим общим опытом.

Я оказался на краю, и едва ли здесь следует искать мою заслугу, или стечение обстоятельств, игру случайностей. Жизнь решала за нас, а мне всего лишь посчастливилось угодить в эту пору. Это не выбор, а всего лишь следование логике жизни — оставалось ее понять и не мешать тому, что во мне происходит. Но сегодня, подойдя к краю, я увидел, что у меня нет ничего из того, с чем книга начиналась. Нет общественного служения, понимавшегося делом жизни,

далеко и все дальше уходят друзья, кем был так счастлив, а поражение в любви, составлявшей истинное содержание моей жизни, привело меня попросту на грань катастрофы.

Но я остался жив и, пытаюсь уяснить себе, как это стало возможным, впервые понял цельность и силу там, где виделась только слабость и стесняющаяся себя инфантильность.

3.

Наверно, не случайно эта книга почти полностью заменяет мне дневник, который я все-таки вел, хотя и не регулярно, так или иначе, но всю жизнь. Не случайно, но всякий раз, переключаясь, я ощущал разницу чисто стилистическую, а в ней различие правды, высказываемой тут и там.

Но если это различие между дневником и книгами первой и второй было очевидным, я сразу ощущал его — слишком разными были задачи, то здесь, в книге третьей, эта разница становится призрачной, а потому важно понять ее, а еще бы лучше сформулировать: в определении жанра лежит необходимый для работы ключ.

Я понимаю, и не для красного словца, что мысль не только записанная, и не только изреченная, но уже сформулированная в своем сознании — ложь или искажение, или некое конструирование — неважно, сознательное или подсознательное. Но если я подошел вплотную к необходимости переосмысления всей жизни, мироощущения, важного мне не для написания этой книги, но для существования, то следует ли ждать, пока оно очистится и примет разумную, рациональную форму?

Жизнь решала за меня, прожитое и пережитое за это время казалось бы в корне должно было изменить замысел книги, если речь об ее дневниковости, поставленных

в ней проблемах и себе в них. Но я продолжаю третью главку с запятой, и потребность датировать написанное уходит, мне достаточно ощущения живущего во мне времени.

Так тягостны отчуждение и холод в отношениях с людьми, которыми гордился, юношески мечтая об общем деле, так просто то, что произошло между нами, будто не зная, пророчествовал в своей книге, но иначе и быть не могло, если оставаться верным написанному: перекресток, рубеж, от которого дороги ведут, хочешь не хочешь — в разные стороны.

Задача увидеть себя в некоем зеркале, и даже испугавшись увиденного, устыдившись, по мере слабых сил увиденное зафиксировать, была выполнена. Так и произошло, хотя, разумеется, истинно сказано было некогда Псалмопевцем и повторено Гоголем в "Авторской исповеди" — весь человек есть ложь.

4.

Может показаться, как уже говорилось, сомнительным новое и новое возвращение к материалу предыдущему, уже записанному — переоценка или защита сказанного. Но для меня это не просто возвращение или переоценка, никак не защита — сказанное сказалось и я несу ответственность за каждое написанное мною слово. Речь о том, что путь, который мне открылся, есть моя жизнь, осознанное существование. Это трудный путь, я отдаю себе в этом отчет, а потому естественно стремление не тащить с собой ничего лишнего. Бог с ними, с дорогими моему сердцу, но ненужными на этом пути сувенирами и воспоминаниями. Если я выбрал дорогу и отказался от другого пути, надо ли держаться за них, тащить надрываясь то, что только мешает на этой дороге. Да — да, нет — нет, а прочее от лукавого. Всю жизнь,

задыхаясь от непосильной ноши, я тащил ее, проливал слезы над всяким клочком дорогих мне воспоминаний, не умел отбирать необходимое, полагал, что когда-то наступит день разборки — стирки, как говорил у Толстого Вронский, — я разберу и рассортирую, разложу, выброшу... Оттягивал до лучших времен — безделья, болезни или отдыха, не понимал, что речь идет о деле насущном, о тягости, не сбросив которую, не выберешься на единственную тропу.

Как получается, что один судит другого под солнцем — что здесь, кроме слабости и тщеславия, гордости и суетливого самодовольства? Что можем мы знать о том, что и как совершил этот другой, что оно для него значит и как ему обернулось. Но мы судим, и все наши отношения друг с другом определены этим постоянным судом. Мы даже убеждены в необходимости произносить свой суд над другими, порой полагая своей нравственной обязанностью, а порой вершим его просто по неразумию и легкомыслию. Но однажды, остановившись на бегу, оглянувшись, проснувшись ночью в похмельной беспомощности, вспомнив сказанное или подуманное, вдруг ужаснешься содеянному — неважно, пусть только мысленно.

Как складываются отношения между людьми, возникает приязнь, симпатия, дружба, любовь — связи рационально никак не объяснимые, чья прочность стоит любых, покоящихся на основаниях вполне материальных? Как преодолевается и удается ли до конца преодолеть в таких отношениях собственное, за счет другого самоутверждение, непонимание чужой личности, ее прав на совсем иную, свою, чаще всего только раздражающую жизнь?..

Я пишу книгу, которой живу, ее слабость и несовершенство выражают всего лишь собственную мою слабость и столь явное мне несовершенство. Я не упреждаю этим своих критиков, ибо в критике, видит Бог, не нуждаюсь. Так, полагаю я вполне теоретически, записываю все это в своей тетради, а если свистнуть лохматого Марта, запретить

дверь, пройти лесочком под высоченными — не обхватишь — соснами и березами к железной дороге, а потом вдоль нее через журчащую в полыньях речушку — петуху по колено, в которой я мальчиком учился плавать, а теперь и подумать об этом удивительно; подняться на платформу, поглотать, дожидаясь электрички, снежку, что сыплется и сыплется с неба, сесть у окошка и продумать предстоящий разговор, глядя, как уносится назад ничуть не изменившаяся за сорок лет дорога; а потом, промчавшись под землей под огромным городом, постучаться на каком-то этаже в квартиру моего старого приятеля... Дверь откроет живой, а не теоретически привидевшийся человек. Почему я так не сделал, не попытался, хотя что проще; приехать, постучаться, сесть — и глаза в глаза выяснить все наши расхождения, вполне принципиальные, уводящие дальше и дальше...

Вот в чем моя несомненная вина, потому что упиваясь обидой, пониманием собственной правоты, логикой увидевшегося прямого падения, подтверждавшего всякого рода предположения, я поступал всего лишь как гордец и честолюбец. Быть может человеку следовало подать руку, а я азартно ловил в его действиях подтверждения выстраиваемой за него чуждой мне его позиции, продолжал таить от него подуманное о нем, сказанное...

А что происходит там, на каком-то этаже снаружи благополучного дома? Быть может, подлинное страдание, готовность откликнуться, или незнание, что есть путь иной — истинный? Быть может, там ждали меня, а я не постучал, моего слова, а я таил его про себя, моей книги, а я показывал ее всем вокруг?

Человека нельзя считать конченным, пока он жив, в забвении этого моя вина перед товарищем, а потому все более важной кажется работа, которую следует завершить: быть может, кто-то еще поймет единственность открывшейся мне однажды дороги.

Как непереносимо огромна сумма вины, лежащая на плечи человеку, задумавшемуся однажды о всей своей жизни. Человек верующий, церковный освобождается от нее покаянием, приходит к своему концу причастившись, готовый к встрече там, где всех, говорят, ждет последний Суд. У человека моего опыта, знать не знающего, что такое Церковь, вина растет как снежный ком, а когда годы переходят за сорок, плечи трещат, не выдерживают, лопаются сердце, и мы, возвращаясь с похорон, толкуем о феномене массовости сердечных заболеваний, сшибке и радиации.

Быть может, свидетельством литературности избранного мною жанра, хотя я и пытаюсь выдавать его за дневник, служит как раз то, что, из всей суммы содеянного мной, я выбираю немногое, самое для себя тяжкое. Приятели будут снисходительно улыбаться, говорить об очередном пети-же, об умолчании известного даже им, с чем сталкивался, разговаривая о предыдущих двух книгах, выслушивая сетования и поучения. Что я могу сказать, кроме того, что помимо предполагаемого читателя у меня есть Свидетель, Коему и без того ясен мой замысел, а читателя я предваряю заранее, процитировав из "Выбранных мест" Гоголя:

"...а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед, и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которую, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: "Второй том нужен теперь необходимо"? Чтобы

я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом, так же глупо, как и то, что я поторопился первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? Почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а, по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще, принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, кто даже и не знает, из чего состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как бы непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, — скажут: "зачем поторопился?"

Я все думаю о специфике книги, ее жанре, примериваю и отбрасываю форму, толкую об этом сам с собой в этой, другой тетради, с товарищами, делюсь соображениями о своей работе. А она между тем уже живет, существует, ей не нужна форма, одежда, в которую я, по тем или иным, существенным или не очень, соображениям хочу ее принарядить. Я верю, что есть в ней собственный внутренний закон, которому она будет верна. Жизнь, которой я живу, неминуемо находит себе место в этой тетради, и было бы странно, если б случилось иначе, хотя мудрено в связи с этим говорить о замысле, композиции, уточнении мысли и выстраивании всего здания.

Но это лишь в том случае, если считать собственную жизнь и все, что происходит в тебе — свою судьбу, ее логику, путь, которым идешь, — бессмысленным нагромождением случайных встреч, ничего не стоящих событий

и никому не интересных переживаний. Но если поверить в светящуюся перед тобой дорогу — все становится на свое место и каждая пустая со стороны мелочь получает смысл и предназначение.

Книга еще пишется, но уже существует, постоянно вступает в контакты с людьми, так или иначе ко мне, а стало быть и к ней относящимися. Меня действительно торопят, я слышу бесконечные пожелания и соображения, ловлю себя на том, что даже здесь, в своей с таким невероятным трудом вырванной свободе, лишаюсь ее. Это и соображения о нужности книги — сегодняшней, о важности опыта поколения, зафиксированного в ней, для читателя — нашего и на Западе; о том, что мало ли что со мной произойдет — книга может пропасть, намеки на недостаточность моего личного мужества и неготовность к предстоящему, что я, как страус, прячу голову, а не иду навстречу судьбе; вот сегодня есть возможность отдать ее в надежные руки, она улетит куда надо, а завтра такой возможности не будет; или о том, чтоб включить то-то или то-то, назвать того-то или того-то, придать форму такую или сякую, исправить сказанное или договорить недоговоренное.

И я чувствую, как соображения, не имеющие никакого отношения к делу и моей судьбе, начинают меня обволакивать, я ступаю на обочину, в сторону, пытаюсь проверять себя на страх и на мужество, на готовность к тому или иному, начинаю торопиться, подсчитывать дни, бежать куда-то, чтоб не опоздать к поезду, задумываюсь о справедливости или несправедливости тех или иных соображений: о ком-то или о чем-то я забыл, опустил, а там больше логики и характеристики, и если б сделать так, а не иначе, нажать тут и отпустить там — получилось бы ярче и точнее...

Это беда любых контактов и отношений, а что до соблазна, то не было ли трижды отвечено на три искушения в пустыне столь полно и навсегда, что нелепо задумываться о собственных аргументах по таким ничтожным поводам.

Вечер, темные окна, в печи ярко горит, трещит хворост, на стуле возле кровати кот, а на кровати старуха перебирает руками одеяло, перекачивает голову на подушке, голос у нее отчаянный: так бывает, когда сдержанный, никому своих слабостей не показывающий человек остается один и знает, что никого нет, никто не услышит: "Ужель не придет? Ох, долго как тянется время!.." Но тут распахивается дверь, он входит в клубах морозного воздуха, и ее на мгновение отпускает, хотя времени все равно уже не осталось. А он, увидев ее и содрогнувшись от ужаса, произносит вырвавшиеся по слабости, такие понятные слова: вот, мол, сбежал Бог знает откуда, преодолел, чтоб прибежать сюда, Бог знает что, мечтал забыться, вздохнуть посвободней, полегче, а тут так тяжело... Ей совсем плохо, она говорит, что ноги почти застыли — а он уже опомнился, перебивает ее, он уже понял — главное остановить ее, ему становится страшно, захлебываясь, он начинает ее заговаривать, что-то вспоминает, перебивает сам себя, набрасывает на стул веревку, берет в руки хворостину — они мчатся вскачь, вороной несет их на званый пир к королю, она удобно привалилась к спинке саней, вороной все быстрее, она слышит гулкий звон, ей становится страшно, слышится тревожный шепот, что-то тяжелые вздохи, в глазах полыхает свет... Но он снова перебивает ее, говорит о музыке и танцах во дворце — их ждут, у ворот святой Петр с ключами, он кланяется, приглашает ее, подносит ей стаканчик винца, блюдо пирожных... Он щелкает кнутом, гонит лошадь, дорога летит под копытами, но ей все трудней и трудней... "Ох, Боже ты мой! А скоро ль конец будет этой дороге? Устала я больно... Совсем затекли мои руки и ноги... Закрыла глаза я; но ты — молодец, я верю — меня привезешь куда надо..." А он говорит и говорит; вот уже виден дворец, толпа у ворот

расступилась — здесь не было гостей достойней его старой матери: "Ага! Сам хозяин — Господь милосердный! Тебе, святой Петр, от него попадет! Довольно ломаться, слуга мой усердный, пусть матушка Осе свободно войдет..." Он оборачивается со смехом — вот-вот он и сам влетит на своем вороном во дворец вслед за матерью, он уже слышит музыку, перед ним расступившаяся толпа... Он оборачивается и видит: она побелела, глаза остановились, уперлись в него, он прикасается к ее лбу, бросает веревку: "Так вот что! Поездка закончилась скоро, и может теперь отдохнуть вороной". Он закрывает ей глаза и прижимается щекой к ее губам...

Когда я впервые прочитал Ибсена? Лет, наверно, двадцать пять назад, с тех пор не перечитывал и не возвращался к нему. Но сейчас, перед тем, как написать это, открыл и вспомнил, что тогда подумалось: страшно стало, будто снова, как много раз бывало в моей жизни — накликал все, что произошло потом.

Мы жили тогда с мамой вдвоем в маленькой комнате у теток, дрова были сырыми, холодно, сумрачно, мама тяжело болела, а я читал и выходил на кухню подбросить дрова, раздувал печь, размазывал грязные слезы и знал, что успею — как Пер успел приехать в последний момент и наговорить Бог знает что — и мама улыбнется перед тем как уйдет, и в самое последнее мгновение ей станет легче, забудется все тяжкое, что у нее было.

Она всегда любила широкую постель — тахту, на которой терялась, а рядом в ее собственном беспорядке валялись клубочки шерсти, спицы, крючок, начатое шитье, вязанье, начатые и незаконченные письма, записные книжки, в которых она подолгу искала телефоны, записанные вперемежку с разными памятками и заметками о пережитом, о том, чтобы не забыть кому-то из нас сделать то-то или то-то; и тут же раскрытый новый роман или только что принесенный журнал. И могила у нее широкая. Когда я увидел ее, занесенную снегом — широкую, как всегдашняя мамина постель, в окружении

выросших за три месяца, как грибы после дождя, крестов и оградок, так и вспомнились все комнаты и квартиры, где мы жили за сорок лет нашей совместной жизни. Там всегда горела настольная лампа, ночничок, бра или копилка — здесь сквозь съпавшийся с неба снежок тускло светило солнце. Город виделся совсем рядом, подступал к кладбищу, и я понимал, что еще через несколько лет он шагнет сюда, подойдет вплотную, окружит кладбище — тот самый город, который она, не родившись в нем, так любила, где прожила с перерывами на заграничные поездки с отцом, ссылку, тюрьму, лагерь, Сахалин — пятьдесят с чем-то лет.

Я ходил вокруг ее последней широкой постели, утаптывал тропинку, пока она не стала крепкой как асфальт, а голова не закружилась, слезы не замерзли на щеках, а жуткая, всегда рвущая душу музыка, начавшаяся где-то у ворот кладбища, не подступила вплотную. Неподалеку трещали дрова, курился синий дымок и у наспех сколоченного стола весело закусывали могильщики, поджидая, пока оттаеет земля, грелись, разливая по стаканам водку, ухмылялись красными рожками, а я все шептал и шептал, что так и не успел сказать, потому что упустил мгновение, которого ждал двадцать пять лет, не досказал, что должен был непременно сказать, а потому теперь никуда не уйти от неизбежного чувства самой великой моей вины.

Не знал я еще тогда — три месяца назад, что у нас нет времени на покаяние, что возмездие и суд грянут и придут как тать в ночи.

Она заболела день в день — за год до смерти. Мы только приехали из Тарусы, я развязывал мешки, раскладывал книжки, вытащил тетради, в которых три летних месяца писал вторую книгу, и еще переполненный летом, работой, встречей с Москвой, тем, что мне предстоит, беспричинной тоской и путаницей, взял зазвонившую телефонную трубку и услышал с первых же слов — случилось, произошло то, чего всю жизнь так боялся.

Чужой, случайный голос сказал, что она больна, ей плохо, необходимо привезти ее с дачи в город, нужна сестра, врачи — больше она не может быть одна.

Она все лето оставалась одна, хотя тут же обросла людьми, по-всегдашнему любившими ее, которых и она полюбила, но, кроме того, был нелегкий быт, безденежье, чужой необжитый дом с грязными стенами, она ходила по лестнице, между деревьями, задавливая в себе просыпавшуюся боль, думала о том, как хорошо будет нам здесь всем вместе, и когда я однажды заехал к ней на час, все это увидел, мы поссорились, помирились, она пошла провожать меня до калитки, стояла, согнувшись, опираясь на палку, глядела мне вслед, понимала все и больше того, а я уходил, возвращался, чтоб проводить ее до дома, злился, что она стоит, пытался скрыть душившее меня чувство вины и не вернулся вечером, хотя в тот раз не уехал в Тарусу и болтался в Москве в пустоте и мерзости...

Ее привезли к вечеру того же дня, в комнату, куда незадолго перед тем сестра переехала, поменяв ее комнату, — чужое, с ободранными грязными обоями жилище в огромном, начала века доходном доме. Она была такой, как всегда — светлой и милой, щебетала и сокрушалась: вот я только что приехал, а она отрывает меня от семьи и работы, все у нее невпопад, но она все организует, поможет мне и нам, все у нее всегда нескладно и не ко времени...

Я вышел ночью, прошел десять шагов до угла переулка и увидел, что стою прямо против Третьего Дома Советов: широкое, как шоссе, пустынное сейчас Садовое кольцо открывало наши окна, нелепую дверь, прорубленную с улицы в детскую, дворик и часового у закрытых на ночь ворот. Сколько было за эти тридцать три года, я и сотой доли не сумел написать из того, что пришлось на ее плечи, а вот переехала всего лишь через эту улицу, кольцо, в грязную чужую комнату, и соседи в первый же вечер затеяли под ее дверь

назидательный мерзкий разговор, чтоб новая жиличка знала свое место.

Наверно, это был самый трудный год моей жизни. Так все сошлось, завязалось в узел — не знаю, смогу ли и надо ли писать обо всем, тем более задача у меня другая.

Она боролась за жизнь, ни на одно мгновение не потеряв себя, даже в те несколько дней, что была в бреду и совершенном безумии. Боль накатывалась на нее и была, наверно, невыносимой, но она оставалась такой же, жизнь вокруг продолжалась, она была ее центром: клубочки шерсти, новый роман, очки, которые терялись и находились, дела — мои, сестры, внуков, в которых участвовала, вынужденная что-то решать, беря на себя все, чем так охотно, по привычке мы все с ней делились — такие ничтожные рядом с тем, что в ней происходило. Как я порой проклинал ее силу, понимая, что слабость была бы спасительней — зная себя, она бесконечно надеялась, что все еще изменится, она встанет, потянет, как раньше, расцветая, как только боль хоть чуть отпускала, и тогда ей казалось — все еще может наладиться.

А я на этот раз знал — ей не выкрутиться. Слишком много лет, и болезнь, от которой она так поразительно все эти десятилетия уходила, ее догнала.

Врачи разводили руками, я понимал, их советы и вмешательство не имеют смысла, она обрастала новыми людьми, связями, каждый вошедший к ней сразу входил в нашу жизнь, она шла ей навстречу, пока однажды, из больницы, куда ее положили на месяц подкрепить уколами, мой близкий товарищ, врач не позвонила, чтоб сказать, что рентген открыл осеменение легких метастазами, еще через день началась интоксикация, бред, и то, что всегда было скрыто, о чем она и не подозревала в себе, не знала, полезло наружу: она перестала верить врачу — нашему товарищу, слышала, как стучат сапоги, голоса моих друзей, знала, что хватают каждого, кто

приходит к ней, взяли сестру, ждут, вот-вот должны схватить меня, писала отчаянные, страшные записки, что-то о добре, которое — она знает — все равно сильнее зла...

Наверно, тогда я и вспомнил Ибсена. Последние годы мама постоянно покупала лотерейные билеты, верила и знала, что должна в конце концов выиграть — радикально решить все денежные затруднения сестры и мои, никогда не выиграла и рубля, но упрямая надежда на чудо и справедливость, вопреки очевидности, по ее разумению существующие, заставляла ее каждый раз ждать очередную газету с таблицей. В самой противоречивости ее непонимания Замысла именно такой несправедливости была цельность, она никогда бы не смогла вместе с нищим польским раввином, о котором написал Мартин Бубер, ежевечерне благодарить Господа за предоставленную ему возможность в нищете и тяготах вырасти в полную меру. Она услышала, когда я сказал о большом выигрыше, выпавшем на ее билет, остановилась в своих страхах, бреду, потому что всегда, не видя в том противоречия, верила в чудо. Мы взяли ее домой, ко мне, в больнице было скверно, а по словам врачей оставались недели.

И чудо произошло. Кончились боли, она щебетала, уютно устроившись на моей широкой тахте, пробовала встать, вела нескончаемые телефонные разговоры, опять была центром дома, я читал ей, переписывая главу за главой, свою книгу, она жила моей и моих друзей жизнью, мы слушали музыку, которую она любила с юности... Но был, кроме того, рентген, боли возвращались, поток морфия, который нам доставляли со всех сторон, вливался в нее, сгорали шприцы, неделя надежды сменялась отчаянием и пониманием того, что конец неизбежен.

Я уже не верил, что на сей раз ей повезет, знал — это конец, понимая, что именно этим гублю ее, даже не оттого, что она меня слышит — она бы никогда не поверила, что я сдался, хотя и сказала однажды: "Вот и ты уже не

веришь, что я встану”, — а потому что всю жизнь удерживал ее убежденностью, что при мне этого не случится.

А жизнь между тем продолжалась: началась и кончилась зима, пришла весна, лето... В доме не было и не могло быть покоя, а мы так привыкли, что можно ее не шадить, что и не щадили, и она по-прежнему брала на себя самые тягостные разговоры, решения наших проблем, и разу не позволив себе слабости, что-то не поняв или напутав.

Когда-то давным-давно, при конце ее времени Владимир Сергеевич Сергеев — товарищ отца, известный историк, по всей видимости, более чем равнодушный к маме, подарил ей перед ее высылкой из Москвы книжку, кажется, вышедшую у нас тогда только что — “Опасные связи”, которую она читала в Архангельске нашей квартирной хозяйке. Сергеев и его жена Наталья Николаевна написали на титульном листе трогательно и старомодно: “Маленькой героине большого романа”. Какая долгая и тягостная жизнь была у нее потом, каким большим оказался этот роман: все было еще впереди, а кой о чем я все-таки написал, не сумев передать главного, поразительной цельности этого характера — в любви, доброжелательности, такой естественной самоотверженности, что и подвига никакого не было в ее жизни — всю жизнь она служила близким, как воду пила.

Что говорить, быт был трудным, меня съедала собственная беда, необходимость ломки всей жизни, происходившей все равно и без моего участия, я делал выбор, сделанный во мне уже без меня, но и осознать произошедшее было не так просто, закосневший в неразвитости разум отстает от жизни сердца, разрыв этот мучителен, а слабость, суэта и житейские обстоятельства слепили глаза, я принимал совершавшуюся рядом каждое мгновение непостижимую борьбу как нечто без меня происходящее, привыкал, продолжал получать и тратил, черпал из бездонности ее доброты и самоотвержения, эгоистически и легкомысленно откладывал

и откладывал, убежденный, что успею — тоже как воду пил, не задумываясь о цене того, что расплескиваю.

А она все понимала, прощая, я так привык к этому, что только отмахивался, позволял себе шутить, хотя, наверно, задумался бы, если б кто-нибудь разрешил такое по отношению ко мне, рассчитывая на мою силу и понимание.

Были друзья со своими делами, казавшимися такими важными и первоочередными, моя свобода, о которой так пекся. Откладывал и откладывал открывшуюся, дарованную мне Господом возможность глядеть и слушать — видеть и слышать совершавшееся подле меня, просто сидеть за столом напротив, работать, поглядывая на нее, поправлять подушку. Я уже работал на кухне, забывая понимать, как это ей тяжело — лишила меня стола, комнаты, как тягостно каждое мое появление с водой, лекарством или тарелкой супа, а чем дальше, тем ощутимей становилась наглядность моей заботы, вызывая сокрушение о ее несомненной для меня тягости.

Как просила она последние месяцы посидеть и поговорить о чем-нибудь, послушать и что-то сказать, но я привык к тому, что успею, не опоздаю, как привык к ее поразительному всепрощению и долготерпению, пониманию юмора, проявлениям моей слабости — грань эгоизма стиралась, была ничего не стоящая забота, все как положено — не в чем упрекнуть.

А кроме того, она невольно становилась участницей происходящей в доме драмы, списывала ее на себя, подтачивала свои силы, ломая неподдающуюся цельность, веру в чудо и надежду, дарованную Богом, Которого была уже не в состоянии понять и принять — жизнь была прожита, а на новую не оставалось времени.

А еще сестра с нескончаемостью своих бед, так глубоко зашедшим различием, что и понять друг друга стало невозможно. И я, чувствуя себя без вины виноватым, знал всегдашнего союзника, готового понять и поправить

в крайностях, обращался к ней, сестра громоздила свое, определившиеся на ее глазах, казавшиеся непреодолимыми расхождения совсем ее сокрушали, она сердилась, а я ловил ее на ее слабостях, безжалостно на них указывал — и она останавливалась, понимая мою эгоистическую справедливость. Это было ей особенно тягостным — никогда не знала за собой ничего плохого, недоброго, а тут вдруг о ком-то подумала плохо и недобро. "Господи, неужто я так и умру, оставив вас в такой страшной вражде друг к другу... — сокрушалась она. — Я вижу, ты прав, а я уже что-то не могу понять..." И я не всегда находил в себе силы услышать ее, остановить, упивался собственной правотой...

А еще был внук — мой племянник Мишка, ее последняя высокая привязанность, она отдала ему всю силу своей любви и глубину натуры — с его драмами и навсегда зажженным ею светом.

Еще неделя, думал я, доделать то-то, выяснить что-то, съездить туда-то, а потом переберусь за свой стол, не отойду от него, все время будем вместе... Она еще пыталась встать, страшно мучилась, когда я носил ее на руках, светлела, пройдя самостоятельно по коридору, а я не мог видеть этой не сдающейся, не существующей плоти, живущей не знающим слабости духом, детской наивной убежденностью, что она может все. Но она уже не могла, я понимал это, а потому с ужасом ждал мгновения, когда она поймает — и это будет концом. Сидел на кухне, за своей чепухой — работой или телефонным разговором — слушал, как все ближе и ближе стучит ее палка: она закрывает кухонную дверь, чтобы не мешать: "Все в порядке, все в порядке, я сама, сама..."

Так, наверно, было и в то утро, когда в последний раз она вытащилась в коридор и, трясясь, скорчившись — сама, опираясь на палку, маленькая и бесплотная, подняла на меня глаза и сказала: "Светик, ну хотя бы какой-то конец — в ту или другую сторону, я больше не могу..." Все-таки — в ту или другую! Потому что

и тогда, в полном отчаянии, ждала и надеялась, что это тем не менее не произойдет.

А ведь были страшные боли, когда не могла поднять головы, но стоило утром стать полегче, глаза у нее светлели, начинала щебетать, а у меня мелькала, тут же уходила и словно бы ее не было, но я-то знал, что мелькала, мысль, что опять, значит, оттяжка. И стало быть, я убивал ее, сам убивал — нет и не может быть разницы между таким и действительным убийством, и наверно сказано, я не знаю об этом в своем невежестве, но должно быть сказано где-то: это страшнее и преступнее прямого убийства.

Она вернулась к себе, я помог ей лечь, и тут до меня дошло, что ей совсем-совсем плохо. "Мне очень нехорошо, Светик". — "Но так уже было, мама, потом станет полегче, погода меняется, понервничала, все наладится, увидишь, лето кончилось, все вернулись, полон дом, тебе будет повеселей..." — "Вот-вот, вернулись, а я лежу как колода, занимаю полдома, никакого толка — надо кончать!" — "Перестань, — сказал я, видит Бог, не было у меня ничего постороннего, да и не до того стало — и мы были вместе. — Перестань, все наладится, этот год будет другим, я не уйду отсюда никуда, мы будем постоянно вместе. Ты еще не выходила из нашего нового дома: в двух шагах Страстная площадь, бульвар, на нем я гуляю с Мартом, ты всегда так любила эти улицы, пойдем вместе, чуть станет получше, помнишь, какая была у тебя легкая, подпрыгивающая походка, помнишь, как ты быстро ходила, все останавливали тебя, не могли приноровиться, а ты не умела — не могла ходить медленно! Вставай, будешь ходить по магазинам, хватит лежать..." — "Слишком поздно, Светик, — сказала она. — Устала я. Слишком поздно..."

Потом я ушел по делам, ничтожным, жалким, ей стало хуже, она заснула, уже не приходила в себя, я был убежден, что ее можно разбудить, но она не проснулась в обед и к ужину, мой товарищ-врач, приехавшая

вечером, сказала, что ее нельзя, не нужно трогать, что в таких случаях в больнице — они просто ждут, но я просил, настаивал, ей сделали сердечный укол, она не отвечала, хотя мне казалось, слышит меня, ночью я спал рядом, поил ее, вливая в уголок рта, она глотала, а утром, с рассветом стал будить — еще и еще, она услышала, открыла глаза и плотно закрыла их снова.

И опять побежало время — час, два, три. "До свидания, бабушка!" — крикнула моя дочь, убегая первого сентября в школу, а у нее мелко-мелко задрожало плечо, я вышел покурить, не мог больше, а когда вернулся, ее уже не было, и застывшая маска на месте ее лица, за минуту до того полного живого страдания, никогда не забудется: никто не скажет мне — не открыла ли она глаз, не искала ли моей руки, не позвала ли меня и не сказала ли, прощаясь, что-то, чего не могла не сказать, улетаая совсем.

7.

Ночь, деревья подступают к самому дому, ничего не видать, только далекие фонари выхватывают летящий снег, под ним перекрещиваются, колеблются, шагают тени, и я заметался в тишине, почувствовал, что приходит пора перестать разговаривать...

"Мама! Если б ты знала и предположить могла, как я виноват перед тобою, как невозполнимо, навсегда виноват перед тобой! Ты простила бы меня, я знаю, но я никогда не смогу себе простить. Никогда. Никто не поймет и не сможет понять нашей близости, а ты в полном отчаянии говорила, что и ее уже нет. Господи, если все-таки есть Ты на свете, если есть Правда и Справедливость, покарай меня, но пусть она узнает, что я бесконечно люблю и горжусь ею. Люблю, всегда любил, понимая, что она во всем простит. Услышь меня, мама, я здесь:

говорят, есть жизнь Вечная, ты должна быть Там со всем, что в тебе — а ты прекрасная, я знаю это...”

Может, мне тогда стало легче, может, еще невыносимей, но я записал, переписываю сейчас, хотя в ту ночь не знал давних слов св. Исаака Сирина: “Не дерзай называть Бога справедливым: если бы Он был справедлив, ты был бы уже осужден”.

А жизнь между тем проста, естественна, но требует трезвого понимания. А мы так привыкли к ее внешности, так не умеем слышать себя, помнить о Свидетеле каждого душевного движения, Которого не обмануть, так путаемся в собственном даже искреннем сокрушении, словно все еще имеем дело с ЖЭКом, заносщим в домовую книгу сумму наших платежей, обязанностей и невыполненного долга.

Но разве так просто человеку, родившемуся у нас и прожившему всю жизнь в таком ЖЭКе, однажды выбраться из него, увидеть Свет Божий, зажмуриться, а потом открыть глаза и засмеяться от счастья — от того, что все хорошо и не может не быть хорошо. Вот солнце осияло золотые сейчас сосны, дятлы стучат, не боясь мороза, белка взлетела и скрылась на березе, только качается, роняя снег, потревоженная ветка, глухая бездомная собака белым призраком скользнула между деревьями, а Марг сопит, ухом не ведет, прикрылся мохнатой лапой.

Можно ли бояться жизни, пугаясь ее радости, если вся она освящена мудростью этого дня, чередующегося с ночью для того, чтобы мы осознавали себя в себе же?

Что же такое покаяние — его глубина и искренность, высота и неимоверность открывающегося в нем подвига? Отец Павел Флоренский рассказал в “Столпе” о “звезде евангельской”, “печальнике за всех, за людей и скотов и даже за червей” — авве Яфкеране абиссинском.

Однажды авва Яфкеран и его друг авва Захария встретились на озере Азаф — “чтобы утешить друг друга, ради величия Божия”. И пошли по озеру как по суху силою Господа Бога своего. И, встретившись среди

озера, облобызались духовно. Снял авва Захария свои сандалии и отряс прах с них; снял и авва Яфкеран свои сандалии и сказал авве Захарии: "Брат мой возлюбленный, почему мокры мои сандалии? Скажи мне, прошу тебя, о возлюбленный мой". Отвечал авва Захария: "Отче, встань, помолимся Господу Богу, да откроется нам, почему влага в сандалиях твоих". Они встали и помолились. После молитвы сказал авва Захария авве Яфкерану: "Отче, не за изрядство мое явилось мне, а ради великой молитвы твоей. Сандалии твои омочены водой, потому что ты скрыл плоды ячменя, чтобы не съели их птицы, тогда как Бог милосерд и помышляет о всей твари и дает ей пищу. Поэтому-то и оказалась влага на сандалиях твоих".

8.

Как связать все разбежавшиеся концы, распутать клубок, вытянуть ниточку, и не идти обратно по ней от узелка к узелку, добираясь к началу — зачем? — там все заговорено и лица не увидишь. У меня иная задача — она не в том, чтобы пытаться отличить поражение от победы.

Это, как прививка, а вакцина была лошадиная, не пожалели: выживет — хорошо, нет — что ж, быть может, к лучшему.

Но я выжил и свидетельствую.

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением... (Песн. 9, 6—7).

Можно и остается ли добавить хоть что-то к словам Пророка? Или снова, как и тысячу раз было в моей

жизни, это опять преувеличение, тщеславие, инфантильность? Но кто влезет мне в душу, вымерит и взвесит — или я не умирал и не горел в преисподней, не был на краю, отдавая все отпущенные мне силы? Но если так — кто вправе улыбнуться над моими словами или мне не поверить?

Я пугаюсь и поражаюсь тишине в душе, я столько лет держал себя последним напряжением, боясь отдаться чувству самозащиты, горя и сгорая, и никогда б не написал того, что пишу теперь, потому что разве увидишь хоть что-то из преисподней, кроме огня всесжигающего. И реки пролились, и торга быть не могло, ибо все, что у меня было, все мое существо — ничего не значило для меня.

Так ли это, с другой стороны, потому что здесь мне и предстоит выяснить до конца то, что являлось камнем преткновения все эти десять-пятнадцать лет, а поскольку любовь, по утверждению В.С. Соловьева, есть преодоление эгоизма, то удавалось ли мне хотя бы встать на этот путь, ибо преодоление — процесс, а не нечто найденное однажды.

Отдавал ли я все богатство дома своего? Словно бы да, потому что в моей душе не могло быть торга, а все прочее только скользило, не задевая. Но как же тогда получилось, что я так много успел для себя — можно ли было так преуспеть, не проявляя эгоизма? Конечно, брал, не думая, отчета не отдавал себе в цене того, что мне так легко открылось.

Молодость и замороженность служат мне оправданием, искренность непонимания ответственности не дает права обвинять себя. Я перед собой чист, но существует некая нравственная презумпция вины, по которой если человек мог бы (пусть теоретически) предположить, что именно это может случиться — пусть он не знал, но если мог бы знать, то он соучастник преступления и правовая непричастность его не оправдывает — у него нет алиби. А потому, чистый перед собой, я бесконечно

виноват перед той, кого любил всей душой и сердцем, помыслами и существом, но иссушал и подтачивал силы, не зная об ответственности не только за себя, но и за того, кто и в мечтах был всегда рядом.

Была обыкновенная жизнь — я написал о ней, был быт, не стоящий подробного изображения в силу его ординарности, тяготы, ничего не значащие по молодости, жажде жизни, легкомыслию и вере в себя. Благодаря всему этому и жилось неплохо. Изначальная, ошеломившая меня однажды и навсегда близость при полном внешнем различии и расхождении открывала чудо и счастье совместного постижения мелочей и высоты, на которую никогда бы не отважился взглянуть в одиночку. Невозможное давалось само, голова кружилась от высоты, исчезало, словно не существовало его никогда, страшное чувство покинутости, силы удесятерились и душа жаждала подвига. Но была, кроме того, страсть и все ее безумие, огненные стрелы, вздымаемые вихрем и зноем воображения, превращали в преисподнюю каждое из жилищ, в котором мы поселялись — единственную комнату в большом коммунале, квартиру с осклизлыми, промерзавшими насквозь стенами, роскошное многокомнатное жилье в модном экспериментальном доме. У меня снова не хватает сил перелистывать дневник, где чуть не каждая страница кричит мукой смертельно раненного и ковыряющего свои раны человека, так что и понять не могу, как удавалось быть тем не менее тем, кем был, а потому следует задуматься о мере искренности, объективно существующем эгоизме, поразительной жизненной силе, автоматизме самозащиты. Здесь не было мужества и слишком мало терпения, не было и намека на широту всепрощения, только невольная, неосознаваемая зависть к кому-то порой вполне абстрактному, порой видевшемуся достаточно, как казалось, конкретно, прямое тщеславие, упрямый эгоизм, постоянное раздражение мелочами, бесконечное примысливание любого, самого отвратительного, по тогдашнему моему

разумению, зла. На этом позорном пути были свои мелкие радости, подтверждавшие изощренные подозрения, неспособность понимания и сострадания, полное отсутствие житейской мудрости, дающей возможность отмахнуться и не заметить. И все это завязывалось, закручивалось — солнца не видел в самую жаркую пору, а мороза не замечал, когда сводило обмороженные в юности пальцы.

А кроме того, выросстал человек, столько лет ощущавшийся помехой, хотя пророс в сердце и только перед собой могу говорить о ничем не подтверждаемой любви к нему, о необъяснимом чувстве близости, знании о ней вопреки фактам, о внутренней связи, убежденности, что протяну руку в самой крайней крайности и на плечо обопрусь. Но это была живая и слишком сложная для тогдашнего моего разумения жизнь, не угаданная и упущенная, прямая, ничем, кроме собственной эгоистической слабости, не оправдываемая, главная перед ней вина — факты житейские, случаи и эпизоды, неумение заметить обращенный или не обращенный ко мне взгляд, протянутую руку.

Попросту говоря, рос в доме мальчик — непростой, с жизненной силой, чуждой и непонятной мне, в примитиве своем полагающему, что все происходит само собой, а моя правда и сам собой складывающийся мир — единственно верный и возможный, если думать о добре. Не знал и не подозревал все эти годы о существовании тысяч и тысяч дорог и тропинок, ведущих к тому же; жадность к жизни, страсть, любовное безумие, увлеченность собственным делом — не оставляли времени и душевных сил на нечто вырастающее рядом... Мудрено было разбудить дремлющую совесть, убаюкиваемую внешним проявлением доброты и столь же внешним исполнением долга.

Одно из бесконечно тягостных воспоминаний.

Сырая зимняя ночь, за тонкой стеной перегороженной на пеналы квартиры спит ребенок, громко сопит нянька, а

мы не спим, слушаем каждый звук за окнами, выходящими в убогий московский дворик, одна сторона которого — заводик, засыпающий вечером, а другая — ряд сараюшек. Мы молчим час, два, три, распаяя себя против выросшего рядом другого существа, обвиняя в неблагодарности — такой естественной у подростка, в не менее естественном отсутствии заботы и уважения к нашей жизни, в распущенности — вполне обыкновенной для этого возраста, обвиняем себя в слабости и потворстве, думать позабыв о другой жизни со своим правом и правдой, о собственных чувствах вины и обязательствах.

Старая задубевшая дверь предательски стукнула, когда все-таки задремалось, мы выскочили в узенький, не повернешься, коридорчик-кухоньку, ослепленные одним, все захлестнувшим чувством торжества, справедливости, дорвавшейся до возможности вершить расправу.

Что ощутил сам преступник, сто раз, наверно, дававший сам себе слово и его бесконечно нарушавший, очередной раз позабывший обо всех своих обещаниях, попавший в очередную, по собственной вине и беде, передрыгу и не сумевший из нее вовремя выкрутиться, а теперь, ночью, в своем доме, куда крался, боясь дышать, предательски хлопнула дверь — и он услышал шумное, пышущее негодованием дыхание? Как удивительно, что столь элементарное стремление поставить себя на место того, кого так легко судишь, приходит в голову спустя время, которое ничем и никогда не вернешь, когда оно становится так трудно давшимся опытом, наукой, дающей возможность через десятилетия остановить разгоряченную собственным воображением "справедливость" — повернуться на другой бок: "Слава Богу, вернулся живой!.."

Как горько понимание ушедшего — чего никогда не вернуть, и как надеюсь на чудо, на то, что однажды все еще вернется и будет иначе: я стал другим, а ты чтоб

была той же. Но это невозможно, потому как нельзя дважды войти в одну и ту же воду — и вода другая и ты иной, и если время пребывает вечно, то мы движемся в нем неостановимо.

Я думаю сейчас трезво обо всем, что прошло; вся эта неистовая борьба и соревнование, игра, ставшая жизнью, превращенная в игру, этот десятилетие длившийся марафон на истощение на моей совести, и его нет возможности оправдать молодостью, замороженностью, инфантильностью, страстью, непреодоленным эгоизмом, правдой момента и конкретной справедливостью. Никогда и никуда не уйти от горящего знания презумпции моей вины, себя и тебя, идущих сквозь время, и невозможности хоть что-то исправить и восстановить — восстановить не в наших силах.

Да, я стучался в дверь, которая, как мне казалось, однажды наглухо передо мной захлопнулась, не боялся унижения, а торга не было в моей душе; я порой думал не о себе, а боролся, случалось, только за тебя. Но учитывал ли, всегда ли понимал иную правоту и правду, рвущуюся к осуществлению собственного предназначения, понимал ли, в чем и где поле, почва для его истинного осуществления? Нет, разумеется. Хотя, оставаясь верен своей правде, — в чем-то помог, быть может, или сумел остановить вовремя, в последнее мгновение.

И сохранил навсегда живущую во мне нежность и благодарность, изумление перед любовью и готовность к самопожертвованию, которая никак не может быть ответом, но всего лишь радость и счастье. Не знал я все эти годы слова апостола Павла, а знал бы, наверно не услышал, не был готов, но теперь знаю, слышу, они не могут быть умалены таким утилитарным прочтением: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится..." (1 Кор. 13, 4—8).

9.

Я увидел его впервые в маленькой комнате своих добрых знакомых: он был мне настолько непостижим, так чужд миру, горевшему тогда во мне, что не услышал ни одного сказанного им слова, не запомнил выбритые до синевы щеки, четкий профиль с выдвинутым подбородком, поразительно красивые глаза, неожиданно мягкие в густых ресницах, и женщину с ним — из заграничного фильма.

Увидел, забыл, пропустил мимо ушей все, что мне про него рассказывали — самая пора была, наше время: писались и подписывались письма, доживал свое "Новый мир", кого-то откуда-то исключали, кто-то расколосся, кто-то устоял...

Прошло еще полгода — увидел на завалинке, в городке на берегу Оки: тихого, в черной бороде, слишком красивого; обратил внимание сосредоточенной тишиной, внутренней — другая, непонятная, ненужная мне жизнь.

А еще дней через десять он подошел ко мне сам. И снова был другим: открытое лицо, студенческая простота, доброжелательность, остановивший меня ясный интерес ко мне.

Остановил, а потом снова забылся — пора была такая: лето, Ока, танки вошли в Прагу.

Потом увиделись в Москве — раз и другой, случайно и на бегу, потом все чаще и уже не случайно, потом тесней и ближе. Потом не пойму что произошло, а записал в дневнике в тот самый осенний день, когда начал книгу: "Наверно, самое важное из того, что было и есть в нравственном отношении, самое существенное для меня

и далеко идущее — Е. Ш. — с его книгой, с ним самим. Так получается и так счастливо ясно, что высота, открывающаяся в простых евангельских нормах, и дает возможность жить. Дает свет и покой”. Был октябрь 68 года, шел суд на Яузе, разгар и крушение нашей поры, книга началась с финала, раскручивалась назад, чтоб вернуться к словам, которые жили во мне, а я и не знал об этом.

Ничего не стоящая, но что-то тем не менее говорящая подробность: я записал эти слова и начал книгу — в Отдыхе. Марту еще не исполнилось года, вздыхал за спиной, только за окном был не снег, как теперь, а сыпались желтые листья. Прошло три года, пока я вернулся сюда кончать книгу.

Он сделал невероятно много для меня, и когда теперь пытаюсь оглянуться назад, поражаюсь разнообразию в каждом из поворотов наших отношений.

Если б я писал о нем в первых двух книгах, наверно попытался бы набросать его портрет, стараясь быть по возможности реалистичным, ибо полагал свою задачу именно в таком изображении, не понимая, что вершу суд, фиксируя и останавливая каждое мгновение меняющуюся, живую личность.

Было бы из чего лепить портрет, от одного сюжета нелегко отказаться: университет, армия, офицерство, Венгрия в 1956 году, танки в Будапеште, Ленинградское театральное училище, громкая слава блистательного режиссера, спектакли, статьи о нем и в связи с ним, фильм... — и вдруг тишина: совсем другие книги, философия, богословие... ”Если Венгрия дала нам Е. Ш., — сказал мне в августе 1968 года один поэт-острослов, — кого же даст Прага?”

С чувством стыда и удивления я вижу череду дней, в которых пребывал как бы во сне замороженности и сомнамбулизме, живя только внешне, исполняя свои обязанности, проявляясь как муж, отец, товарищ, литератор, гражданин — являя собой образ современника, оставаясь между тем механической куклой, тростью, как

сказал бы Киркегор, с мочалой вместо волос на голове, реализуясь в инерции литературно-интеллигентской общественной жизни. Только сердце стучало, начинало щемить, напоминая о себе. Я читал замечательные книги, не понимая предназначения их авторов, прекрасные стихи звенели во мне, их гул завораживал колдовством, а я не в силах был проникнуться их истинным смыслом; я бывал на художественных выставках, в галереях, восхищаясь разноцветным гулом, запоминал сюжеты — не видел света, исходящего с холстов.

Таковыми я запомнил долгие вечера у себя дома между шумным современным гусарством и нервными, пустыми в сущности разговорами о происходящем — и неожиданную тишину за столом. Я еще долго воспринимал ее передышкой между чем-то, что мне важно и обязательно. Я слушал и не слышал глубокий и страстный голос, воспринимал говорившееся все тем же гулом, усыпленным, как шум дождя. Но он звучал неостановимо день за днем, слова, которым бы я несомненно противился, если бы воспринимал их активно, поняв сразу, неосмысленно оседали в сознании, одно подле другого, а потому спустя время, когда жизнь заставила остановиться и, прожив всю предыдущую биографию за три года, ее осознать — оказалось, что они — эти слова, уже живут во мне, проросли корнями, пошли в рост — стали своими. Оказалось, что я уже давно всем сердцем знаю дорогу, которую продолжал искать ощупью, и свет мне светил, а я о нем ничего не знал, и любовь жила во мне, а я о ней не подозревал. Но именно поэтому не был ожесточен, а только изумлялся и радовался: мое собственное, дорогое только мне, прожитое — и без того сияет вокруг!

Это потом вспоминалось, выстраивалось в долгую и мудрую в своей неслучайности цепочку, а сначала лишь удивляло иным качеством доброты. Мы все и так, словно бы, любили друг друга, готовы были помочь. Но существовала весьма сложная иерархическая лестница взаимных одолжений и помощи. Мне всегда бывало

нелегко попросить о чем-то людей близких — о мелочах, не стоящих разговора. А здесь помощь приходила сама: просто открывалась дверь, он протягивал руку — это было само собой разумеющимся. И я хватался за нее. Мы ехали из одного конца города в другой, из больницы в казенный дом, самый тяжкий разговор, к которому готовишься, не решаясь начать — так сложно бывает огорчить ближнего необходимостью соучастия — становился простым. Меня еще долго поражало именно иное качество элементарного, такого естественного добра. Оно не было товариществом, мундиром интеллигентской порядочности — сводом чуть ли не аристократических правил, славных и обнадеживающих, но демонстрирующих всего лишь воспитанность, способность равнодушно-механически одарить тем, что самому, в конечном счете, не нужно. Я еще долго не мог этого понять, не умел связать слово и дело, не видел живого, излучающего свет мирозерцания, никак не книжного и схоластического — по вере и исповеданию, по жизни.

Не то чтобы я был очень тверд в собственном мирозерцании и убежденности — они являли собой невежественное легкомыслие и столь же поверхностный скептицизм, стыдящийся истинного проявления. Но заставить меня услышать или, с другой стороны, чем-то удивить — было непросто. С младенчества (с детского сада) идущая порча тушит у нас, задавливает всякое поползновение самостоятельной — иной мысли, мы действительно принципиально стыдимся проявления истинности чувств, это становится привычкой, воспринимается натурой, а дальше человека окутывает облако прагматизма — не достучишься... И тем не менее, однажды, сквозь однообразный шум дождя и монотонный гул, осевший во мне, я увидел человека: мы стояли в битком набитом автобусе, сквозь стекла в измороси мелькали пятиэтажные новостройки хрущевской окраины, дальше открылись желтые корпуса больницы за решеткой — и разговор с парнем, который я вдруг услышал со стороны:

простую, в сущности, беседу с юношей, попавшим в беду, но я впервые услышал, понял органичность слова в естественности дела. Я увидел себя, стоящего подле на лестничной площадке возле двери со стеклом, замазанным изнутри белой краской, в окружении женщин с кулками и свертками, растерянного парня в серой больничной пижаме... Не было никого из друзей, с кем столько вышито, переговорено и решено вполне героического, с кем видел себя вместе и рядом — до вымечтанной скамьи подсудимых включительно. Там мы быть может и были бы рядом, но тут, в тот промозглый зимний день, в больнице, на лестничной площадке, куда привела меня моя собственная беда, их почему-то не было. А он сделал это так просто, в таком соответствии с пересказываемыми мне высокими словами, что я впервые услышал их, понял еще самое малое — о добре, совершаемом во имя значительно большего, чем товарищество, взаимопомощь или взаимное одалживание.

Как радостно вспоминать о совсем близкой поре, когда книга только рождалась, жила, я заполнял страницу за страницей, убежденный не в праве судить, которое увиделось кое-кому из моих друзей, но в праве требовать, что, по моему тогдашнему разумению, положено было мне, как и в с е м, осознавать себя в мире, пытавшемся так или иначе сломать меня или приспособить; обвинять мир в преступности покушения на мою свободу, которую я видел только в правах внешних, удивляясь непониманию искренней готовности отдать себя другим. Как важны были именно тогда — в те годы встречи и разговоры с Е. Ш., высота, открывавшаяся в них, воздух, разреженный и звонкий, я сам, получивший возможность узнавать себя при ясном свете дня.

”Так вот, эта книга, — писал он мне о книге первой, — мне представляется также своеобразным ”продуктом”, ибо вся она, на мой взгляд, есть книга о п р а в а х, а не книга об обязанностях. Отсюда острое чувство нарушения и попирания правосознания и справедливости, но

справедливость ведь есть лишь практическое приложение цельного мирозерцания. В этом требовании прав, политических ли, или требований ответной любви на любовь героя, есть для религиозного постижения более тонкая, но все та же, к горечи, безнравственность, ибо нравственность сопрягается с самоограничением, требование заслуженных прав есть акт политический, акт общественного деятеля, но не акт абсолютной нравственности. Отсюда, на мой взгляд, сильно обедняющая ценность исповеди как документа, поверхностность в отношении к чужому горю, низведение жутких для другого обстоятельств к простой морализирующей формуле кружкового общественно-гражданского мнения...”

Спустя год он прочитал вторую книгу, и я получил еще одно письмо: ”И тебе надо осознать до конца, — писал он, — что детскость сердца, опыт вечного детства сердечного — истина, которую надо утверждать для других... Детскость сердца — это не инфантильность, а мудрость, ибо инфантилизм есть свойство ума, а не сердца. Здесь книга несколько уязвима, ибо весь спонтанный ее ритм утверждает априорное ведение сердцем добра, как изначальной сущности, не сводимой ни к какой иной, кроме изначальной и вечной Любви Божией, но словесно порой утверждается и умственный инфантилизм. Это чревато вот каким парадоксом: для твоего вечного взросления, оказывается, *необходимы* страдания, ибо, конечно же, герой первых страниц и последних несопоставимы по ценности. Стало быть, для твоего умственного взросления ненавидимая тобой среда была удивительно полезным училищем. Здесь тебе надо это очень хорошо понять, чтобы не забывать слов о жителях, просивших Христа отойти от мест их! Чтобы прийти к Христу, закон Которого так ясно написан в твоём сердце! Но Бог должен быть и уразумеваем: будьте просты, как голуби, и мудры, как змии. Книга говорит вне зависимости от тебя, что весь опыт страдания был нужен тебе: подумай, быть

может, здесь лежат семена эпилога. Если бы это произошло, если бы пружинящий зов изнутри развернулся в тебе, то как было бы хорошо для многих, и для тебя!”

Я помню, что отложил это письмо, спрятал подальше, и, наверно из чувства самозащиты, попытался забыть о нем, понимая, что еще не пора — не следует торопиться, если ждешь истинности.

Путь, открывшийся мне, был не легок, не прост, явился не из книжки. Путь к тесным вратам спасения пролегает через отчаяние, непонимание, разрывы, утраты, и только некий свет, по слову Пушкина, единственная мета, указывает тебе, что ты не сбился с дороги.

10.

.....
.....
.....

11.

Теперь мне предстоит поставить точку и завершить наконец так долго не желавшее заканчиваться повествование. Ощущение необходимости распрощаться с ним сейчас столь же естественно, как три года назад потребность начать эту работу. Остаются завершающие слова, без которых будто бы нет и всей книги. Так в затянувшемся шахматном чемпионате, когда позади сотни партий между десятками гроссмейстеров, остались двое, у них назади — двадцать три — а счет ничейный:

сегодня, сейчас последняя партия все решит — будто не было, да и ни к чему многотрудная скачка — начали б сегодня и кончили.

Наш день начинается первым лучом света, проникшим в окно. Март кладет мне на плечо мохнатую лапу, и я открываю глаза, вспоминаю все разом. Он повизгивает, пока я одеваюсь, и так счастлив бывает утру, тому, что я тут же откликнулся, морозу, гремящему под ногами, стуку дятлов, дружно берущихся спозаранку за свое дело, снегу, в который кидается, как в реку с крутого берега.

Потом я вхожу в дом и сквозь треск пылающих уже в печи дров различаю поскрипывание холста под мастихином. Картина возникает не медленно и не быстро — у нее свои сроки, как у всего в Божьем мире, и я понимаю, что Эд не в силах ускорить или затормозить ее. Я увидел, как она рождается, возникает в линиях и штрихах, наполняется светом, проступающим изнутри холста. Для меня это очевидно, я ловлю себя на том, что заглянув за мольберт, всякий раз поражаюсь пустоте изнанки. Свет наполняет холст — ничто само по себе не имеет цвета, и я понял внезапно, что ведь и то, что мы понимаем о мире, понимается нами лишь потому, что освещается проникнувшим нас все тем же светом. Я увидел, как то, к чему я все шел и шел, оступаясь, путаясь и сбиваясь с дороги, открывая в себе сам, вычитывая в подброшенных, возникавших на столе книгах, встречаясь с человеком, которого, не зная, так жаждал увидеть — все это является на моих глазах на холсте с такой простотой и естественностью, что лишь для других представляется некой условной формой, а на самом деле единственная возможность существования моего товарища.

Все, над чем я бился, пытаюсь стряхнуть с себя годы привычки, дешевого скептицизма, невежества и

заскорузлости, направленной в бессмысленность мысли, ничтожного, но такого заманчивого пути красивого и чистенького преуспевания, весь тяжкий до отчаянности, страшный в своей необратимости опыт; все, о чем долго и утомительно повествовал в своей книге, рассказывая, через что надлежало пройти, чтобы поверить и услышать, увидеть и почувствовать, а как выяснилось, оно всегда жило и дышало во мне под спудом чужого и случайного, — открывается здесь так просто и гармонично, что кажется — холст колыхается от проникающего его света, являя внятность любой, самой сложной мысли или ощущения.

Картины рождаются передо мной день ото дня, одна за другой, наполняя все вокруг светом, и сегодня, когда к концу подходит и моя работа, меня переполняет благодарность художнику, ибо реально ощущаю, как свет, исходящий с холста, не просто наполняет комнату, но проникает в меня.

Мне показалось, почудилось — я увидел, услышал, понял ценность, неповторимость всякого душевного движения, я почувствовал всю меру неспособности передать словами глубину каждого из этих движений, здесь недостаточно человеческого мастерства, а буквы, слова, фразы могут только свидетельствовать об увидевшемся однажды свете, но неспособны сказать, как он длится, взвесить и измерить его, передать непостижимое ощущение счастья, которое в нем содержится. Но сейчас я забыл об этом и меньше всего хочу жаловаться на несостоятельность литературы: так все задумано — подлинное не может стать предметом какой бы то ни было, даже самой высокой человеческой спекуляции.

Я увидел вдруг, во внезапном озарении, все, на что понадобились три года работы, — сорок четыре года моей жизни, всех, кого любил, терял, находил снова, кого потерял совсем и навсегда. Я почувствовал совсем реально, до боли и стеснения в груди неискупимую

вину перед самыми близкими, о ком писал все теми же буквами, не умея выразить сути, перед теми, о ком не написал, но навсегда сохранил в сердце слово дружеского участия, протянутую руку или оставшуюся во мне страсть.

Эта память живет сегодня в моем сердце, она реально ощутима — опыт утрат и крестов, выросших на политой слезами и кровью земле, которой навсегда принадлежу. А потому так просто одновременно представить себя мальчиком в Третьем Доме Советов, греющим руки у раскаленных изразцов, прислушивающимся к раскатам громающего в кабинете отцовского голоса; маму, по другую от нас с сестрой сторону за лагерным частоколом, с навечно живым и ясным лицом; любовь к женщине, чья красота воспринималась прежде прямым наваждением, а теперь ощущается светом, возвращающим меня к жизни; и чудо нашего продолжения в смешной длинноногой девочке с прозрачными глазами. Так же сразу и одновременно я вижу свой путь — бегство от себя и свое к себе возвращение сквозь череду дней и лет, сквозь все свои заблуждения, ошибки и неискупимую вину перед близкими. Прости меня, сестра, за самоуверенное нежелание понять твою тягость: упиваясь собственной, конкретной, ничего не стоящей правотой, я судил и судил тебя, позабыв о благодарности за неизменную любовь ко мне, зная не зная всей меры твоей собственной беды.

Простите меня, мои друзья, за все, чем случилось огорчить вас — это слабость говорила во мне, суетливость, тщеславие, легкомыслие или эгоизм. Простите.

Не судите обо мне, хочется сказать словами Гоголя, не выводите своих заключений из прочитанного — вы все равно ошибетесь, это ведь мне, а не кому-то другому, открылось мое назначение. "Рожден я вовсе не затем, — писал Гоголь в "Выбранных местах", — чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое

проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие!..” И вот сейчас, когда это так ясно прочитано мной, когда так отчетливо увидел себя и всю свою жизнь, когда свет хлынул в комнату, где я живу и работаю — могу спокойно, с полным осознанием исполненного долга поставить точку.

Май 1971 — февраль 1972.

СОДЕРЖАНИЕ

Десять лет спустя	7
Вместо предисловия	9

КНИГА ПЕРВАЯ

ЗАМЕРЗШИЕ

В Каретном ряду	15
Потьма	52
До самой нижней точки	79
Бунт на коленях	125
Пети-же (Сахалин)	179
Вместо послесловия к первой книге	223

КНИГА ВТОРАЯ

ОТТАЯВШИЕ

Литпроцесс	227
Литсуды	353

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЭПИЛОГ

Эпилог	397
--------------	-----



Отец, историк-марксист, арестовывается в 1936 и исчезает, мать идет в лагерь... Сын растет в одиночестве и нищете, становится известным литератором, постепенно прозревает, обращается вместе с женой, писательницей Зоей Крахмальниковой, в христианство... Но в 80-х годах, снова, как пол-века назад, репрессии. Вслед за женой, осужденной в 1982 за составление сборников "Надежда", арестовывается и Феликс Георгиевич Светов (23 января 1985). Его

Опыт биографии выходит в свет, когда ни в чем не повинный ее автор сидит на Лубянке...

Того же автора:

Отверзи ми двери. 1978.